



ЭДИТА Вып. 18

ЭДИТА

ВЫПУСК 18



ЭДИТА

№18

Литературный альманах
www.editagelsen2023.com

2024

Серия альманахов "ЭДИТА" запущена в марте 2024 г.
как преемник журнала "EDITA"

Выходит по мере накопления материала

Тексты публикуются преимущественно в авторской редакции

Литературная редакция:
Пётр Бледнёв, к.ф.н. Иоган Манаев,
к.ф.н. Эвдоксия Прянская, м.ф.н. Сильфида Селезнёва

Графика обложки — rexels-rob-towe-711409-20546053

Издатель и главный редактор — Александр Барсуков

Copyright © 2024 bei Autoren
Alle Rechte in dieser Ausgabe vorbehalten

ISBN 978-3-910935-72-3

Gesamtherstellung Edita Gelsen e.V.
logobo2023@gmail.com

Printed in Germany

РАССКАЗ

Игорь Бёзрук

г. Иваново

У МОРЯ

Юрию Дулову



После трех ненастных дней наконец-то выдалась нормальная солнечная погода. Кое-где на горизонте еще стлались серые облака, но почти все побережье купалось в теплых, ласковых лучах, и поэтому Катя с Лидой решительно настроились идти на пляж — «Хоть сегодня позагораем».

Николаю не сильно хотелось. Его устраивал и такой отдых. Собственно, чем еще на отдыхе заниматься: почитать, погонять в крытом павильоне бильярдные шары, поиграть на пляже в волейбол, а вечером посмотреть в летнем кинотеатре соседней базы какой-нибудь фильм. Но Катя, несомненно, приехала сюда загореть.

— Ты помнишь прошлогодний загар? — спрашивала она перед отъездом. — Он держался до самого января. Девчата на работе от зависти лопались. Особенно Нюська Рыжова. Я тебе рассказывала, какая у неё кожа: будто у молодого поросенка — молочно-розовая, тонкая, сгорает мгновенно и становится, как рыба чешуя: потрешь слегка, начинает шелушиться.

Да и дочке морские ванны только на пользу: врачи признали какое-то нарушение в ногах. Но одним ехать, без Николая, — нет уж, увольте! Пришлось Николаю помотаться по цеху, найти желающего перенести отпуск. Правда, нашелся, и довольно-таки скоро: Мишка Сомов, револьверщик с пятого участка. «Мне даже лучше, — сказал, — повожусь на даче». Ну и ладно. Вернулся домой, обрадовал Катерину, а она уж и путевки выкупила. За тридцать процентов, как и положено членам профсоюза.

— Обещаю тебе — отдохнем всласть, не как в прошлом году.

Тогда она всё больше таскала Николая по базару: и то хочется купить, и это. Но, в отличие от неё, Николай был настроен больше нежиться на песке, чем бродить по городу. И на душе как-то легче было. Теперь не так. Что-то перевернулось внутри. И даже не от смены рабо-

ты — его назначили руководителем техбюро, — а отчего-то... Николай так и не смог определить.

Катя сияла от счастья: жена начальника!

Папа у неё тоже в каких-то чиновниках ходил. Среднего звена. Получал неплохо, к тому же депутат городского Совета.

Николая сперва и восприняли как голь лапотную без роду и племени: ни имени, ни звания, только и всего, что с Катей на одном потоке в институте учатся. Но, спасибо Кате, в обиду тогда не дала, заступилась, проявила, так сказать, характер. Хотя, впрочем, отец в ней души не чаял, часто баловал в детстве и тут устоять не смог. Раз решила — так тому и быть.

Сыграли свадьбу. Закатили, как говорится, на всю ивановскую. Каких там только имен не присутствовало и званий! Но то всё одна суета была. Катька нравилась. Нравилась ведь! Вот и сейчас Николай посмотрит пристальнее — нет-нет да и мелькнет в ее облике та, скрытая от посторонних глаз, черточка, до волнения в груди некогда будоражащая его. И сама что тростинка: худенькая была, высокая — загляденье. Но вот родила — как наворожил кто: растолстела, обрюзгла, руки и ноги, как водой налились, в характере какая-то червоточинка завелась, недовольство. Метаморфоза прямо. К тому же и работа неподвижная: знай, сиди себе целый день в бюро, ворон считай.

Декретный не дотянула. Что там той зарплаты: Николай технологом, плюс её детские — едва на месяц натягивали, а еще Лидоньке пеленки да распашонки — в общем, сорвалась. Отдали малую в ясли, и потекла привычная каждодневка: дом — работа, работа — дом, ворчание, упреки, обиды...

Николай всё молчал, редко когда вставлял слово, считая напраслиной подобные «перестрелки», и только в паузах, возникавших вдруг, с кошками на душе, говорил:

— Ну что ты, Катя, не надо. — И умолкал.

Любил её? Боялся потом сам себе признаться — устал от всего сильно. Замызганный халат, брюзжание, повышенный тон при разговоре с Лидой, — всё, всё теперь стало раздражать Николая в Кате. Но разводиться он не собирался, даже не помышлял. «Жена от Бога — одна. Видно, Бог испытывает меня», — решил он раз и утвердился в этом мнении. И стало легче жить: ничего не замечать, довольствоваться малым, со всем соглашаться — полнейшая атрофия воли. Хотя безвольным Николай никогда не был. Разве позволило бы его безволие завершить образование с блестящими успехами? И не признаком ли сильной воли было его упорство в том деле, где он чувствовал и знал правиль-

ность выбора, где речь шла о принципиальных вещах, которые для Николая были чрезвычайно важны? Но то был другой мир. И в том, кем-то созданном мире, в отличие от этого, Николаю было уютнее, хотя, конечно, и там обнаруживались свои минусы, и с начальником цеха, нельзя сказать, что они находили общий язык. Просто тот мир — абстрактный, мир бумаг и расчетов, моделей и конструкций, мысли и разума — оказался ближе и понятней ему этого мира — повседневного, мира чувств и душевных волнений, где главная роль отводилась не здравому рассудку, а случайным порывам, вспышкам гнева или ликования, слез или смеха. И Николай с большой охотой уходил в него, ощущая себя в мире формул и схем как рыба в воде. И с радостью, если появлялась возможность, бежал от всего материального и приземленного.

— Что, опять?! — набрасывалась на него жена, когда он возвращался домой к восьми вечера.

— Работа... — тихо отвечал, сообразуясь со статусом начальника, рабочий день которого ненормирован.

Но потом уже и перестала спрашивать. И еще как-то облегчила жизнь, ведь после шести все равно Николаю в бюро делать было нечего. Он и сидел там так: втупившись в крашенные стены и думая черт знает о чем, а то и вовсе не думая.

Когда началась компьютеризация завода, появилось и новое увлечение. Теперь он не скучал, как прежде, возвращаясь, впрочем, домой по-прежнему не раньше обычного. Буквально заболел компьютером. Еще в институте проявил к программированию повышенный интерес, на спецзанятия ходил, уникальную литературу выискивал, но то были первые шаги, час-два в неделю и под личное разрешение заведующего лабораторией, которому он, будучи успевающим студентом, импонировал. Тут же всё в твоём распоряжении: нажимай, что угодно, лезь, куда вздумается! Заманчиво, любопытно, захватывающе. А Катины телеса, — иначе не назовешь — кажущиеся еще необъятнее в свободном халате, — Бог с ними. Уж что дал, что дал...

Николай с трудом оторвался от размышлений, вздохнул тяжело и сказал:

— Я догоню вас.

Ушли. Николай скинул брюки, надел плавки и шорты, открыл окно. В пляжных тапочках идти не хотелось. Босиком и приятнее, и лучше. Полотенце — как обязательная принадлежность.

Он пытался отучить себя не обтираться после купания, но сильно мерз, сразу покрывался гусиной кожей и начинал дрожать, стуча зуба-

ми. Тогда пускался по берегу, широко размахивая руками, чем только нервировал Катерину:

— Сядь, успокойся, на тебя люди смотрят!

— Ну и что, пусть смотрят, я греюсь.

— Греться дома будешь, а тут общественное место.

Николай затихал. Спорить с Катериной было бесполезно. Садился, укутывался в теплое, нагретое солнцем, широкое полотенце и смотрел вдаль.

Он любил смотреть вдаль. В той дали ему чудилось что-то таинственное и загадочное, едва уловимое для человеческого восприятия. Она будто звала и пугала его одновременно, заставляя трепетать сердце и восторгаться...

«Нет, — подумав, твердо решил, — в этот раз полотенце брать не буду».

Дверь закрыл на ключ. Ключ прибрал в столик для посуды — носить с собой неудобно, еще потеряется, а здесь его никто не найдет, да и воров, как будто, на базе не водилось. Сошел с крыльца и направился к побережью, которое находилось неподалеку: в каких-то ста шагах от базы отдыха. Катю и Лиду нашел без труда. Хотя солнце почти поднялось к зениту, не все торопились раствориться в его объятиях: кто досыпал после вчерашней веселой ночи, кто готовил обед на кухне, кто уехал в город — сделать покупки или побродить по парку с аттракционами. И все же народу было немало. Волны вздымались высоко и упрямо. Стихия еще давала о себе знать. Николай сразу же вознамерился потягаться с нею.

— Ты куда? — спросила жена, не отрывая головы от покрывала.

— Пойду поплаваю.

— Но ведь волна, утонешь.

— А, все равно.

Николай прошел мимо двух дочерна загорелых спасателей, возлежащих на красочных ярко-зеленых шезлонгах, и с наслаждением погрузился в воду.

— Осторожнее, приятель! — донеслось с берега. — Волна сегодня слишком высокая.

Смельчаков немного: три или четыре головы в стороне то показывались над волной, то скрывались под ней, когда она накатывала на берег. Такие моменты Николай любил особенно. Знал, что грудью бурн не возьмешь, надо подныривать под него; но если иногда грудью — тоже захватывающе, только больно бьет и приостанавливает дыха-

ние, и в нем, неумолимо наступающем, можно неосторожно захлебнуться.

Находил Николай удовольствие и в положении, когда усилием держишься на плаву и сразу взлетаешь на гребень, потом блаженно ниспадаешь, влекомый волнующей силой. Но теперь он решил отплыть подалее от берега, где волны набегали стремительнее и где можно было, полагаясь только на собственные силы, по-настоящему узнать, чего ты стоишь. Природа, так сказать, сама в себе. Две стихии лицом к лицу: морская и человеческая — лоб в лоб, нос к носу.

Волна взлетела метра на три, не меньше. Николай пронзил её и мгновенно оказался на гребне, но с другой стороны, быстро опадавшей и пытающейся скинуть его с себя в опустевшее пространство.

Едва Николай вздохнул, как накатила новая волна. И под нее он поднырнул, и под следующую, чувствуя, что с каждым разом проделывать такие финты становится труднее и труднее, что силы непривычно быстро покидают его и что так, добаловавшись, можно полностью потерять над собой контроль и просто пойти ко дну.

«А впрочем, стоит ли бороться? — мелькнула безумная мысль. — Не лучше ли плюнуть на всё и поплыть туда, к горизонту, покуда хватит сил, и там, вдали от всего, без сожаления расстаться с этим миром, закрыть глаза и кануть в небытие?»

Вот и волны, будто уловив его желание, всё дальше увлекают от берега. И Николаю явилась такая картина: как всколыхнется пляж, заголосит Екатерина, станет носиться взад-вперед, то бросаясь в пучину, то выбегая на берег; как начнут, как угорелые, метаться спасатели, остервенело матерясь и проклиная на чем свет стоит идиота, который вздумал поплавать в растревоженном море, и которого они — все это помнят — конечно предупреждали, — как иначе?

И представил Николай, как они будут в спешке с грохотом бросать на дно спасательной шлюпки цепь, заводить в суматохе мотор, и тот поначалу не будет заводиться, а потом внезапно взорвется, зарычит, раскручивая лопасти; и спасатели будут долго гонять по морю, пытаясь обнаружить хоть какой-нибудь признак Николая: вскинутую вверх в мольбе руку, мелькнувший сноп волос или белесую, еще не успевшую за эти дни загореть, спину. И как, не найдя его, они, всё так же матерясь, вернуться на берег и станут с досадой разводить руками — не нашли, мол. И как завоет ненаиграно Катя, схватится за сердце, сотрясаясь; и как рядом, еще ничего не понимая, забьется в рыданиях Лида, плача только оттого, что плачет её мать, а все вокруг сочувственно начнут утешать новоиспеченную «вдову» и думать про Николая, что он

был, скорее всего, и в жизни дрянь-человек, эгоист, беспутный и забудыжный, а посему и кончил, как беспризорная собака — глупо и бестолково.

Но тут Николай снова, уже отчетливее, увидел Лиду, Лидусю, её заплаканные глаза, трясущиеся, теребящие мамины пальцы руки, и всплывшее от слез лицо Кати. И показалось ему, что даже в мимолетных мыслях своих он к ним несправедлив и что надо действительно быть до крайней степени эгоцентричным, чтобы вот так просто оставить их одних, бросить на произвол судьбы, дескать, как хотите, так и живите. А ведь случись что с ним, наверное, Катя будет на самом деле сильно переживать, а может быть, и сейчас не находит себе места, носится по пляжу, выпытывает у выходящих из воды:

— Не видели? Не знаете?

Наверняка тревожится: куда он пропал, укоряет себя, что не удержала, отпустила. И Николай поплыл обратно.

Море не утихало, но за волной плыть было легче. Он греб и думал, какой он все-таки глупец — заставил поволноваться Катю. Хотя она и знает, что он неплохо плавает, но в такую волну и отличный пловец может нечаянно попасть впросак — на все воля случая.

Николай плыл, сплевывал солоноватую воду и думал, что, выйдя на сушу, непременно извинится перед женой, скажет, что вовсе не хотел её волновать.

Но вот и берег. Только почему-то не видно ни суетливых спасателей — они все также безмятежно возлегают на шезлонгах, ни мятущихся пляжников — их тела пригвожденно разбросаны по побережью, будто ничего ни с кем не произошло.

Катина расплывшееся и словно набухшее от зноя тело по-прежнему вдавливало цветастый коврик в песок. Значит, и впрямь ничего не произошло? И ничего не происходило?!

Николай поник. Усталый и совершенно разбитый, выбрался на берег и медленно, как нагруженный, подошел к жене.

Катя, словно почувствовав его появление, приоткрыла один глаз, слипшийся и ленивый, и тихо спросила:

— Как вода?

— Вода как вода, спи, — выдавил из себя раздраженно Николай и, как подкошенный, рухнул рядом.

Только тут он услышал, как лихорадочно колотится его сердце, и захотелось сжать кулаки и заколошматить о раскаленный песок, но он не сделал этого, только сдвигал руками горсти песка и, закрыв глаза,

затих, пытаюсь отогнать от себя все будоражащие душу желания: спокойнее, спокойнее...

И еще один день...

ИННА

Восторгу моему не было предела, когда я, открыв входную дверь своей квартиры, обнаружил перед ней Инну, на сегодняшний день считающуюся одной из лучших подруг моей жены. В восторг меня привело и её появление, и то обстоятельство, что я давно и безответно сох по Инне, и до сих пор ни разу не представилось случая встретиться с ней с глазу на глаз, наедине.

С Инной мы знакомы года три. Когда-то с моей Катериной она работала в одном отделе на заводе, но потом Инна перевелась на другое предприятие, и мы стали видеться реже: раз в месяц, квартал, а то и в полугодие. То Катерина случайно встретит Инну на рынке и затянет к нам на обед, то договоримся о застолье в какой-нибудь из праздников, то сами вдруг ни с того ни с сего сорвемся к Копыловым среди недели или на выходные, отвести душу и расслабиться.

Учитывая особое пристрастие моей Катерины к Инне (они-де в свое время обнаружили, что во многом — характерами — схожи: обе Девы, обе любят разводить комнатные растения и т.д.) и мое явное неравнодушие к ней, я всегда с радостью уступал желаниям жены. К тому же довольно часто Инна оставалась одна, так как муж её по роду своей деятельности почти не выбирался из командировок и регулярно оставлял её как минимум на неделю, а то и две в месяц.

Инна приглянулась мне с первой же минуты знакомства: у неё была такая же, как и у моей Катерины, небольшая грудь, такие же узкие точеные бедра. Но в отличие от моей жены, волосы были черны, как беззвездная ночь, а глаза затуманены поволокой, что придавало всему её овальному лицу (особенно когда она брезгливо кривилась) некоторый налет фривольности. Однако вид её был, скорее, обманчив, чем голословен.

Мужу своему, как призналась однажды Инна Катерине, она изменяла всего один раз, да и то не получив при том никакого удовольствия. Поэтому больше такими вещами она не занималась и, как выяснилось, совершенно не думала о них. К тому же Валерка, её муж, с год назад стал неплохо зарабатывать. Достаточно, чтобы Инна, трезво оценив все плюсы и минусы своего семейного положения, раз и навсегда ре-

шила крепко держаться за не худеющий теперь его кошелек и никогда не давать даже намека на неверность.

Впрочем, похотливые и алчные взгляды мужчин, попадающихся ей на глаза, не смущали её, а, как всякую женщину, только радовали. К тому же ей не исполнилось и тридцати, лицо еще не потемнело, не зашершавело, не испещрилось бороздками и морщинами — этими трудно скрываемыми признаками увядания.

Я в присутствии Инны всегда несколько тушевался. Она видела это и иногда подтрунивала. Раздражала меня и манера её поведения. При встречах мы мило и любезно целовались тем безобидным поцелуем, что так распространен среди близких друзей. При этом я всегда, даже в присутствии жены, ухитрялся положить свою похотливую ладонь на её выпирающую из кофточки грудь, другой рукой обхватывая тонкую талию.

Она никогда не отталкивала меня, но и вида не подавала, что почувствовала мою ладонь у себя на груди. Это, конечно же, задевало меня не только как мужчину, но и как человека вообще, обладающего чувствами и ощущениями. Получалось, будто я для неё какое-то бестелесное создание, не имеющее не то что рук, ног, губ, но даже интимных частей тела, которыми я мог беспрепятственно прижаться к ней в танце или на кухне. Она считалась подругой моей жены, я же только мужем её подруги. Её хорошей подруги. Это первое, что вывело меня из себя и стало чуть ли не главным во всей остальной череде наших отношений.

Итак, как я уже говорил, три года, как мы знакомы с Инной. Конечно, я солгу, если скажу, что за эти незаметно пролетевшие три года я ни разу не попытался её соблазнить. Но то ли по моей добродушности, то ли по стечению обстоятельств, то ли из-за её твердости, я не продвинулся на этом пути ни на шаг. Да, я мог свободно ткнуться в её полураскрытые губы, беспардонно облапить её в самых выпуклых местах, но не более. Я мог неделями сходить по ней с ума, говорить о том, как она мне нравится и как я её люблю, но при этом довольствоваться только снисходительной улыбкой и бесовскими искрами в зрачках. Я чувствовал, что все мои ухаживания и приставания ей приятны, видел, что она получала удовольствие от моего внимания, но в конечном итоге все вдруг резко упиралось в стену принципиальности, и я снова и снова перед нею отступал.

Несомненно, я был и остаюсь идеалистом. Тем, невысказанным в наше время романтиком, который и в постель-то ложится с женщиной только тогда, когда она этого захочет. Тем, который никогда не обидит

и не унизит женщину, какой бы она ни была. Но современные женщины смотрят на мужчин по-другому. Для них время идеалов прошло. Сегодня они трезвы и практичны, особенно женщины молодые, те, которым давно перевалило за семнадцать.

Как-то раз, истомленный надеждой, что Инна снизойдет до меня, и все еще не веря в то, что человека влюбленного отвергнуть может только существо бездушное, я предпринял попытку признаться Инне в своей горячей страсти и тем самым вынудить её принять окончательное решение насчет меня: да или нет. Я знал, что, отвергни она меня, я буду страдать, но буду страдать уже успокоясь, а не метаясь между неведением и желанием.

Это случилось с полгода назад. Валерка только что вернулся из длительной — почти месяц — командировки, и они неожиданно нагрянули к нам в гости. Валерка тут же выставил на стол бутылку «Арагви», и я понял, что пить мы будем крепко.

Инна много не пила, и я предложил женщинам вина (у нас для непредвиденных обстоятельств еще оставалась трехлитровая банка с портвейном, приобретенная по случаю). Они, наивные, согласились, надеясь, что вино их не опьянит. Мы же с Валеркой засели за коньяк, а затем перешли к первачу, который дожидался своего часа в холодильнике.

Женщины наши ошиблись. Портвейн быстро ударил им в головы, и они окосели.

Больше всех опьянела Инна. Она не ожидала такого действия спиртного. Помню, мы еще немного потанцевали, потом я включил видео, и мы вперились в телевизор. Валерка в мгновение отключился в кресле, я еще пыжился, Инна потянулась в туалет, Катерина увлеклась: это была её любимая лента и, несмотря на то, что она смотрела в третий раз, оторвать её от экрана можно было и не пытаться. Так что, когда я отправился на кухню, она на это даже не обратила внимания.

Инна вышла минуты через две. Увидев меня, слоняющегося по кухне, заглянула. Я лукаво улыбнулся: она все-таки пришла!

Конечно, это был не идеальный случай. За стеной все-таки моя жена и её муж, да и наша мораль все еще цепко держала наши инстинкты в узде. Но я приблизился к ней, обнял за талию, притянул к себе. Она еле держалась на ногах и плохо соображала, голова то и дело клонилась набок, тело в моих объятьях сразу ослабло. Я потянулся к её губам, шепча избитые слова о том, как она мне сильно нравится и как я от неё без ума. Но она только пьяно усмехалась и отворачивала лицо. Её дикое упрямство вывело меня из себя. Я придавил её к стене, отре-

зав всяческие пути к отступлению, и стал лихорадочно шарить по ней руками, тискать и мять её обезволенное тело и снова пытаться поцеловать, но Инна уворачивалась и нетвердым голосом просила её не трогать.

— У меня так болит голова, — говорила вполголоса она. — Чем ты нас напоил? Я спать хочу. — И снова рвалась уйти.

Тут неожиданно в кухню заглянула Катерина, я сразу передал в её руки Инну и сказал:

— Надо бы уложить: она перебрала.

Инна ословело посмотрела вокруг, увидела Катерину и, довольно улыбнувшись, потянулась к ней, бормоча все те же вязкие слова:

— Я опьянела, хочу спать.

— Идем, идем, — повела её Катерина, а я вернулся в зал.

Валерка спал без задних ног. Голова откинулась назад, и он изредка похрапывал. У меня никогда не вызывали интереса мужья женщин, которые мне нравятся. Они казались только придатками своих привлекательных жен. И мне всегда приходилось тяжело в компании, где была не безразличная мне женщина и её муж. Но как бы то ни было, следовало их терпеть, чтобы хоть несколько часов провести рядом с существами, которые наполняли мою душу радостью.

Катерина вскоре возвратилась и, сказав: «Я уложила её», — снова увлеченно втупилась в экран. К этой картине я был холоден. Может быть, смотря в первый раз, я и не отрывался от экрана, сейчас же ни главные герои, ни лихо разворачивающийся сюжет особо не привлекали. Я поднялся и, ничего не говоря Катерине, вышел в спальню.

Инна спала, свернувшись, как младенец, калачиком. Я посмотрел на неё. Сколько раз в мыслях я желал вот так сидеть рядом и смотреть, как мерно вздымается её грудь, как изредка подергиваются веки и приоткрываются сочные губы. Я хотел гладить её, держать её тонкую руку в своей, ощущать её тепло.

От этих фантазий ходуном заходило сердце, и я невольно потянулся к Инне, провел ладонью по мягким волосам, осторожно коснулся тонких губ, лица, груди. Она редко когда носила бюстгальтер — ей он не требовался. Мои трепетные пальцы скользнули под пушистый свитер и нижнее шелковое белье. Грудь была горяча, кожа упруга. Я потер сосок. Он сразу же превратился в маленький твердый карандашик. Шершавость околососковой окружности завела. Я задрожал и быстро отпрянул. Сердце отчаянно заколотилось. Я вышел из спальни, зашел на кухню, хлебнул из стакана холодной воды. Мысли вертелись только вокруг Инны. Я чувствовал, что чем упорнее она меня отвергает, тем

сильнее мне хочется ее. Я уже не мыслил своей жизни без неё. Она должна была принадлежать мне. Во что бы то ни стало.

Вдруг я ощутил огромное желание овладеть ею во сне. Хоть пальцем. Втиснуть свою жадную сладострастную руку меж худых ляжек, раздвинуть равнодушные губы её женской плоти и вонзиться с яростью маньяка в спящее влагалище. Эта мысль настолько сильно овладела мной, что даже подкосились ноги. Я, как сомнамбула, двинулся обратно.

По дороге на несколько секунд замер у входа в гостиную, посмотрел, что делают Катерина и Валерка. Они были заняты тем же: Катерина неотрывно смотрела фильм, Валерка спал.

Я шагнул в спальню. Инна больше не лежала свернувшись. Она широко раскинулась на кровати. Одна рука её, согнутая в локте, находилась возле головы, другая покоилась в низу живота. Ноги оказались скрещены и расслаблены.

Невольно залюбовавшись красивыми точеными формами Инны, я совсем забыл, для чего, собственно, пришел. Однако потом похотливое желание содеять задуманное все-таки возобладало. Я приблизился, присел на край кровати и медленно стал просовывать руку в её шерстяные брюки. Вот уже ощутил тепло мягкого живота, пальцы коснулись первых волос на лобке...

Я продвигался неспеша, сдерживая дыхание при её тихих постанываниях и замирая при малейшем движении. Но к желанному месту добраться так и не смог. Видно, слишком был нерешительным.

Словно почуввав на себе чужеродное тело, Инна недовольно застонала во сне, произвольно откинула мою руку, перевернулась на бок, спиной ко мне и снова поджала к себе ноги. Я отшатнулся. Даже во сне она меня отвергала! Мой безнадежный идеализм безжалостно убивал меня...

И вот она снова случайно заглянула к нам. Я третий день как холостяковал. Катерина с сыном уехали к бабушке. Последний раз мы были у Копыловых месяца два назад, но хотя я и безответно желал Инну, в тот день не выказал и намека на свои чувства. Был веселым, игривым, разговорчивым — был всем, но только не сохнувшим по бабе мужиком. И вот она здесь. И я подумал, что буду последней тряпкой, если даже в такой удобный момент не попробую «подъехать» к Инне, женщине моих последних сладострастных снов и желаний.

Я широко распахнул объятия. Мой восторг вырвался наружу не только громогласными междометиями, я весь наполнился несказанной

радостью, лицо запылало, голова пошла кругом. Я бросился к Инне и, не давая ей даже до конца произнести фразы, стал осыпать поцелуями, крепко и вместе с тем нежно прижимая к себе.

— Да погоди ты, погоди, — растерянно хлопала она ресницами. — Что ты вдруг как с цепи сорвался? Где Катерина, ты что, один?

— А меня тебе мало? — все еще не выпуская её из своих объятий, смеясь, спросил я.

— Да ты мне всю блузку помнешь, окаянный. Вон уже губную съел...

— Я лично выглажу твою блузку и покрашу сладкие губки, — сказал я, не отрываясь. Счастью моему не было предела.

Но Инна потускнела:

— Ты не мог сразу сказать, что Катрины нет? Теперь опять краситься...

Она потянулась к висевшей на плече сумочке и открыла её, чтобы достать губную помаду, но я отобрал сумочку:

— Нет, я тебя так не отпущу. Ты пообедаешь со мной. Обязательно!

— Владик, милый, в другой раз, ладно? Катерины нет дома, неудобно.

— Да что ж неудобного-то? — в отчаянии возмутился я, почувствовав, как при последних её словах в груди закололо. — Мы ж с тобою друзья. Хорошие друзья.

— Да, но это еще не повод, чтобы оставаться наедине. Мы все-таки особи разного пола.

И тут я не выдержал, обнял её за талию, одной рукой придерживая за спину, и сказал:

— Но ведь я люблю тебя, понимаешь? И безумно хочу!

— Владик, не балуйся, отпусти, — стала вырываться она, но мне будто ударило что-то в голову. Я легко оторвал её от пола, подхватил на руки и понес в спальню.

— Владик, Владик, не надо, не делай этого! — стала она сначала вежливо просить, потом умолять, но я не слушал её, сам не мог остановить заплетающейся речи:

— Инна, Инночка, если б ты знала, как все эти годы я хотел тебя! Если б ты знала, желанная!

Я осторожно положил её на кровать, стал гладить по лицу, плечам. Она не сопротивлялась, но все пыталась уговорить меня не поступать так. Ради Катерины. Но что я мог с собой поделать? Эта неосуществленная бесконечная страсть теперь волнами, нет, цунами, накатывала на меня. Я уже не понимал, что ласкаю и что целую. Я стал сплошным

комком желания, забыл, где я и что я есть. Я был одна бесконечная эмоция.

Мое состояние безумия как будто передалось и ей. Она еще пыталась бороться с моим неудержным напором, но с каждой минутой все меньше и меньше. Вскоре и её щеки запылали, дыхание участилось, она притянула мою голову к себе, и её губы жадно впелись в мои.

В отдельные мгновения она словно возвращалась из небытия и как сквозь сон горячо лопотала:

— Ой, что мы делаем, Вадька. Что мы делаем...

Потом мы лежали опустошенные и бестелесные. Душа наполнилась счастьем. Теперь она была моя, здесь, рядом. Я мог не спеша целовать её плечи, шею, подбородок, глаза, губы, — всё, всё я мог теперь беспрепятственно целовать и ласкать.

Но на Инну вскоре снова накатило раскаяние. Она уже жалела, что не сдержала эмоций и уступила моей всепоглощающей страсти.

— Не надо было нам, наверное, делать этого, Владик, — говорила она. — Не надо было. Мы и так можем быть хорошими друзьями.

Я приподнялся над ней и пристально с нежностью посмотрел:

— Прости меня, Инна, но я не могу быть просто другом женщины, которую люблю. Мне этого недостаточно.

— Но ведь я тебя не люблю!

— Но я же нравлюсь тебе, нравлюсь! Разве не вижу, не чувствую!

— Ах, Владик, — мягко нахмурила она брови, не принимая моих слов, — такая, видно, наша женская судьба (или воспитание?), что признаться в этом (я не говорю уже о том, чтобы сказать им) нам так тяжело. Бывает, увидишь такого мужчину, от которого сердце зайдетя неудержимо и ноги будто нальются свинцом, но потом как вспомнишь, что у тебя семья, дети, заботы по дому, воз на работе... Как подумаешь о том, что нужно выкраивать время, чтобы тайком с ним встретиться, а потом лгать и выворачиваться перед мужем и ребенком; что невольно начнешь сравнивать мужа с любовником и находить массу недостатков в муже, человеке, который, бесспорно, делит с тобой хоть какие-то тяготы твоей жалкой, никчемной жизни. И подумав так, стиснешь руками разгоряченное сердце и, дождавшись, когда оно успокоится, поплетешься дальше и вскоре забудешь и о том неподобающем мужчине и даже о самом чувстве, вспыхнувшем ни с того ни с сего.

Она замолчала, и наступившая тишина будто придавила меня своей тяжестью. Я вдруг понял, что за игривой маской Инны скрывалось лицо бесконечных страданий, каждодневной изматывающей борьбы между долгом и чувством, между обязанностью и её глубоким эмоциональным

миром. Она была создана для любви. Любви чувственной и приземленной, любви низменной и страстной, но вынуждена была в силу разных причин таиться, избегать её и подавлять в себе всякое желание непослушной плоти. Но как долго это продлится? Сегодня она пуритански сдерживает себя, завтра ей встретиться мужчина, перед которым она не устоит, который очарует её и позовет. И, я знаю, она бросит всё и слепо ринется за ним без оглядки, без угрызения совести, повинуюсь только своему безрассудному, безграничному сердцу...

Наконец Инна сказала:

— Ладно, хватит валяться, я и так у тебя задержалась. Еще и нюни распустила. Раз Катерины нет, надо бежать дальше, — и быстро соскочила с постели.

Одевалась она, однако, не спеша. Я с кровати смотрел на её умопомрачительное тело, постепенно облачающееся в массу одежд. Она, казалось, совсем забыла о том, что произошло: снова была оживлена и беззаботна.

Когда почти оделась, я тоже поднялся и накинул халат.

— Может, останешься? Еще одиннадцати нет.

— И не упрашивай: Валерка с ума сойдет!

Я проводил её до двери, но никак не мог отпустить руку, которую схватил, прощаясь.

— Ну, ну, выше голову, дружок, — сказала она и подставила для поцелуя щеку.

— Зайдешь еще? — спросил я нерешительно.

— Обязательно, когда приедет Катерина. Или вы заходите, мы по вечерам всегда дома.

Она выскочила так же быстро, как и ворвалась. В ней ощущался такой избыток энергии, что можно было только удивляться. Вскоре я услышал торопливый стук её тонких каблучков по ступеням. Выглянув в окно, увидел, что Инна так же быстро пошла по улице. В движении и во всем облике её по-прежнему присутствовали твердость и уверенность в себе. Казалось, не было совсем той отчаявшейся и обожженной жизнью натуры, которую я успел увидеть несколько минут назад.

Когда Инна совсем исчезла из виду, почувствовал вдруг, как мне сильно хочется курить, только я никак не мог вспомнить, где оставил свои сигареты: в кармане пиджака или брук?..

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Когда мы подкатили к базе отдыха, смеркалось.

Пассажиры быстро высыпали наружу, стали в неведении переминаться возле своих рейсовых автобусов, ожидая дальнейших указаний руководителей. Те прошли на территорию базы, чтобы выяснить, как и где расселяться.

Я подождал, пока выгрузят из багажного отделения наши вещи, и, подхватив свой наполовину набитый книгами рюкзак, присоединился к одной из многочисленных групп.

Со стороны пляжа потянуло прохладой, острым запахом моря. Его невозможно было спутать ни с каким другим. Он не походил на стальной слоистый запах реки и отличался от горячего плотного запаха пруда в раскаленный день. Все в этом запахе было густым, объемным, насыщенным солью и водорослями.

Я чутко вслушивался в доносящийся плеск волн, тяжело вздымающихся при накате и с облегчением опадающих при обратном движении, в пронзительные крики чаек, попеременно то вспыхивающие рядом, то убывающие в кромешной густоте ночи, и ощущал необыкновенное вододушевление. Все в этих ощущениях было для меня, городского жителя, обитателя пыльных улиц, раскаленного асфальта, душного, застоювшегося воздуха, ново, все было необычно.

Я был первый раз в жизни на море, но верил, что мы сдружимся с ним, найдем общий язык. Стихия со стихией, «психе́» и среда. И как только я почувствовал это, для меня тут же померкли все остальные звуки, цвета и запахи: диссонанс мелодий, доносящихся со всех сторон с разных баз, праздничная иллюминация фонарных столбов, громкие разговоры вокруг. Я словно одурманился новым запахом. Так и подмывало бросить все и поспешить к ждущему меня в нетерпении побережью. Однако неопределенность нынешнего положения еще немного сковывала, еще перевивала невидимыми крепкими путами, диктуя свои кабальные условия, согласно которым я вынужден был торчать здесь, у входных ворот, переминаться с ноги на ногу и ждать, когда все, наконец, определится.

И все-таки было замечательно находиться в непосредственной близости от моря, в нескольких шагах, почти рядом. Настоящего, реально существующего моря, о котором я мечтал столько лет, грезил, слушая рассказы школьных приятелей, успевших к тому времени побывать на нем с родителями, поплавать на гребне седой волны, половить малооборотливых крабов, погонять под водой желеобразных медуз, пухлых,

бледно-молочных и прозрачных, как фата невесты. Верил и не верил в осуществление этой мечты. И вот я здесь, и восторгу моему нет предела.

Никто еще не лег. Тут и там туманными рассеянными лунами, заглушая окружающую темноту, горели фонари, звучала музыка (в каждом домике своя) и откуда-то раздавался задорный, залиvistый смех. Вдоль аллеи, ведущей к воротам (справа песок, слева песок), праздно прогуливались отдыхающие. Некоторые из них, встретив знакомых, присоединялись к новоприбывшим. Тут же взрывались сладостные воспоминания и сыпались ценные советы опытных отдыхающих: «Люсенька, солнышко, послушай меня, не ленись, вставай пораньше, часов в семь, а то позже все плиты на кухне окажутся занятыми, потом выступишься, на пляже», «Мишань, в бильярдную заходи лучше после полдника, народу почти никого, хоть кий в руках поддержишь», «В этой лавчонке цены на фрукты гораздо дешевле. Не поверишь, мы виноград ели ящиками. Ящиками!»

Но вот появились наши руководители: строгие, серьезные люди, готовые, впрочем, и сами хоть сейчас сбросить с себя весь груз обременительной ответственности и погрузиться в теплые волны засыпающего моря. Но пока нельзя, пока это должностное бремя еще лежит на их хрупких плечах, присутствует в каждом их движении, в каждом взгляде, в голосе.

Собрав вокруг себя свою группу — «Так, не отвлекаемся, не отвлекаемся, стали здесь, плотнее, плотнее, слушаем внимательно», — они сообщили, что въезд новых отдыхающих намечен только на утро. «Ничего не поделаешь. Не мы это придумали, Федорцов, не возмущайся, пожалуйста, устали все». Нужно только просто рассредоточиться. У знакомых или в помещении для отдыха в здании администрации. Как только освободят наши домики, так мы сразу же и займем их. Но не раньше.

Речи их были однообразны до шаблона, аргументы одинаковы до невозможности, и отчаянию тут делать было нечего: с рассветом эти проблемы совершенно исчезали, а уж одну-то ночь как-нибудь перекаптоваться можно.

Измотанные долгой поездкой люди препираться не стали и со вздохами разбрелись кто куда. И хотя за плечами каждого еще витало легкое облако неопределенности, не прошло и пятнадцати минут, как добрая половина из них скоро затерялась в небольших «бунгало»: так много оказалось здесь знакомых (чему не приходилось удивляться, ибо база строилась на средства нашего треста и большинство путевок дос-

тавалось именно его работникам). Я же решил сначала взглянуть на домик, в который мне завтра предстояло вселиться, а уж потом искать для себя какого-нибудь скромного убежища на ночь.

Хотя все домики были как один похожи друг на друга — небольшие размеры, неприхотливая архитектура: две смежные комнаты с одной общей верандой, на которой располагались стол, шкаф для посуды и большой двухкамерный холодильник, — я без труда нашел свой: крупная белая табличка с номером «12» на углу маячила за километр. Это был номер, указанный в моей путевке, номер моего предстоящего обитания.

Восемнадцать дней на разрывном, до колен поднятом над землей фундаменте (на случай обильных дождей и выхода на побережье воды), под чужеродной крышей, фанерным потолком, среди тонких звукопроницаемых перегородок и голых равнодушных стен.

Но и мне эти стены были безразличны, как безразличен был и потолок, и крыша, и номер, аккуратно прибитый сбоку на высоте в полтора роста. Мне было все равно, какими обоями рабочие базы оклеят мои стены (я, может быть, ни разу и не взгляну на них и не замечу), какие кровати поставят в углу (навверняка весь сезон я просплю на полу, потому что так прохладней). Я ехал на море. И тело мое жаждало лишь моря, а стены нужны были, только чтобы укрыться от солнца в невыносимый зной или спрятаться от надоедливых москитов, вечерами безжалостно атакующих со всех сторон — длинная мелкаячестая марля на входе, газета перед сном в руках, свернутая в два — три слоя: удар, еще удар, и кроваво-красное пятно на фоне затертых до бледности обоев — все, что останется от назойливого кровопийцы.

Я приблизился. На веранде «моего» домика по-хозяйски копошились две женщины, подготавливая его к завтрашней сдаче. Одна из них протирала влажной тряпкой холодильник, другая собирала в кучу стеклянные банки, пластмассовые «баклуши» и бутылки, — море порожних бутылок из-под пива, водки и вина. Отдых на славу! Их мужчины, наверное, понесли к донельзя забитым контейнерам мусор и где-то «зависли», потягивая напоследок местное душистое прохладное пиво.

При воспоминании о пиве, у меня и самого засосало под ложечкой. Но я не мог удовлетворить возникшее желание, так как не знал еще, ни где находятся ближайшие ларьки, ни где располагаются местные бары. Хотя, если хорошо поискать...

Мои мысли прервал незнакомый мужской голос:

— Ты тоже сюда?

— Тоже, — ответил я и обернулся. Высокий парень с двумя небольшими чемоданами в руках, он был приблизительно моего возраста: под двадцать пять — тридцать, сутул, худощав, с открытым скуластым лицом, на котором ярким пятном выделялись крупные бледные губы, в отсвете одного из фонарей казавшиеся синими.

— Значит, будем соседями. Наша комната вторая, — сказал он, поставил на землю чемоданы и протянул правую руку. — Будем знакомы, что ли? Сергей.

— Виктор, — сказал я, ответив на рукопожатие. Рука его оказалась мягкой и влажной.

— Я думаю, может, оставить чемоданы прямо здесь, в нашей комнате? Завтра все равно придется тащиться.

— Можно и оставить, — согласился я, хотя оставлять мне было, собственно говоря, нечего: все мои пожитки свободно умещались в небольшом походном рюкзаке.

Мы познакомились. Он оставил свои небольшие чемоданы у хозяев и предложил переночевать в здании администрации. Я согласился, но пойти с ним сразу не пошел: не терпелось взглянуть на море. К стыду своему признаться, до этого я никогда не был на море, видел его разве что только по телевизору. Он понимал, но компанию составить не захотел, сказал, что он не один, его ждут, попрощался и поспешил удалиться. Я не сильно расстроился, наоборот, даже обрадовался, потому что именно сейчас мне хотелось побыть одному, в одиночестве провести первые минуты встречи с морем. Здесь, как мне казалось, посторонние были ни к чему. Здесь должен быть только наш диалог. Я и море. Чтобы потом уже навсегда. Без страха и скованности, как с близким человеком, как с другом.

К пляжу тянулась витиеватая лента бетонных плит. Очень удобно. Побрел по ним, пока не ступил на песок, еще хранящий тепло знойного дня.

Море бурлило, но тьма настолько окутала пространство, что не было видно даже линии горизонта. Лишь наседающие шумно один на другого буруны вылизывали гладкое побережье пляжа.

Я где-то присел, а присев, сразу ощутил невероятную усталость. Даже прелести ночного моря на мгновение померкли. Видно, тринадцать часов дороги в автобусе давали о себе знать. Я вдруг понял, что даже несмотря на то, что вижу море в первый раз, насладиться в полной мере сейчас не смогу, просто не в состоянии, прежде всего, нужно было найти пристанище на ночь и хорошенько выспаться. А там, как говорится, утро вечера мудренее.

Я еще раз с сожалением посмотрел на волны и неторопливо побрел обратно. Выспаться, надо просто выспаться. Одна мысль теперь только преследовала меня, и она вытеснила остальные. Я направился в домик администрации, куда Сергей приглашал меня, и где можно было переночевать. А будет утро, будет и песня.

Огромная комната для отдыха с креслами, телевизором, бильярдом посредине была наполовину затемнена. Небольшое фойе. Есть ли свободные места? Куда ни кинь взгляд — чемоданы и сумки, сидя и полулежа — люди, плечом к плечу, локоть к локтю. Не у всех, видно, отыскались знакомые.

Я уже было пожалел, что ходил к морю (никуда бы оно не делось, занял бы какое-нибудь удобное место, а потом бродил бы да развлекался), но тут меня негромко окликнули. Обернулся, узнал своего нового приятеля и стал между приезжими пробираться к нему в один из укромных уголков.

Сергей сидел на верблюжьем одеяле, спиной прислонившись к кому-то в штормовке. Я понял, что это и есть его близкий друг, ради которого он так поспешно оставил меня. Тот, видно, давно спал, по-детски свернувшись калачиком и набросив на голову капюшон, скрывавший от меня его лицо. Но рассматривать его сейчас мне не очень-то и хотелось. Я еще раз поздоровался с новым знакомым, вклинился в освободившееся между ним и его соседом место (Сергея чуть плотнее придвинулся к другу) и, примостившись рядом и почувствовав тепло, тут же, обессиленный, уснул.

Мне снилось совсем другое море: безмятежное, радостное, весело играющее на гребне волны солнечными зайчиками. И снилось голубое-голубое небо, яркое-преяркое солнце и белые чайки, много белых чаек. Они с диким криком кружили над морем, камнем падали вниз, ныряли или беззаботно покачивались на мерно волнующейся глади.

Решил: утром только встану, сразу, не дожидаясь, пока все проснутся, сгоняю на пляж.

Так оно и случилось. Не успели стрелки часов приблизиться к шести, я поднялся и сладко потянулся.

— Ты куда? — спросонья спросил Сережка.

— Схожу на море. Не хочешь?

— Да нет, я посплю, рано еще. Никуда твое море не денется.

Я думал иначе, и никто меня в эту минуту переубедить не мог.

Переступив через несколько пухлых дорожных сумок и не оглядываясь, я вышел из здания.

Холодный песок приятно освежал пятки. Легкий ветерок был как нельзя кстати после душного, битком набитого помещения. Утреннее море теплое и ласковое. Вероятно, оттого, что я так долго ждал с ним встречи.

Не раздумывая, я бросился в его объятия, стал нырять, плескаться, захлебываться соленой водой и переполнявшей меня радостью.

Как-то в детстве, еще не умея плавать, я вошел в воду, глубоко, по самую шею, оторвал от дна ноги, чтобы почувствовать, как примет меня вода. И она поначалу не вытолкнула, я начал медленно погружаться и вдруг уловил незнакомое доселе ощущение, как будто стал одной из частиц ее, и мне захотелось почувствовать то невероятное ощущение до конца.

Увидев, что я застыл, некоторые ребята стали кричать с берега: «Руками, руками греб!» Но я не греб, лежал неподвижно и опускался все ниже и ниже, без страха, без намека на волнение, раскрыв глаза и с интересом наблюдая, как густеет вверху водянистая пелена, как носится взад-вперед перед моим взором какая-то мелюзга, мальки, и испытывал при этом непередаваемое наслаждение.

Меня быстро вытащили на берег, откачали. А я, отрыгивая остатки воды и закрыв глаза, думал о том, как, наверное, замечательно быть рыбой или соломинкой и, пlying по течению, смотреть на небо, разговаривать с облаками и ветром.

Теперь, когда я плаваю не хуже других, бросаюсь в море, оно упорно выносит меня наверх, и я понимаю, что мне, к сожалению, больше никогда не ощутить того слияния со стихией и насладиться своей подвластностью ей в полной мере.

— А у тебя неплохо получается, — раздалось, когда я выбрался на берег и утомленно распластался на песке. Надо мной стоял мой новый приятель в темно-фиолетовых плавках. Но не он больше удивил меня, а его подруга, светлая, голубоглазая, мило улыбающаяся то ли мне, то ли утреннему, уже припекающему солнцу, и сжимающая в руках большое махровое пляжное полотенце.

— Юля, — представилась она и чуть склонила набок свою маленькую головку, обрамленную пышными соломенными волосами.

Мне показалось, будто ее головка при этом слегка качнулась на длинной тонкой, какой-то не пропорциональной, по сравнению с размерами ее торса, шее. И все же я был ослеплен и даже чуть не присвистнул от зависти. Может быть, для полного кайфа именно этого мне сейчас и не хватало.

«Везет же людям», — подумал я, но тут же подавил в себе гадливое чувство: начинать знакомство с такими мыслями небезопасно.

Я мило улыбнулся и сказал, что меня зовут Виктором, что я очень польщен их вниманием и рад, что теперь не буду одинок, потому как в компании отдыхать гораздо приятнее, чем одному.

Тут море внезапно вскинулось и выбросило на берег небольшую волну, которая плюхнулась на песок рядом с нами, и брызги от нее упали на тонкие икры моей знакомой. Она по-девчоночьи взвизгнула и резко отпрыгнула назад. Это у нее вышло так непосредственно, что мы с Сережкой просто рассмеялись. Юлька сконфуженно посмотрела на нас.

— Не бойся, утренний песок холоднее волн, — перешел я сразу на «ты», потому что сразу почувствовал к новым знакомым дружеское расположение. Да и не хотелось тянуть надоевшее до оскомины «ах, как вы хороши, сколько на ваших часах и давайте перейдем на «ты». В такой необычной обстановке надо было придумать что-нибудь неординарное, свежее, скажем: «Как вам нравится мое море? Оно может быть и вашим, если вы свою прелестную ножку погрузите в его прелести» и т. д. (Господи, какие только глупости и пошлости не несет порой молодость...) Но и это чересчур тривиально и отдает слащавой безвкусицей.

— Теперь так не знакомятся, — будто читая мои мысли, сказала Юлька, — так неинтересно.

Она присела рядом со мной и склонила голову набок, отчего ее волосы всколыхнулись. Я с любопытством уставился на нее.

— Как вам нравится мое море? — спросила она, парируя, с вызовом, в упор глядя на меня. — Раз вы уже испытали его прохладу и оно не отвергло вас, мы можем перейти на «ты».

На «ты» она почти вскрикнула и, вскочив и бросив Сережке полотенце, высоко вскидывая пятки, понеслась к морю. Я, раскрыв рот, смотрел ей вслед и думал о том, какой я все-таки простак и как все может быть непредсказуемо.

— А мировая у тебя подруга, — спустя минуту сказал я, все еще не спуская с Юльки глаз.

— Сестра, что надо, — с восхищением сказал Сергей.

— Сестра? — переспросил я от неожиданности и тут же расплылся в улыбке. — Тем лучше. Не придется ее у тебя отбивать. А то знаешь...

Я не договорил, потому что душа зажила каким-то новым светлым ощущением, заставившим меня быстро умолкнуть.

Утро нехотя отступало. Первые отдыхающие спешили занять самые удобные места, выползая, словно улитки, из необжитых еще красных, розовых и голубых домиков, подставляли свои изнеженные тела ранним лучам солнца и вновь прикрывали глаза, пытаясь продлить сладкие сны и вернуть ускользающие грезы, навеянные ночной мглой.

Болтая с Сережкой о всяких пустяках, я наблюдал, как весело и беззаботно плескалась в воде Юлька. По-девичьи резкие движения поначалу просто смешили меня: ну прямо взрослый ребенок. Однако ее игривое настроение постепенно передалось и мне.

— Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья! — произнес я вслух и кивнул в сторону моря.

— Она такая и есть: непосредственная и немножко шаловливая.

— Сколько же ей лет? — меня так и подмывало об этом узнать.

— Недавно исполнилось восемнадцать.

— И такой, в сущности, еще ребенок.

Я не отрывал от Юльки глаз. Она как раз выпорхнула из волн, высоко, не по-женски поднимая ноги, взмахивая руками и не стыдясь своей угловатости, побежала к нам. Ее волосы заблестели на солнце. Капли, повисшие на них, вспыхивали и гасли, ослепляя.

— Мальчики, мы долго пробудем здесь? Сережа, — посмотрела она умоляющим взглядом на брата, — давай еще немножко побудем.

— Юля, мы ведь еще не распаковались. Да и песок не совсем прогрелся. Придем попозже.

Ох, как он был строг с нею, я бы так не смог, но все же поддержал его:

— А действительно, братцы, пошли, распакуем свои вещи, позавтракаем чем Бог послал, а потом нежными объятиями моря будем изгонять из своих желудков вредителей, сосущих нашу голубую кровь.

— У тебя голубая кровь? — с усмешкой переспросила Юлька.

— Конечно! Я — частица моря, частица неба, частица Вселенной!

— Любопытно.

— Бытие... — я поднял вверх указательный палец и, увидев, как заиграло в глазах Юльки маленькое любопытство, широко расправил плечи и грузно зашагал по песку к нашему оранжевому домику, который ярко выделялся на фоне пышной зелени.

Первый завтрак наш удался на славу. Я быстро сбегал в лавку на территории базы и купил бутылочку упоительного каберне.

— Обожаю сухое. Никакого алкоголя — одна сладость.

— Насчет алкоголя не согласен, но в остальном — верно, — чокнулся со мной Сережка и залпом выпил. Я не спешил: наслаждался каждой каплей, каждым глотком, чувствуя, как растекается по жилам теплое вкусное вино.

— Как чудесно, — все не мог успокоиться я. — Это море, воздух, вино, которое, как песня, вдохновляет и как...

— Опьяняет, — перебила меня неугомонная Юлька. Она тоже успела хлебнуть из своего бокала и теперь сидела вся пунцовая, с разухабистыми чертиками в глазах. Я не выдержал ее веселья и съязвил:

— Э, малышка, да ты как первый раз пьешь, а на пляже такая деловая.

— Я... я... — вырвалось у нее. — Я не хотела, простите.

Она вскочила и бросилась в свою комнату. Такого я от нее не ожидал. Не думал, что она так остро отреагирует на мою, в общем-то, как показалось, невинную шутку. Сережка же отнесся к ее выходке спокойно.

— Не обращай внимания, у нее бывает. Молодая еще.

Но я так не мог. Мне стало неловко. В который раз я упрекнул себя за свой не в меру желчный язык.

— Пойду успокою, — все-таки поднялся и подошел к двери их комнаты.

— Кто там плачет, кто рыдает,

Разве мама не узнает?

Ведь слезинки портят личко

Нашей бедненькой сестрички, — пролепетал я первую пришедшую на ум белиберду и заглянул внутрь комнаты. — Юль, Юлька, прости, пожалуйста, меня, болвана. Даже не знаю, что нашло. Хочешь, ударь. Вот так, — я взял ее тонкие ручки и ладошками стал хлестать по своим щекам. Ее руки безвольно повисли.

— Не надо, Витя. Я так не люблю.

Я не знал что сказать. Она сама меня выручила:

— Ты, правда, не обижаешься?

Я повеселел:

— Конечно же, правда. Юль...

Улыбнулась и она:

— А я как дура...

У меня отлегло от сердца.

— Да что ты. Совсем нет. Это я как дурак: развалился на пляже — мое море. А ты меня: вам хорошо в моем море?

Я посмотрел в ее открытые чистые глаза, и мы рассмеялись. Потом рассказал о том, какую картину видел утром до их прихода. И даже не столько рассказал, сколько наглядно продемонстрировал толстяка, который долго не мог выбраться из воды, неуклюже поскальзывался и все падал и падал смешно, сбиваемый высокими крепкими волнами. Наверняка был пьян, как сапожник, но все равно напоследок, перед отправлением домой, решил искупаться.

Она смеялась. И я был рад этому. Ее смех заражал меня и подхлестывал.

— А вот еще. Смотри, смотри, — я стал показывать, как нырял в детстве и как тряслись мои коленки при первой попытке прыгнуть с вышки.

Надо сказать, я никогда не строил из себя клоуна, считая, что всегда нужно оставаться самим собой. И всегда старался быть серьезным. Но тут на меня будто что-то нашло, не знаю даже что, и я, как настоящий гаер, разыгрывал перед понравившейся девушкой целое театрализованное представление.

Наш смех не остался незамеченным.

— Да я вижу, вы совсем про завтрак забыли, — заглянул Сережка.

Мы вернулись обратно к столу, но я все еще не слезал с облаков.

— Яичницу надо делить не так. Разве вас в школе не учили? Разрезаешь ее на длинные равнобедренные треугольники и острым концом отправляешь в рот.

— Зачем это? — вполне серьезно, прервав трапезу, спросила Юлька.

— Понимаете ли, — продолжил я уже приглушенно профессорским тоном, — наш пищевод, — завертел я своей вилкой в районе собственного желудка, — достаточно хорошо растяжим, но если вы начнете пропихивать яичницу сразу, он не сможет на сколько надобно растянуться, и тем самым вы нанесете ему серьезную рану. А треугольная форма яичницы позволяет пищеводу приноровиться к постепенному растяжению. Это называется защита от вредных воздействий.

Юлька, сдвинув брови, вопросительно посмотрела на брата.

— Да, да. Я тоже где-то об этом читал, — решил помочь мне Сережка. — Пищу, разрезанную таким образом, можно заглатывать, не разжевывая.

— Да ну, вы просто меня разыгрываете, — насупилась она и, наколов вилкой кусочек яичницы из своей тарелки, препроводила его в рот.

— Вот! — демонстративно произнесла она и в ту же секунду поперхнулась.

— Ага! — воскликнул я и стал похлопывать Юльку по спине. — Мы тебя предупреждали.

— Да накаркали вы все! — бросила нам она, прокашлявшись, и засмеялась: — Да ну вас, даже поест нормально не даете, дурносмехи!

Мы с Сережкой грохнули разом. Было просто не удержаться. Сережка хохотал с набитым ртом, Юлька сквозь слезы, я — постольку, поскольку не мог удержаться. Нам было хорошо вместе. Мы радовались жизни.

Невозмутимый Сережка не выдержал и стал артистично жестикулировать, показывая, как Юлька пыталась съесть остаток яичницы. Я ему в этом подыгрывал, искоса наблюдая, как один за другим вспыхивали в Юлькиных глазах задорные огоньки, как белокурая выющаяся челка то и дело надоедливо падала на глаза, и она отбрасывала ее резким привычным движением, продолжая смеяться, не обращая внимания на то, что и это забавляет нас.

— Ну, а если серьезно, с нами, со мной и Сережкой, все понятно: мы будущие инженеры, а ты кем решила стать?

— Она закончила первый курс физмата, — опередил сестру Сергей.

— Серьезно? — я был неподдельно удивлен.

Юлька заулыбалась.

— В наше неопределенное время физмат? Невероятно! И что способствовало этому?

— Как ни удивительно: Эйнштейн. Теория вероятности. Она просто увлеклась ею в школе, — опять вставил Сергей.

— Девчонка и физика? Две вещи несовместимые.

— Отчего же? — заискрила глазами Юлька.

— Да и Эйнштейн... А что приглянулось-то, что толкнуло тебя на физмат?

— Его высунутый язык, — засмеялся Сергей. — Вызов всему человечеству. Она этот его портрет даже повесила у себя в спальне.

— Ну ты даешь, — с трудом нашел я несколько слов. — Эм-цэ-квадрат, парадокс близнецов? Девушка, — в вашем возрасте!

Сергей поднял руки:

— Я уже слабо, что помню, меня, плиз, не впутывать.

— А я в свое время тоже подсел, стал копать глубже, но потом разочаровался. Мне стало обидно за ученых, за науку. Уж где-где, думал, а в науке фальши быть не может, не должно быть, как и лжи, ведь все должно проверяться экспериментом, дотошными вычислениями, тщательным старанием допустить как можно меньше ошибок, максимально

возможно приблизиться к абсолютному результату. А Эйнштейн так много создал мифов, не знаю, обманул себя или все человечество...

— Почему сразу обманул? — возмутилась Юлька. — Почему обманул?

— Э, друзья, я вижу, у вас разгорается настоящее побоище. Витек, я Юльку знаю, как облупленную, поверь мне, с ней лучше не спорить, а то полетят пух да перья. Думаю, надо кончать завтрак и выдвигаться на пляж.

— Полностью с тобой согласен.

Мы быстро подхватились и побежали к морю, минуя разноцветные домики и пышные заросли можжевельника, утопая по щиколотки в песке, не замечая никого и ничего вокруг: нас ждало море, мы жаждали моря, только моря, оно вымоет все вопросы!

Я подпрыгивал необычайно высоко, рукой касаясь склоненных ветвей стройных вязов и громко выкрикивая первое, что приходило на ум:

— Я легким взмахом крыльев взмываю до небес! Я в небеса хочу!

— Но этого не хочет бес, — раздался вдруг рядом чей-то отчетливый женский голос. Другой голос, не Юлькин.

Я осекся, увидел глаза этой женщины и, как замороженный, больше не смог отвести от них взгляда. Откуда она взялась? Откуда вышла? Наяда. Нимфа. Я не знал. И почему эти темные глаза оказались так притягательны? Почему я не мог тот час же выбраться из их глубины? Колдовство? Магия? Медея... Я не мог понять, только отупело замер возле нее и снова понес околесицу:

— О, если бес в твоём обличье, то до небес его вознес бы я...

— Прилично ль беса возносить, когда во тьме он должен жить? — разрушила незнакомка мое очарование и, усмехнувшись, пошла дальше в сторону соседней базы.

— Сережка, — спросил я, не отводя от нее глаз, — ты видел? Видел? Откуда она возникла?

Сергей, видно, тоже был поражен ее обаянием.

— Не знаю, — тихо сказал он, — наверное, с моря. Рожденная в пене морской. Афродита Анадиомена...

Мы жадно провожали ее взглядами. Из транса нас вывела Юлька:

— Мальчики, мы пойдем, наконец, купаться или нет?

Она надулась. Вернулась, когда не обнаружила нас рядом с собой на пляже. И надо сказать, мы действительно совсем забыли про нее, негодяи.

— И правда, — стряхнул я наконец с себя наваждение, — мы же решились искупаться. В чем дело, Сережка?

Я сжал руку Юльки в ладони и решительно потянул ее к морю. За нами, подгребая горячий песок ногами, побрел и Сережка. Афродита из соседней базы не выходила из его головы.

Море оказалось изумительным, переливалось тысячами оттенков: от голубого и серого до бледно-зеленого и изумрудного. Старая коряга, невесть откуда взявшаяся на голом пляже, придавала этому месту экзотичность. Здесь масса различных пляжей, каждый по-своему необычен и любопытен: один — наличием белесого песка, другой — крутизной склона, третий усыпан ракушками и останками крабов. Наш пляж — влажной замшелой корягой, которая настолько гармонично вписалась в окружающее, что оно просто стало невысказано без этой причудливой достопримечательности...

Прошло пять дней нашего пребывания на базе. Мы вели беззаботную и праздную жизнь людей, оставивших за плечами целый год изматывающей работы. Не думали о том, что через десять дней снова придется впрягаться в лямки производства. Нам было не до этого. Море забирало мысли, ветер угонял их в неизвестном направлении, тела наши легко и непринужденно отдавались ласковым палящим лучам солнца. Мы пропадали на пляже с утра до вечера, то окунаясь в прохладу освежающих волн, то принимая воздушные ванны. Если Сережке надоело зной, мы шли купаться с Юлькой, прихватив легкое покрывало на двоих и книги, и вполне наслаждались своим обществом, ранним Лермонтовым, которого так сильно любила Юлька, и моей болтливостью, которую я силился выдавать за оригинальность, данную мне от природы. Вечера коротали на волейбольной площадке, за просмотрами кинофильмов под стрекот старой изношенной аппаратуры или на танцплощадке соседней базы. Через неделю я перестал замечать Юлькину девичью угловатость, находил привлекательными ее стройные спортивные ноги, небольшую высокую грудь и светлые волосы, которые она частенько собирала сзади в пучок и закалывала каким-нибудь очередным неприхотливым «крабом».

В тот памятный вечер Юлька одела черное, и мы под любопытные взгляды доброжелательных соседей как обычно отправились на танцы.

Несмотря на раннее время у танцплощадки скопилось масса народу. Кто посмотреть, кто послушать, кто размяться. Мы протиснулись сквозь праздную толпу любопытных, и я сразу пригласил Юльку на вспыхнувший вальс. Закружились, забыв обо всем: о парах, окружающих нас, о Сережке, одной ногой отбивающем такт, о людях, которые

во все глаза смотрели на танцующих и, может быть, даже завидовали им.

В опустившихся сумерках музыка разносилась далеко за пределы базы, заглушала даже море, то, ради чего мы сюда, собственно говоря, приехали. Но когда с тобой в танце кружит такая девушка, как Юлька, когда упоение жизнью охватывает тебя целиком и счастье кажется созданным исключительно для вас двоих, море становится каким-то далеким и второстепенным, незначительным, неважным придатком того состояния, в котором ты пребываешь.

— Как хорошо, Витя, правда, хорошо? — смеялась и радовалась Юлька. И мне стало казаться, будто все вокруг радуется и смеется, будто аромат роз смешался с морским воздухом и стал пьянить нас так, как пьянило выпитое накануне любимое сухое вино.

В этом опьянении мы не заметили даже, как закончился вальс. Я провел Юльку к Сережке отдышаться, а сам выбрался из толпы покурить и переварить все происходящее.

Ансамбль снова заиграл, и я увидел, что Юльку подхватил какой-то парень, и она так же легко закружилась с ним. У меня защемило сердце. Может, я чего-то не понял? Может, думал, ей только со мной так радостно и весело? Ошибался? Почему? — спрашивал себя. Почему она согласилась тут же танцевать с другим? Я что-то сделал не так?

Мои мысли прервал знакомый женский голос:

— Что же молодой поэт в такую дивную звездную ночь один? Где его звезда, богиня, муза?

— Во всяком случае, не передо мной, — огрызнулся я и отвернулся, не в силах о чем-либо говорить. Но женщина остановилась рядом, продолжая смотреть на танцплощадку. Я краем глаза видел ее стройную фигуру, слышал острый запах ее духов.

— Глупенький мальчик. Она совсем еще девчонка, не тревожь сейчас ее юную душу.

Как она догадалась? Мне было невдомек. Я вспыхнул:

— Вам-то чего! — и глубоко затянулся сигаретой. Эта женщина начинала меня раздражать. Еще б минута, и я точно отвесил бы ей оплеуху — такая злость тогда закипала во мне. Слава богу, этого не случилось, грузный мужчина лет сорока подошел к ней, переваливаясь, и произнес:

— Ира, Ирочка, где вы пропали, мы вас ждем-ждем, идемте танцевать.

— Пойдемте, Арнольд, пойдемте, — позволила она взять себя за руку и увлечь. — До свидания, глупый мальчик, — подмигнула она мне

озорно и, томно виляя покатыми бедрами, неторопливо пошла к танц-площадке, своим обаянием раздвигая толпу.

— Я же не Арнольд, я Юра, — донеслось до меня и тут же: — Арнольд, так Арнольд, как вам будет угодно, любезная.

Я затрепетал: вот штучка! Что она себе позволяет! Я ей не какой-то там Арнольд!

Казалось, это мне она бросила оскорбительное — Арнольд! Как какому-то ручному кобелю! Но до конца вечера я глаз с нее не сводил. Ирина меняла то одного партнера, то другого. Танцевала пластично, грациозно, с изяществом и волнующе, словно Мата Хари.

Я попытался сравнить ее с Юлькой, но ничего из этого не вышло. Юлькины угловатые движения теперь только нервировали. Я находил массу недостатков и неуклюжестей, но не хотел застревать на них, и полностью переключился на музыку.

Танцевал я всегда неплохо (мама в детстве отдавала меня в школу танцев, но потом я ушел в спорт), умел преподнести нечто оригинальное. Некоторые даже пытались перенять мою манеру. Естественно, им это не удавалось, потому что у меня ее просто—напросто не существовало. Я танцевал так, как в данный момент чувствовал, так, словно каждая нота вырывалась не из струн и клавиш инструментов, а из моих жил, пробегая по мышцам. Теперь и я стал ловить на себе мимолетные взгляды Ирины. Видел, какой раздражительной становилась она, когда партнер не мог подстроиться под ее ритм. Наши взгляды встречались, и я начинал понимать, что пришел сюда не ради Юльки, а ради Ирины, увидеть ее в движении, в танце.

Древние перед охотой совершали жертвенный танец. Это приносило им удачу. Мы с Ириной совершали свой ритуальный танец, но безумнее и иступленнее тех, доисторических.

«Удачной охоты тебе, Виктор», — читал я в ее глазах. «Удачной охоты тебе, Ирина», — сигналил сам и понимал, что постепенно полностью подчиняюсь ее воле. Но, в отличие от знаменитого древнегреческого жениха Гиппоклида, я не боялся «проплясать свою свадьбу»! Терять мне было нечего. Однако нашей своеобразной дуэли не дано было завершиться, Юлька дернула меня за рукав:

— Уйдем отсюда, Витя, уйдем, — и я увидел, что она стоит рядом и взволнованно смотрит на меня. Это меня немного отрезвило.

— Да, да, Юлька, идем, — сказал я и понуро поплелся за ней.

— Ну ты и танцевал! — восхищенно похлопал меня по плечу Сережка. — Все аж рты раскрыли. И еще та Афродита, помнишь, на кото-

рую мы наткнулись в начале недели, заводила по полной. Выше крыши! И ты молодцом, — не уступал ей ни в чем!

— Да что там, — пробормотал я смущенно и на мгновение обернулся. Ирина, тяжело дыша, стояла в тени раскидистого клена. Заметив, что я смотрю на нее, улыбнулась и помахала рукой. Я отвернулся и решительно направился к выходу, пытаюсь сбросить с себя наваждение. Танцы подходили к концу, но мне уже было не до них. Я только и думал о том, что меня так завело, отчего я чуть не сошел с ума. Никакого объяснения своему безрассудству — а то, что оно было неподдельным сомнений не было, — я не находил.

Серезжка побыл еще четверть часа с нами и пошел спать. Я сидел к Юльке спиной. Мы молчали. До нас доносился лишь слабый шум прибоа и легкий трепет листьев.

— Как ты на нее смотрел, — первой нарушила молчание Юлька.

— Как? — переспросил я.

Она пожала плечами:

— На меня ты так никогда не смотрел.

— Сам не знаю... Наверное, сильно устал.

— Может, перегрелся? Когда долго загораеть на солнце...

— Нет, — оборвал я ее, — не перегрелся. Просто устал.

— Тогда пойдём отдыхать. Тебе нужно отдохнуть, — она повернулась ко мне. — А завтра опять пойдём к морю, ляжем на песок...

— К черту! — вспыхнул вдруг я. — К черту и море, и песок, все — к черту!

Я был взбешен, не понимал, чего хочу, но Юлька внешне осталась спокойной.

— Я читала, — сказала она, — что у человека бывают иногда срывы: дни, полные апатии и безразличия. Однако они все равно проходят, надо только в эти дни не думать об этом, нужно преодолеть себя, превозмочь. Хочешь, я помогу тебе?

Я почувствовал себя неловко. На ее месте, меня надо было гнать от себя, как паршивую собаку. Она же шла мне навстречу, закрыв глаза и забыв обо всем, что было, жертвовала собой ради того, чтобы вернуть лучшее, что было с нами, чтобы восстановить то, что я попытался своим необдуманным поступком разрушить. Я не мог не оценить этого, я не стал еще подлецом.

— Ты хорошая девчонка, Юлька, — я слегка приобнял ее за плечи.

— Правда?

Я ступешался. Стало стыдно, что я повысил на нее голос, поспешил извиниться.

— Правда, правда. Милая Юлька, — начал было я, но от переполнявших чувств не смог найти нужных слов. Тогда просто поднялся и потянул ее за руку. — Пошли к морю. Пошли.

Я верил, что море сможет помирить нас. Оно словно утешало всякий раз, когда нам было плохо.

Счастливые люди, думал я, те, которые живут на побережье: они в море находят источник силы и радости.

Мы вышли на пляж. Море было как никогда безмятежным. Его шум напоминал слабый шепот, убаюкивал и умиротворял. Темный горизонт не казался мрачным и не угнетал.

— Как замечательно, Юлька, как здорово!

— Тебе хорошо, Витя?

— Хорошо, Юлька, хорошо! — Я подхватил ее на руки и закружил, засмеялся, стал целовать. Глаза, волосы, лоб, щеки, губы. Нежно и ласково, и она отвечала на мои поцелуи так же ласково и нежно. Ее открытость и доверчивость настолько опьянили меня, что я, сам не понимая, что творю, опустился с нею на песок и стал расстегивать ее платье. Я хотел ласкать и ее тело, но она вдруг уперлась в меня руками, выгнулась и стала вырываться:

— Не надо, Витя, не надо!

Вскочила на ноги и быстро, сверкая белыми пятками, побежала в сторону базы.

— Юлька, стой! Стой! — крикнул я, однако не бросился вслед.

«Глупышка, маленькая глупышка, — подумал, — хотя уже восемнадцать».

Мне стало горько. Наверное, оттого, что все так нелепо вышло. И даже море не сблизило нас.

— Так недолго и простудиться, — неожиданно раздался за спиной знакомый голос — Ирина.

— Ты всегда ходишь ночью купаться? — спросила она и опустила рядом.

— Почти, — ответил я и не узнал своего голоса.

— И как же?

— Нагишом! — бросил с раздражением, но почувствовал, как меня охватывает предательская дрожь.

— Конечно, как же еще можно купаться ночью? Только так можно слиться со стихией, не так ли, глупенький мальчик?

— И вовсе я не мальчик!

— Конечно, конечно.

Ирина поднялась, скинула халат и протянула руку:

— Пойдем, мужчина, море ждет нас.

Я словно оказался под гипнозом, голова моя закружилась, сердце громко застучало — она была полностью обнажена.

Юльку я теперь старался избегать, Сережку тоже, насколько можно избежать соседей по совместному жилью. Пораньше вставал и бежал на пляж соседней базы, где обычно загорала Ирина. Однако там ее не находил. Украдкой поев в столовой, снова спешил на пляж, снова искал Ирину. Перестал себя узнавать: переживания и разные там романтические страдания были всегда далеки от меня, но теперь все разом нахлынуло. Нет, я понимал, что это не любовь. Какое-то иное чувство, названия которому я подобрать не мог. Все мои мысли были заняты ею, «моей Ириной», как втайне я называл ее. Постоянно спрашивал себя: что толкнуло меня в ее объятия — страх, желание, интерес? Не понимаю. Мне было хорошо с Юлькой и приятно с Ириной. Мне нравилась Юлька, но не оставляла равнодушным и Ирина. Я совершенно запутался в своих желаниях, просто не знал, кого предпочесть. Встречаясь с Ириной, жалел Юльку, укорял себя и находил, что поступаю подло по отношению к ней; тешился только мыслью, что Юлька ни о чем не догадывается: она ведь ушла в тот вечер раньше. К чему тогда весь сырбор? Хотелось разобраться во всем, и дня через три не выдержал, потянулся на пляж, к старой коряге. Сережка спал, прикрыв лицо полотенцем, Юлька читала книгу.

— Привет, — бросил я и как ни в чем не бывало улегся рядом. — Что читаем?

— Здравствуй, Витя, — сказал Юлька и потупила взгляд.

— А, явился блудный сын. Где пропал? — приподнял голову Сережка. — Мы уж соскучились по тебе.

— Дела, дела, — отмахнулся я от него и к Юльке: — Знаешь, ты меня прости. Я... Я все боялся, что ты прогонишь меня. За тот вечер.

Юлька. Наивная Юлька. Она сразу поверила мне. Услышав мои слова, пристально посмотрела на меня, потом поднялась и побежала к морю, откровенно радуясь и совсем не скрывая своих чувств.

— Смотрю я на вас, — сказал, не снимая с лица полотенца, Сергей, — и думаю: какие все-таки люди становятся глупыми, когда между ними проскальзывает какая-то искра. Нет бы радоваться этому, а вы с Юлькой завелись, как недовольные друг другом муж и жена в плохом сериале, да еще теорией относительности прикрываетесь. Мне кажется, Эйнштейн этого не стоит, не прячьтесь за его спиной, оставьте его в покое, разберитесь сами в своих чувствах.

Я посмотрел на Сергея.

— Может, ты и прав. Скорее всего прав. Но вопрос в другом. Мне просто хотелось, чтобы Юлька даже на Эйнштейна взглянула другими глазами, чтобы ее чистоты не коснулась эта фальшь, я ее терпеть не могу. Знаешь, когда я вник в парадоксы Эйнштейновских утверждений о скорости света и искривленности пространства, мне стало так больно и обидно, что даже такие великие умы человечества в погоне за славой и привилегиями способны на ложь, — зачем тогда наука, поиски истины, если вся истина заключается только в удобстве и эстетической красоте теории, причем, теории, которую нельзя ни доказать, ни опровергнуть, теории, практически не доказанной. Что тогда говорить о нас в быту, в обществе? Неужели все мы так же насквозь фальшивы и лживы?

Сергей снял с лица полотенце, приподнялся.

— А мне кажется, Эйнштейн искренне верил в свои взгляды. И по большому счету, он все же человек и тоже мог ошибаться. В конце концов, если мне не изменяет память, формулы, полученные Эйнштейном (взять хотя бы возрастание массы), отличаются от Лоуренсовских результатов не более восьми процентов, поэтому экспериментально не так уж и погрешны. А пока мы сумеем достичь скорости света, может, еще сто подобных Эйнштейнов появится.

Возразить было нечего. Я, наверное, зря так остро переживал по этому поводу, но так ли просто изменить себя в одночасье?

Вернулась Юлька, лицо ее продолжало светиться. Она схватила полотенце, укуталась и снова внимательно посмотрела на меня.

Когда мы возвращались с пляжа примиренные, и Сережка чуть вырвался вперед, сказала:

— Знаешь, а я хотела бы вернуть тот вечер. Мне было с тобой тогда так замечательно.

— Мне тоже, — не солгал я (сколько можно себе лгать?) и легко сжал ее руку.

Однако перемирие длилось недолго. В тот же вечер мне навстречу попала Ирина, и я, снова потеряв голову и договорившись с ней о свидании, стал ждать скорейшего наступления ночи.

Меня словно кто-то подменил, за ужином я опять сыпал остротами, но после, сославшись на усталость и чрезмерную сонливость, отклонялся и ушел в свою комнату, отказавшись от приглашения на танцы.

Едва пробило одиннадцать, я мышкой прошмыгнул мимо комнаты своих друзей и направился на пляж. Меня по-прежнему влекло к Ири-

не, я ничего с собой поделаться не мог. (Вот и вся теория относительно-сти!)

— Мой мальчик, ты пришел, — протянула она, и я как прежде ощутил мелкую предательскую дрожь в коленях и голосе.

— Не называй меня так, — еле слышно пробормotal я.

— Как хочешь, глупыш. Но сейчас ты снова у моих ног. С тех пор, как море приняло нас. Иди поближе. Или боишься? Признайся — ты боишься меня.

Я прислонился к стойке грибка и только смотрел на нее.

— Признайся, — раздался снова ее вкрадчивый голос.

— Да, боюсь. Может, ты ведьма?

Она рассмеялась.

— Глупый мальчик. Я просто женщина. Жен — ши — на, — протянула она. — И мое назначение — завоевывать и повелевать. Тебе разве не приятно, когда я повелеваю тобой?

Она подошла ко мне, прижалась, запустила ладонь в мои волосы. Я закрыл глаза и не узнал собственного голоса:

— Да, приятно.

— Тогда поцелуй меня, — сказала она. — Целуй! Я этого хочу. И требую!

Я прикоснулся губами к ее жарким устам и окончательно сошел с ума.

— Целуй, как прежде, как прежде! — зашептала она, когда мы, чуть не задохнувшись, оторвались друг от друга.

— Нет! Нет! — раздалось за спиной. Я обернулся. Юлька! Мы встретились глазами. Она еще раз, уже тише, сказала «нет» и побежала. Сердце мое, казалось, выскочит из груди.

— Юлька! — крикнул я и ринулся за ней, спотыкаясь, увязая в песке.

— Я все слышала! Слышала! — бросала она, не останавливаясь и не стирая слезы.

— Не верь, это неправда! У нас ничего не было! Ты одна только нравишься мне!

Я попытался схватить ее за локоть, но Юлька вырвалась и бросила:

— Ты мне все врал, врал! Теперь даже не знаю, кому верить! Вот она твоя самозащита от вредных воздействий: ложь, лицемерие и притворство! Ты ничем не лучше, слышишь, ничем не лучше корыстного ученого!

Она убежала. Наивная девчонка. Простачка! Что я в ней нашел? Худая шея, подпирающая большую голову — вот-вот сломается, пока-

тится по дороге и не будет, может быть, этой наивности... Только Ирина понимает меня, только она знает, что мне нужно. А эта... Придумала тоже — самозащита от вредных воздействий. Да я, может, и не хочу никакой защиты, я, может, большего хочу, может, мне такие женщины, как Ирина, нужны. Нет, скорее, я им нужен. Я подвластен ей, и это льстит. И мне это не противно. Да, я подчиняюсь ей, но становлюсь независимее; унижаюсь, но тем поднимаюсь выше. Не я, а она у моих ног. Она! Посмотрим, кто сильнее. Я разыщу ее, разыщу!

Я знал, где ее найти. Домик Ирины находился недалеко от входа на соседнюю базу, стоял, прикрытый высокой ивой, ветви которой свисали почти до земли. Жаль, что в этих домиках нет окон, я бы влез в окно, и никто бы меня не увидел со стороны. Однако, что окно. Она сама выбежит ко мне, лишь я поскребусь. Благо, все спят.

Фонарь неподалеку ярко освещал тропинку к ее домику. Я все не решался идти, как вдруг дверь отворилась, и на пороге появилась сама Ирина.

Я хотел было броситься к ней, но что-то удержало меня.

Ирина выключила свет, заперла комнатку и сошла со ступенек.

На освещенном месте я только заметил, что она несла в руках бутылку водки.

Подойдя к домику спасателей, который находился неподалеку, она отворила дверь и скрылась за ней. Потом щелкнул английский замок.

Сердце мое сжалось. О, если бы я мог заглянуть хоть на секунду туда. Правда, что там смотреть, — и так все ясно. В такое дурацкое положение я еще ни разу в жизни не попадал. Сам виноват. Сам захотел властвовать, но в своем рвении так увлекся, что не заметил, как попал в ловко расставленные силки. На этом поле брани пал ты, а не твой враг. Умер. Тебя нет.

Через час, а может, и больше, которые прошли на одном дыхании, дверь домика спасателей открылась, и вышла Ирина. Ее волосы были взлохмачены, она неровно держалась на ногах. Вслед за ней появился высокий лысый качок лет сорока. Ирина что-то невнятно забормотала, повисла у него на шее и попыталась дотянуться до его губ.

— Довольно, Ирка, иди спать, — бросил качок.

— Никуда я не пойду, останусь с тобой, хочешь?

Мужчина ничего не сказал.

— Так ты прогоняешь меня? — не унималась Ирина. — Ты... Но я не уйду, лягу здесь, как верная собачонка.

Качок легко поставил ее на ноги.

— Не дури, вдруг увидит кто.

— Ну поцелуй меня, — потянулась она опять к нему. — Хочешь, я стану перед тобой на колени?

— Иди уже! — вернулся он к себе и захлопнул за собой дверь. Ирина осталась одна.

— Дрянь! Дрянь! Все вы так, все! — бахнула она кулаком в дверь, но потом будто сразу остыла, сошла с крыльца, поникнув, но продолжая лепетать: — Все вы такие.

Побрела по тропке. Я выглянул из темноты и остановился перед ней. Она поначалу отшатнулась, но услышав тихое «Ирина», произнесла:

— А это ты, мой глупый мальчик. Что тут делаешь? Следишь за мной? Уходи отсюда. Неужели тебе еще не ясно, что я просто играла с тобой? Пошутила, а ты принял все всерьез. Эх ты, глупышка!

Я задрожал. То ли от обиды, то ли от негодования (и тут теория относительности!), и вдруг сорвался с места и побежал, не разбирая дороги, унося с собой однозначное: «Глупышка, глупышка. Я же пошутила, пошутила, пошутила!..» $E = mc^2$.

Море отчаянно билось о берег. Я лежал на песке, как сраженный пулей, и рыдал. Грудь мою распирало от обиды, в горле будто что-то застряло, и это «что-то» мешало крикнуть, мешало облегчить страдания, хоть на долю секунды ослабить боль. Как пережить все это? Как? Море молчало. На побережье один за другим гасли фонари. Нет, больше я не смогу так раздваиваться и снова лгать себе и Юльке, решил уехать раньше срока окончания путевки.

На следующее утро я собрал рюкзак, запер дверь на ключ и сел на скамейке у домика.

— Завтракать будешь? — спросил Сережка.

— Нет, спасибо.

— Опять апатия?

— Полнейшая. А где Юлька?

— Купаться пошла. С Володей.

— Что еще за Володя?

— Парень с тридцать третьего домика. Пришел как-то к нам и говорит: «Ребята, мол, скучно, давайте дружить». Я говорю: «А как это?» Знаешь, что он ответил? «Купаться, вместе ходить на танцы». Понял, теперь дружба — это значит на пляж и на танцы.

— Идиот. Хотел бы я взглянуть на этого «друга».

Сережка сел рядом.

— Может, по стаканчику винца?

— Я такой, чтобы покрепче.

— Есть и покрепче. — Он вынес из комнаты бутылку водки и раскупорил ее. — Горе водкой не зальешь, но грамм по сто не помешает.

— Какое горе?

— Юлька сказала, — конфуз у тебя с одной барышней вышел.

— Слова-то какие: конфуз... барышня... Давай уже дернем.

Я мигом опустошил свой стакан и принялся за закуску.

— Опять пьете? — раздался голос Юльки.

— Привет! — поздоровался с нами парень, чуть постарше Юльки.

Я кивнул в ответ и, дожевывая, вскинул свой рюкзак на плечи.

— Уезжаешь? — спросила Юлька.

— Как видишь.

— Проводить тебя можно?

— Пожалуйста.

Мы брели вдоль берега, каждый думая о своем, хотя прекрасно понимали, что мысли у нас общие и отнюдь не разные.

— Жалеешь меня? — услышал я свой голос.

— Нет, Витя, просто я убедилась в том, что жизнь легкой не бывает.

— А мне все было легко, — затаил было я свою старую песню, но, увидев, что Юлька с укором посмотрела на меня, сказал: — По-крайней мере, я так думал. Возмнил о себе. Жизнь в шутку хотел превратить. Глупо? Конечно, глупо.

Мы остановились, и я пристально посмотрел Юльке в глаза. Она смотрела на меня, как и раньше: открыто и доверчиво.

— Ты совсем несамостоятельный, — вдруг сказала она, и в ту же минуту мне показалось, что дорожке Юльки у меня больше никого нет, и больше никого нет на свете, кто бы смог так верно понять меня.

Я взял ее за руку. Она не вырвала ее.

— Можно, я тебе позвоню?

— Ты уже узнал мой номер телефона?

Я пожал плечами.

— Не держи на меня зла. Мне очень жаль, что все так получилось.

Юлька опустила голову.

— Я пережила в ту ночь тяжелые минуты. Думала — прокляну тебя, но потом...

— Так я позвоню?

Юлька снова посмотрела на меня и вдруг порывисто прижалась, спрятав голову на моей груди. Радость захлестнула меня. Я обнял ее за плечи, и мы еще долго стояли так, не отрываясь друг от друга. Наконец я пересилил себя:

— Ну, мне пора.

— Ты можешь остаться. — Она так ждала моих слов, но мне было стыдно. И совестно.

— Через пару дней ты вернешься. Я тебя обязательно разыщу. Ты, надеюсь, не умрешь здесь без меня? — перешел я вдруг опять на свой обычный насмешливый тон. — Ах да, у тебя же появился новый ухажер, он тоже без ума от Эйнштейна?

Юлька отодвинулась от меня:

— Опять начинаешь?

Я взял рюкзак, взглянул ей прямо в глаза.

— Мне будет очень тебя не хватать.

— Мне тоже.

— Я позвоню?

— Звони.

— Правда?

— Правда, — нисколько не лукавя, сказала она.

— Тогда до встречи?

— До встречи.

Я слегка сжал ее руку, отпустил, пошел вперед. Погода обернулся. Юлька стояла на прежнем месте. Заметив, что я обернулся, помахала. Меня охватил восторг.

— Надеюсь, до встречи! — радостно крикнул я.

Нет, пусть и Эйнштейн будет, и Юлька, и море, и говоря обыденным языком, все относительно, но эта относительность порой вносит в наше существование такие изменения, что жизнь становится намного богаче, насыщеннее, прекраснее. Я — за такую относительность.

Я это произнес вслух или только подумал? Нет, море оставалось тихим и спокойным, Юлька исчезла из виду, отдыхающие потянулись на базы — наступал зной. Нужно спешить, чтобы успеть на дневной автобус. Впереди, я был уверен, меня ждала новая счастливая жизнь.

Мира Борсиг

г. Новомосковск

ПО СЛЕДАМ ФАННИ ХЕРСТ

Библиотека имени Льва Толстого стояла на пересечении улиц Восьмой и Тринадцатой. Грандиозное здание, украшенное изящными колоннами, скульптурами и орнаментом, резко контрастировало с однообраз-

ной серой массой бетона и стали вокруг. Полет мысли, не скованной жадной наживы, был столь непривычен для «продвинутого» человека XXI века, что городская администрация уже подумывала, а не снести ли старую библиотеку, чтобы освободить место для очередного торгово-развлекательного центра.

Эллана была старомодной. В свои двадцать шесть она носила широкополую шляпу и полностью закрытое платье почти до щиколоток. Она любила приходить в старую библиотеку и листать пожелтевшие страницы ветхих томов.

Она любила писать. Романы и повести, рассказы и стихи, по поводу и без повода копились на самых дальних секторах жесткого диска ее ноутбука.

Ни один из них ей не нравился. Слово, вытекшее из души на бумагу, пусть даже виртуальную, застывало и твердело, как глина в печи, — а конструкты в душе были гибкими, палящими, как расплавленная сталь. Она мечтала найти слова пластичные, текучие, горящие: такие смогли бы пробить самые толстые стены тюрем, в которые люди заточали свои души.

В тот день, сидя за великолепным дубовым столом в читальном зале, Эллана глядела на чистый лист бумаги перед ней. Что будет со строками, которые она положит на него? Станут ли они светом, освещающим чей-то тернистый путь, или затеряются во тьме бессмысленного?

— Самый тяжелый труд — рождение первой строки, — сказал кто-то рядом с ней, и она оторвалась от раздумий. Напротив нее сидела женщина лет сорока в строгом бежевом пальто. Ее тонкие пальцы сжимали толстенную книгу — «Вино из одуванчиков» Брэдбери.

— Я не планирую сейчас писать стихи, — почти машинально ответила Эллана.

— А разве в прозе нет первой строки?

Женщину звали Сильвия. Эллане всегда хотелось иметь такое же благозвучное имя — но она не придумала ничего лучше, как назвать себя Агнессой. В тот момент она почувствовала себя невероятно счастливой оттого, что госпожа Агнесса Саронская не опубликовала еще ни одного текста.

Сильвия была доктором филологических наук и известным литературоведом. Она обладала исключительным литературным вкусом, но уж очень любила критиковать современную литературу. Рассуждая о богатстве языка и смелости идей классиков, она то и дело сетовала на

примитивизм и приземленность, пропитавшие произведения многих молодых писателей.

— Изучая труды писателей прошлых веков, ученые давно уже вывели формулу хорошей книги — но она незаслуженно забыта, — снова и снова повторяла она. В памяти Элланы начали прокручиваться витиеватые архитектурники, мудреные фабулы, изощренные тропы. Она неукоснительно соблюдала все известные правила написания книг — но из-под ее пальцев выходили бледные, безжизненные тексты, неспособные зажечь даже искру мысли в переполненном суетой уме.

Наконец она отважилась возразить Сильвии:

— Текст, написанный по формуле, порой живет не дольше кометы: проносится яркой искрой во тьме и сгорает через несколько мгновений. Но есть тексты, горящие долгие годы, как звезды. Не все из них обладают совершенной структурой. Наоборот, многие бросают ей дерзкий вызов.

Лицо женщины вмиг изменилось. Ее глаза загорелись, как у старателя, наткнувшегося на богатую золотую жилу.

— У Фанни Херст есть история о студенте, который задал своему профессору трудный вопрос: есть ли формула, способная вдохнуть жизнь в книгу, формула, которой нет в учебниках? Я посвятила тридцать лет своей жизни поиску этой формулы — и наконец нашла ее. Ничто не вливает в текст столько огня, сколько боль. Страдания, пролитые на бумагу, продолжают пылать, обжигая душу каждого, кто к ним прикасается.

— Но боль не имеет формы, — задумчиво произнесла девушка.

— Писатель — не обезьяна за компьютером. Писатель — тот же ученый. Он отыскивает драгоценное в ничтожном и помещает в золотую оправу, чтобы сберечь для будущих поколений. Единственное, что отличает писателя от ученого, — право на пылающие, гибкие слова. Слова, способные раскрыть самую непостижимую тайну самому недалекому уму.

Эллана приподняла брови в легком недоумении. Чтобы отыскать алмаз, порой требовалось перелопатить тонны пустой породы — а на это просто не хватало времени.

— Трудно найти что-то ценное, когда сроки горят, — она покачала головой. Сильвия улыбнулась.

— Хорошие идеи — не полевая трава, которая сегодня цветет и пахнет, а завтра вянет. Они растут подобно деревьям. Порой им нужен не один год, чтобы начать плодоносить. Полевая трава живет недолго. Каждый год ее сменяет другая. Дерево же может жить веками, снова и

снова давая вкусные плоды. Еще хорошие идеи подобны хорошему вину: чем они старше, тем лучше. Не торопись выбрасывать все свои задумки на бумагу. Они позовут тебя, когда будут готовы к этому.

Когда Сильвия закончила, Эллана взяла ручку и принялась чертить что-то на бумаге. В языки пламени мало-помалу стали вплетаться слова.

«В погоне за бабочками-однодневками можно не заметить бриллиантов под ногами,» — прочитала Эллана первую строку. Пламя вспыхнуло в груди, слова полились одно за другим, бурля, как горная река.

Прошел год. В тот день, входя в библиотеку имени Льва Толстого, Эллана чуть не столкнулась с Сильвией. В руках последняя бережно держала тоненькую книжечку. Девушка прочитала название — «Бриллиантовые бабочки, или Огненный сосуд» — и ее сердце екнуло. Сильвия, однако, уважительно кивнула ей.

— Вы спешите? — тихо произнесла она.

— Конечно, спешу, милая, известнейшие литературные журналы ждут моей рецензии на эту замечательную книгу.

Сильвия посмотрела на сверкающих бабочек на обложке и улыбнулась.

Дмитрий Игнатов

Воронеж

ПОСЛЕДНИЙ ЭКСТРЕННЫЙ

Комиссар Лаврухин пребывал в подавленном состоянии. Ожидание вымораживало душу начальника эшелона, как и всё внутреннее содержимое вверенных ему вагонов. Многотонный поезд уже пятый день стоял, застыв посреди заснеженной пустыни.

Выдохнув пар, комиссар забрался по лесенке в тамбур, где столкнулся с Венечкой — стареющим интеллигентом в круглых очках и с вечно всклокоченной кучерявой шевелюрой. За время поездки Лаврухин так и не удосужился узнать, кем был Венечка по профессии — то ли писатель, то ли инженер — намного важнее было то, что он каждый раз вызывал раздражение.

— Когда же мы поедем, любезный? — оправдал предчувствия Венечка, затягиваясь сигаретой, зажатой в замёрзших пальцах.

— Скоро. Скоро поедем, — отмахнулся комиссар и спрятался за дверь, ведущей к локомотиву, куда Венечке, как простому пассажиру,

было категорически запрещено входить. Там за толстой стальной переборкой простирался широкий отсек тендера, где морозный воздух снаружи смешивался со смолистым запахом угольной пыли и уже отчётливо веял теплом от раскалённой топки. Отметив, что угля заметно убавилось, Лаврухин прошёл к кабине машиниста Путилина, но застал того в кочегарке. От масла и сажи его лицо казалось ещё более сморщенным и измождённым, чем обычно.

— Ну, как там? Сидят?— устало спросил Путилин, вытирая пот со лба.

— Сидят,— подтвердил комендант.

— И чего им надо только?..

— Да шут их знает...— пожал плечами Лаврухин.— Вроде как ждут чего-то. А чего?

— Может это...— машинист осторожно замялся.— С собой их возьмём? Чо они сидят-то?

— С собой?— комендант задумался, мысленно прикидывая, как будет уплотнять пассажиров, но, закончив свои подсчёты, ответил.— Это можно. А машина сдюжит?

— Сдюжит,— уверенно кивнул Путилин.— Чуток потише, но пойдёт точно. Ты знаешь... Ей, главное, ехать,— машинист не без удовольствия похлопал по гулкому боку топки.— Вот бы только помощника мне нашёл. На уголь поставить. А то я тут уже, как раб на галерах...

Кочегара и правда, не хватало. Помер он с месяц назад и лежал теперь где-то в ледяной степи, зарытый прямо на насыпи железнодорожного полотна.

— Пожалуй, из новеньких и найду,— согласился Лаврухин.

— Хоть не просто так уголёк им давать,— вдруг добавил Путилин, и, поймав удивлённый взгляд собеседника, пояснил. — Да, были тут ходоки... Просили. Обещали пути освободить.

— А ты что же?

— Ну, отсыпал мешок. Жалко же... Помёрзнут,— машинист грустно и даже как-то виновато посмотрел на коменданта.— Ты бы это... Поговорил с ними ещё. Ну, как ты умеешь, по-дипломатически. Нам ехать надо. Машине стоять нельзя.

— Нашёл дипломата...

Лаврухин хмыкнул и вышел, про себя обругав Путилина «либеральничующим гуманистом» и ещё парочкой мудрёных слов. А в тамбуре снова встретился взглядом с курящим Венечкой.

— И всё-таки желательно бы иметь определённую. Когда же мы поедем?

— Скоро!— ответил комендант, пытаясь сохранять самообладание.— Людей заберём и поедем. Займите своё место.

— Позвольте! Каких людей?! С какой стати?! Мы тут все за билеты платили...— Венечка хотел привести ещё какие-то аргументы, но Лаврухин уже спрыгнул с подножки и зашагал вдаль по снегу, а выходить на мороз за комендантом интеллигенту совершенно не хотелось. Он докурил сигарету и отправился в купе с твёрдым намерением выпить чаю — непременно с лимоном и сахаром.

Лагерь «ситдаунов» растянулся вдоль всего железнодорожного полотна. Старые торговые палатки были выставлены неровными рядами, иногда прямо по рельсам. Кое-как укреплённые натасканными со всей округи гнилыми досками, кирпичами, листами проржавевшего железа, каким-то тряпьём и прочей ветошью — они и представляли типичное жильё местных обитателей. Кажется те, кто изначально сюда пришли, просто очень боялись пропустить свой поезд. Но время шло, а заветный локомотив так и не показывался на горизонте. Сменялись поколения, забывались прошлые цели, и вот уже ожидание лучшей жизни постепенно стало самой жизнью. Теперешние обитатели лагеря, похоже, и сами больше не помнили, зачем сидели. Чумазые и оборванные, они жались друг к другу около костров, горящих внутри дырявых бочек. Очевидно, и внутри продырявленных душ этих людей, ещё тлел какой-то странный огонёк надежды, подпитываемый или собственной полуре-лигиозной верой, или личным фанатизмом их лидера. В любом случае всё здесь делалось или не делалось исключительно по воле пузатого бригадира Коровчука.

Он по-турецки сидел на горе старых покрышек и своим широким раскрасневшимся лицом и вывалившимся через ремень жирным пузом, напоминал Лаврухину какого-то азиатского хана. Не вынимая рук из карманов и никак не здороваясь, комендант сразу перешёл к делу:

— У нас были договорённости.

— Не слышал такого...— ответил Коровчук, чуть перемещая на крышке свой толстый зад.

— Обещали же Путилину.

— Ну,— физиономия бригадира расплылась в сальной ухмылке,— ему, может, и обещали, а вам нет.

— Какая разница? Вы сказали, что освободите пути.

— Наверное... Но мы же не говорили, что будем это немедленно выполнять,— не сводя взгляда с опешившего коменданта, толстяк про-

должил.— Вы нам лучше ещё угольку отсыпьте. Одно-то мешка мало будет...

— Нет,— сдавленно выдавил из себя Лаврухин.

— То есть, как это? Вы же... обязаны нам помочь.

Голос коменданта сделался твёрдым и приобрёл металлические нотки.

— Безусловно. Но никакого угля вы от нас больше не получите. Завтра поезд тронется. Желаящие могут сесть и поехать с нами, остальным, так или иначе, придётся освободить пути. Всем всё ясно?!

Последние слова он буквально прорычал, поэтому Коровчук даже замахал своими пухлыми ручками.

— Хорошо-хорошо! Не будем горячиться, гражданин начальник. Идёт! Поедем! Но, в конце концов, нам нужно собраться, всё обдумать... Дайте хотя бы до послезавтра срок?

— Ну, ладно,— смягчился комендант.— Но завтра я ещё приду.

Он колючими глазами обвёл притихших вокруг людей. Все они смотрели в ответ: кто со страхом, кто с угрозой, кто с непониманием. Похоже, что в этом худощавом высоком человеке в шинельке и фуражке, они впервые увидели какой-то иной смысл, какую-то иную силу — совсем не такую, какая была у тучного бригадира — и этим она их одновременно и привлекала, и пугала. Лаврухин отвернулся и, ощущая спиной человеческие взгляды, пошёл назад к эшелону. Стянуть с себя нестерпимо жмущие сапоги, сунуть замёрзшие ноги под колючее верблюжье одеяло и, растянувшись на проводницкой полке, забыться сном — вот, пожалуй, и всё, чего он сейчас хотел.

Поутру Лаврухина разбудил истошный крик: может, бабий, а может, и нет, но истеричный и какой-то визгливый. Впрочем, через минуту выяснилось, что кричал стареющий Венечка. Из его путаных объяснений следовало, что некто напал ночью на машиниста Путилина, по всей видимости, убил и скрылся. По снегу от паровоза в сторону лагеря действительно тянулся кровавый след. Металлический пол тамбура и скоба двери, ведущая к тендеру и кабине — тоже были перепачканы кровью. Вот только «убитый» сидел всё тут же, прикладывая к разбитой голове платок. Лаврухин даже не знал чему больше удивиться: внезапному воскрешению, или тому, откуда Путилин достал платок, который в его промасленных чёрных руках казался белоснежным.

— Ну, вроде живой,— отметил комендант.

— Да вы гляньте на нашего рулевого! У него же рука трясётся!— продолжал причитать Венечка.— Как он теперь состав поведёт?!

— Да в порядке я,— недовольно пробубнил Путилин.— Обидно, что моим же ведром меня огрел...

— Кто?! Детали!— насел Лаврухин, отодвигая ставшего бесполезным интеллигента.

— Да не разглядел. Захотел по нужде выйти. Смотрю, кто-то в тендере копаётся. Шугнул. А он, видать, с перепугу меня... По фигуре вроде молодой.

— Ясно. «Ситдауны» эти наведались. Уголёк им наш нужен. Протожили дорожку,— озвучил комендант очевидный вывод и задумчиво посмотрел в сторону лагеря.

Там, где-то на конце сходящихся в точку рельсов, пестрели палатки и поднимался чёрный дым, но не было видно никакого движения.

— А вы ещё этих, с позволения сказать, граждан хотели к нам в поезд определить... Звери они там все!— поддакнул Венечка, но на него снова не обратили внимания.

— Не придёт никто,— проговорил Путилин.— А нам ехать нужно... Машина должна двигаться, а то совсем встанем. Смазка загустнет — поршни заклинит, а если ещё трубопроводы во внутреннем контуре замёрзнут и гайки разопрёт...

— Вот и займись внутренним контуром. Закручивай свои гайки!— огрызнулся Лаврухин.— А на внешнем уж я. Сказал — «до завтра», значит — до завтра.

Поплотнее надвинув фуражку и подняв ворот шинели, он в очередной раз решительным шагом отправился в сторону стихийного поселения.

— Ну куда он снова? С кем там разговаривать?— покачал патлатой головой интеллигент-Венечка, провожая коменданта взглядом из-под блестящих очков.

— С людьми,— ответил машинист, хотя и сам уже не был уверен в своих словах.

В лагере и правда не наблюдалось никакой человеческой активности. Ни следов рассыпанного угля, ни тем более крови, на снегу не виднелось. Награбленное ночью было уже давно и умело сныкано где-то в недрах этого помоечного караван-сарая. Однако судьба угля волновала Лаврухина в последнюю очередь. Завидев массивную фигуру Коровчука, комендант направился к нему. Бригадир, словно на троне,

восседал в старом кресле на деревянных ножках, и грел пухлые ладошки у горячей бочки, пока рядом суетились особо приближённые. Он тоже заметил приближение Лаврухина, и, не поворачивая головы, заговорил первым.

— Ты вот знаешь, комендант, куда эти рельсы ведут?

— Туда ведут.

— А что — там?

Вопрос явно перебил боевой настрой коменданта.

— Ну, не знаю... Восток...

— Во-о-от,— довольно протянул Коровчук.— А мы тут посоветовались и, стало быть, решили, что нам всем нужно на Запад. Так что ты, комендант, не торопись. Переставляй паровоз. И вот тогда мы все с тобой поедем.

— Что?!— возмутился Лаврухин.— Это совершенно невозможно!

— Ну, привыкай, товарищ начальник, у нас тут, не как у тебя... Демократия. Народ решает.

— Ясно. Снова, значит, бредим... Время тянем? Не хотим договариваться? Так я пойду, мне плевать.

Комендант действительно собрался было уйти, но из группы сидящих чуть в стороне вдруг поднялся здоровый детина. В своём сереньком ватнике и коричневых сапогах он был почти не заметен, пока не распрямился в полный рост. От нервозности или для соблюдения некого этикета он стянул с головы шапку, скомкал её в крепких пальцах, продемонстрировав свою пшенично-жёлтую шевелюру, а потом приблизился парой широких шагов и громко произнёс:

— А меня и Восток устраивает. Чего тут сидеть впустую? Ехать надо. Я так считаю.

На пятачке вокруг бригадирского кресла возникло напряжённое молчание. Лаврухин снова ощутил спиной, как оказался в центре внимания сотен глаз. Выглядывающие из-запологов палаток, скрытые надвинутыми шапками, смотрящие исподлобья — все они сейчас чего-то ждали.

— Тебе что же, наши правила напомнить?— пробасил Коровчук.— Кто не сидит, тот лежит!

— Да мне плевать! — мужчина демонстративно вытянулся ещё сильнее, нагло зыркнув в сторону побелевшего от злости бригадира.

— Сядь!

— Не буду. Я так думаю. Ехать всяко лучше, чем тут жопу морозить,— детина огляделся по сторонам и заговорил совсем громко.— Ре-

бята, девчата! Кто уже собрался? Давай за товарищем комендантом! Поедем уже хоть куда-нибудь! Поезд долго ждать не станет.

По палаткам пошло шевеление. К пятачку, на котором стоял Лаврухин и светловолосый мужик, начал подходить народ со своей немудрёной поклажей.

— А сам?— спросил комендант, заметив, что у здоровяка с собой ничего не было.

— А я потом. Тут ещё стариков много, баб... С детками опять же... Надо поговорить. Помочь. Завтра утром всех приведу.

— Звать-то тебя как?

— Савченко.

— Убьют тебя, Савченко...— проговорил Лаврухин.

— Кишка тонка!— усмехнулся детина.— Днём да поодиночке они трусливые. А ночью... Я не сплю.

Комендант кивнул, а потом повёл собравшихся к эшелону. По пути пожалел только, что не пожал руку этому мужику. Привык свои вечно держать в карманах. А после решил, что, может, оно и к лучшему — не раздражать лишний раз. Вдруг обойдётся?

Весь день до позднего вечера к поезду тянулись люди, заматанные кто во что. Группками по пять-шесть человек, гружёные небольшим количеством ручной клади.

Венечка стоял у открытой двери тамбура, смотрел, как новоприбывших распределяют по вагонам и по обыкновению курил.

— И почему мы, скажите на милость, должны кого-то забирать? Вы уверены, что мест хватит?— пробурчал он, завидев Лаврухина.

— Не волнуйтесь. Всех разместим.

— Вы хоть их проверяли?

— Надо будет, каждого проверю. Может, с тебя начать?— огрызнулся комендант. Венечка замолчал, но со своего наблюдательного поста не ушёл. Продолжил с подозрительностью и любопытством вглядываться в незнакомые лица. Закурил вторую сигарету.

Мужики какие-то мрачные — рожа кирпича просит. Бабы в бесформенных пуховиках, закутанные в платки — как недавно из-под коровы. Некоторые с детьми. Такими же грязными и лохматыми. Сброд одним словом.

Вот от общей массы отделилась фигурка поизящнее. Молодая девчуля, лет двадцать от силы, тоже в куртке с капюшоном, но всё-таки помоднее, и видно, что симпатичная. И сразу к коменданту. Ну, понят-

ное дело — будет мосты наводить. Проститутка, небось. Такие сразу чувствуют, к какому мужику следует присосаться.

От этих размышлений тонко организованной Венечкиной натуре стало отчего-то так противно, что он бросил недокуренную сигарету и ушёл в купе. Тем более, что дальнейшего разговора новой пассажирки с Лаврухиным, ему всё равно не было слышно.

— Товарищ комендант,— залепетала девушка.— Меня Ксанкой звать. Можно к вам обратиться?

— Что?

— У меня там жених остался... Колька.

— Что ж с тобой не пришёл?

— Говорит, что не возьмёте его. Бойтся он...— Ксанка опустила глаза.— Это ж он у вас на днях уголь воровал...

— А ты что же тогда его закладываешь?— усмехнулся Лаврухин.

— Да он не со зла... Дурак просто!— девушка серьёзно посмотрела на коменданта.— Это его боров наш — бригадир — заставил. Велел Кольке ночью уголь таскать, чтобы меня никто не тронул, а иначе... Вот Колька меня за два мешка и выкупил. Я говорю — «вместе пошли», а он — «сама иди», а ему, мол, сюда дорога уже заказана.

— Ясно,— Лаврухин на минуту задумался.— Ладно. Завтра ещё поговорю с вашим Савченком. Одобрит — возьмём твоего Кольку. Но только под твою ответственность.

Глаза Ксанки загорелись радостью, она вдруг так крепко схватила и обняла Лаврухина, что тот аж пошатнулся.

— Ой, спасибо вам, товарищ комендант! Спасибо огромное! Можно я вас поцелую?

— Не положено!

Отстранившись, Лаврухин оставил сияющую девицу и зашагал вдоль вагонов. Нужно было проконтролировать погрузку и размещение пополнившегося личного состава. И хотя человеческий ручеёк, чёрной змейкой топавший через белое поле, к ночи окончательно иссяк, но спать коменданту не пришлось. Завтрашний день обещал быть непростым. Прокручивая в голове свои мысли, Лаврухин несколько раз наливал себе чаю, потом проверял, заряжен ли пистолет, поплотнее кутался в верблюжье одеяло, взбивал слежавшуюся подушку, но так и встретил предрассветные сумерки в каком-то полусонном забытии.

Окончательно он проснулся, когда Путилин начал греметь тяжёлой тендерной дверью. Накинув шинельку и засунув ноги в проклятые са-

поги, комендант вышел в тамбур и молча поприветствовал машиниста. Вид у Лаврухина, похоже, был настолько разбитый, что Путилин даже выдержал паузу, решаясь снова завести свою обычную шарманку:

— Ну, что? Поедем сегодня али нет? А то ведь...

— Да, знаю, я! Знаю!— перебил его комендант.— Машина ехать должна. Смазка загустнет, поршни заклинит, гайки разопрёт... Поедем мы! Поедем! Прогревай аппарат.

Удовлетворённый ответом, Путилин заулыбался, но в тамбуре появился Венечка с необычной озабоченностью на одухотворённом лице.

— Простите, я краем уха услышал, что мы собираемся ехать?

— Так точно.

— Но, позвольте! Как же?! Меня тут вчера Оксана Евгеньевна про-светила... Там же, в этих тущёбах, ещё люди остались. Дети, бабушки... Мы что же теперь их бросим?

— И то правда,— согласился Путилин.— И Савченко этого так вчера и не появилось. Думал, будет мне кочегар...

— Вы, может, не будете меня нервировать?!— вскричал Лаврухин.— Успокойтесь уже! Никого не бросим.

Он буквально спрыгнул с подножки в снег.

— Совсем замёрзнете так бегать,— проявил заботушку Венечка.— Вам бы пальтишко новое справиться...

— Вот бы справиться мне костюм себе из стали на...— бросил в ответ Лаврухин.— Грейте машину!

Преодолев расстояние до лагеря «ситдаунов» быстрее, чем обычно, он застал его в зловещем запустении. Часть палаток были разрезаны и перевернуты. По всей видимости, оставшись без хозяев, они оказались мгновенно разграблены соседями или приближёнными бригадира. Сам хозяин мусорного мирка в окружении нескольких мордovorотов был тут же — на своём месте. Развалившись в старом кресле грел ручки у костра, подкидывая в бочку небольшие чурбачки.

Внезапно Лаврухин с ужасом заметил, что из ёмкости торчали обгоревшие ноги в знакомых коричневых сапогах. «Хоть бы обувь сняли...— мелькнуло в голове у коменданта.— Ничего-то им не жалко...». Но свой вопрос задал предельно невозмутимо и с несколько отрешённой грустинкой:

— Убили всё-таки?

— Это наше внутреннее дело, гражданин начальник,— хмыкнул в ответ Коровчук.

Откуда-то из кучи тряпья, бывшего когда-то чьим-то жилищем, вылезла маленькая девочка, бросилась к Лаврухину и, уткнувшись в полы шинели, тихо прошептала:

— Это папка мой... Больше никого не осталось...

— Понятно. Рядом стой.— Комендант не глядел на девочку, а только сверлил глазами бесформенную фигуру бригадира.— Зачем убили?— спрашиваю.

Коровчук поймал взгляд коменданта и растёкся в сальной ухмылке.

— А он сам... На шпалу упал и ударился. Несколько раз.

— Дядя милиционер, они врут всё!— пропищал ребёнок, крепче сжимая ручёнками этого странного худого дядьку, будто сейчас в нём заключалась последняя надежда.— Это они палками его ночью застучали.

— Знаю. Не бойся. Мы с тобой ещё подумаем, что с ними сделать...

— Не о том ты думать собрался, гражданин начальник,— усмехнулся бригадир.— Лучше подумай, может, не нужно тебе куда ехать? Зачем? Оставайся. Будешь, как сыр в масле, кататься. Уголька надолго хватит. Разгрузишь свой тендер... А мы поможем.

Коровчук самодовольно хихикнул, но сразу поменялся в лице, потому что в него нацелилось чёрное пистолетное дуло. Бугаи позади главяря поднялись с мест, но ринуться вперёд без команды не решились.

— Все назад! Назад! Я уйду. Ясно? Девочка идёт со мной.

Не выпуская из виду нацеленный на него ствол, бригадир продолжал увещевать коменданта, но тот уже не слушал.

— Так... И ещё... Есть тут Николай? Ну! Ксанкин женишок, который... Николай, выйди!— громче повторил Лаврухин.

Из-за спин подручных Коровчука показался щуплый паренёк.

— А этот папу бил, не помнишь?

— Нет... Он никого не трогал.

— Значит, тоже со мной пойдёшь,— приказал комендант Коле.— Ну! Быстро!

Тот пугливо обернулся, а потом перешёл поближе к человеку в шинели..

— Ах ты крысёныш! Задавлю!— взревел главярь.

— Сиди уж! Любишь сидеть же. А то поскачешь у меня!— осадил его Лаврухин, угрожающе ткнув оружием, а потом оглянулся по сторонам, обращаясь ко всем прочим зрителям, незримо наблюдающих за сценой из своих укрытий.— Другие желающие есть? Нет?! Ну, всё... Хотите сдохнуть, значит, сдохните. Увижу, что кто-то следом идёт — стреляю сразу в лоб.

— Далеко всё равно не уедешь,— сквозь зубы процедил Коровчук.

— Поезд невозможно остановить.

— А это мы ещё посмотрим, гражданин начальник.

Комендант не стал продолжать эту бессмысленную перепалку. Только ещё раз посмотрел в сторону палаток с притаившимися внутри людьми, с обидой прошептал:

— Дебилы, б..ть...— плюнул в снег и пошёл назад к поезду вместе со встревоженным Колей и успокоившимся ребёнком.

Несколько раз он мысленно ругал себя за несдержанность. Никак нельзя было светить «Макаровым». Неоправданный риск. Что у него? Восемь патронов. А у них — злость, кураж и одно на всех неудержимое желание завладеть халявной волыной. Расчёт лишь на то, что жирный боров засыт и не спустит свою шоблу. Эмоции. Ребячество. Как бы то ни было, погоня не входила в планы трусливого Коровчука, поэтому никакой погони так и не случилось. А локомотив был уже в паре шагов.

Лаврухин рассматривал поезд. Чёрная угловатая громадина, извергающая горячий пар, возвышалась на фоне белой земли и серого неба, словно фантастический дракон, вытянувший вдоль железнодорожной ветки свой длинный хвост. Одни колёса почти с человеческий рост. Спецрельс и полотно втрое шире обычного. Умели же раньше строить... Настоящий левиафан! И что он таскал? Какие-нибудь боеголовки — не иначе. Отрыжка ядерной эпохи.

А что теперь? Куда он нас везёт? И зачем? Может, и проще вот так вот — сесть и ждать, когда на тебя свалится счастье? Да и есть ли оно в конце этого пути? Кто встретит? Не такие ли морготные морды?

Тягостные раздумья коменданта прервал паровозный свисток. Глянул — все уже погрузились — один Лаврухин стоял в снегу в нещадно жмущих сапогах. Поднявшись по длинной крутой лестнице, он громко закрыл последнюю дверь, пересёк тендер и заглянул в кабину.

— Ну чего? Поехали что ли?

— Да там это...— закопчённое лицо Путилина выражало тревогу.— На рельсы какого-то говна натащили. И, кажись, шпалы пият. Как бы жертв не было... Котёл-то у меня уже того — под парами.

Воцарилось молчание. Только громогласное урчание исполинской машины, напоминало, что ей никак нельзя останавливаться.

— Что делать-то?— повторил вопрос машинист.

Лаврухин опять задумался, но тотчас вспомнил удивлённого Кольку. Его Ксанку, проданную за пару мешков угля. Испуганную девчонку,

чьё имя он пока ещё даже не узнал. Вспомнил эти мерзкие рожи, столпившиеся вокруг растерзанного трупа белокурого Савченко. Вспомнил довольную и лоснящуюся жиром харю бригадира. И неожиданно для самого себя очень чётко ответил:

— Дави их, Путилин.



Сергей Калабухин

Коломна

КАРБУНКУЛ

«мягкость горячих прикосновений
твёрдость волнолона»
«Влажно» Гео Шкурулий

Известный в городе поэт Игорь Коломнянин не по возрасту бодрой походкой вошёл в литературный класс гимназии имени Вани Маркова, где уже семь минут назад должна была начаться его встреча с учениками десятого класса. Маленькая, седенькая Клавдия Ивановна, учительница литературы, жившая в одном подъезде с поэтом, давно уговаривала того посетить пенаты родной альма-матер, рассказать её ученикам о своём творчестве и ответить на их возможные вопросы. Ради этой встречи она готова была пожертвовать парой своих уроков. И вот, наконец, свершилось!

Пока Клавдия Ивановна представляла поэта, тот с интересом осматривал мало изменившийся за сорок лет класс — всё те же портреты русских классиков на стене, почти такие же парты, доска, стол учителя. А вот ученики изменились кардинально: никакой почтительности к вошедшей знаменитости и классной руководительнице, довольно громкий гул голосов, смешки, редкие заинтересованные, но в основном равнодушные, а то и презрительные взгляды. Парочка у дальнего окна вообще слилась в долгом поцелуе, и никого вокруг это не смущает!

Окно... Левое колено поэта неожиданно пронзила фантомная боль, ноги стали ватными, Игорь Сергеевич покачнулся и тяжело опёрся о стол учителя. Это же тот самый класс! То самое окно! Старательно забытые события сорокалетней давности ярко всплыли вдруг в памяти Игоря Коломнянина...

Он тогда ещё не был известным в Коломне поэтом, и звался просто Гарькой Свириным. Более того, в литературе его интересовали исключительно детективы. Игорь успешно перешёл в девятый класс и наслаждался летними каникулами, как вдруг в самом начале августа левое колено его распухло так, что нога с трудом влезала в штанину, а уж о том, чтобы ходить, и речи быть не могло. Кое-как прыгал по квартире от дивана, на котором спал, до туалета и обратно.

— Карбункул, — спокойно сказал вызванный мамой Игоря врач и начал выписывать направление на срочную операцию.

— Как это может быть? — поразился Игорь. — Я же не гусь какой-нибудь, да и колено — не желудок!

— При чём тут гусь? — в свою очередь удивился врач.

— Ну, про Шерлока Холмса есть такой рассказ, — смутился Игорь. — «Голубой карбункул» называется. Там гусь проглотил драгоценный камень...

— Ах, вот ты о чём! — Врач засмеялся. — Должен тебя разочаровать: в твоём случае карбункул — это не драгоценность, а обширный гнойник. Надо его как можно скорее вскрыть и очистить рану. Через две — три недели будешь бегать, ни один гусь не догонит.

Из-за того проклятого карбункула Игорь потерял самый лучший месяц летних каникул. Из-за него же вместо традиционной поездки с одноклассниками в совхоз на уборку картошки, ему вместе с десятком других освобождённых от сельхозработ старшеклассников пришлось помогать учителям готовить школу к новому учебному году.

В первый день отработки молодая и красивая учительница, как позднее узнал Игорь, всего год назад окончившая Коломенский пединститут, привела его и двух незнакомых ему девчонок в класс литературы.

— Давайте знакомиться, — сказала она. — Меня зовут Светлана Андреевна, я — преподаю в этой школе домоводство. А вы кто?

— Катя Автаева, — неожиданно звонко представилась длинная, выше Игоря, костлявая и плоская блондинка с собранными в «конский хвост» волосами. — Буду учиться в девятом «А».

— Женя Гуревич, тоже девятый «А», — тихо, чуть ли не шёпотом, сказала низенькая, круглая, как матрёшка, брюнетка с короткой стрижкой «каре» и в очках с толстыми стёклами.

— Свирин Игорь, девятый «В», — буркнул Гарик.

— Замечательно! — Учительница улыбнулась. — С вами, девочки, мы в дальнейшем не раз встретимся на уроках труда, а вот с молодым человеком — вряд ли. Но сегодня вас ждёт одинаковая работа. Как ви-

дите, в этом классе три окна, и вас тоже трое. Вы должны привести их в порядок: помыть стёкла, очистить от пыли и грязи рамы и подоконники. Задание понятно?

— Понятно! — бодро откликнулась длинная блондинка.

Брюнетка и Игорь молча кивнули.

— Вёдра и тряпки у завхоза, вода в туалете, — подсказала Светлана Андреевна и ушла.

— Ну, чего стоишь? — обратилась к Игорю блондинка. — Иди к завхозу, а мы с Женькой пока переоденемся.

Пожав плечами, Игорь похромал за вёдрами. Он только второй день ходил без палки и всё ещё опасался, что свежий шрам под коленкой разойдётся, и рана, где недавно был проклятый карбункул, откроется. Однако завхоз дал Игорю только два ведра, заявив, что остальные уже забрали те, кто моет окна в других классах. Девчонок, переодевшихся в спортивные костюмы, эта новость не обрадовала.

— Давайте, вы будете мыть, а я носить воду, — предложил Игорь.

— Размечтался! — фыркнула блондинка. — Что мы — рыжие, что ли? Училка как сказала: нас трое, и окон три, каждому по окну.

— Но вёдер-то всего два!

— И что с того? — не сдавалась блондинка, тряся своим жидким хвостом, оборачиваясь то к Игорю, то к молчащей брюнетке. — Бери себе ведро и чисть вон то, крайнее слева, окно, а мы с Женькой вместе вымоем остальные два. Правда, Жень?

— Как хотите, — вздохнул Игорь и, взяв ведро, пошёл за водой.

О сменке он не подумал, поэтому, вернувшись, просто снял рубашку, оставшись в «школьных» брюках, и принялся за работу. Как и во всех «сталинках», в школе были высоченные потолки и, соответственно, огромные окна. На широченных подоконниках можно было спокойно лежать, не то что стоять. Но проблема была в том, что класс находился на втором этаже, а Игорь с раннего детства боялся высоты. Он легко вымыл с обеих сторон нижние половины стёкол, но никак не мог заставить себя забраться на подоконник раскрытого настёжь окна. Стоило ему бросить взгляд на далёкий асфальт внизу, и бездна властно начинала тянуть его к себе, руки судорожно вцеплялись в подоконник, а ноги наоборот — становились ватными.

И вот пришёл момент, когда вернулась учительница. Похвалив девчонок, уже заканчивавших приводить в порядок второе окно, она со вздохом разочарования осмотрела работу Игоря, повернулась к нему, бледному от унижения, и неожиданно улыбнулась.

— Что же это вы, девочки, бросили такого красивого кавалера в одиночестве? Посмотрите, какие у него огромные зелёные глаза! А какие длинные и густые ресницы! Да за такие красивые глаза можно не только окно вымыть...

Девчонки смущённо захихикали, а Игорь из бледного мгновенно стал пунцовым.

— Ну, ладно, помоги-ка мне, — скомандовала Светлана Андреевна, скинула лёгкие босоножки и, опершись на плечо Игоря, ловко вспорхнула на подоконник. — Держи меня, кавалер! — вдруг властно приказала она.

Игорь робко положил руки ей на бёдра, так как до талии достать не мог. Не вставать же ему на цыпочки с больной ногой!

— Крепче держи! — прикрикнула на него Светлана Андреевна. — Ты столько воды здесь налил, что я боюсь поскользнуться.

На учительнице было короткое, скользкое на ощупь платье из тонкой зелёной материи. Оно тесно облегалo всё её ладное, классически фигуристое тело, сидело, что называется, «в облипochку». Энергично протирая стекло, Светлана Андреевна то наклонялась к ведру, то вытягивалась струной, и руки Игоря скользили по её бёдрам и стройным гладким ногам и всё время почему-то попадали под коротенькую юбку, задирая её до самых лимонно-жёлтых трусиков и натываясь на различные упругие округлости.

Красный, как зрелый помидор, Игорь отдёргивал ладони от горячего женского тела, но Светлана Андреевна тут же прикрикивала на него, чтобы он не отпускал её, держал крепче. Девчонки откровенно хихикали и обменивались какими-то ехидными замечаниями в его адрес. Поднять глаза вверх Игорь стеснялся и совал руки наугад, и те вновь попадали на округлые места, прикоснуться к которым у женщины он ранее мог только в мечтах. Игорь зажмурился, но от этого стало только хуже, потому что его воображение тут же заработало на полную катушку. Внезапно он понял, что главный позор ожидает его позднее, потому что брюки спереди ему вдруг стали малы. Утаить этот факт от проклятых девчонок, уже закончивших свою работу и теперь откровенно плявших на него, было невозможно, а скоро всё увидит и поймёт учительница.

Казалось, эта сладкая пытка будет длиться вечно, но Светлана Андреевна вдруг села на корточки, плотно сдвинув колени, и положила прохладные влажные руки Игорю на плечи.

— Эй, красавчик, ты что, спишь? — услышал он её голос и открыл глаза. Перед ним в вырезе платья на двух высоких и полных холмах

темнел коричневый треугольник, отороченный нежно-белой полоской кожи между границей загара и розовыми чашечками бюстгалтера.

— Помоги-ка мне слезть, — с лукавой улыбкой попросила Светлана Андреевна.

Выпростав дрожащие руки из-под её тесной юбки, Игорь крепко взял женщину за талию и потянул на себя. Та спрыгнула с высокого подоконника, повиснув при этом у Игоря на шее и прильнув к нему всем телом. От её огненно-рыжих кудрей струился сладкий аромат духов, мешавшийся с терпким запахом разгорячённого женского тела. Игорь содрогнулся от долгожданного чувственного взрыва, и что-то тёплое и липкое потекло у него по ногам...

Ночь Игорь промучился без сна. Одни воспоминания возбуждали его, другие жгли стыдом, подушка казалась горячей, а простыня была влажной от пота. В какой-то момент Игорь твёрдо решил, что в эту школу он больше не пойдёт. Проклятые девчонки наверняка растревомят обо всём, что видели, и Игоря просто затравят насмешками одноклассники. Нет уж, пусть родители переводят его в другую школу.

Приняв решение, Игорь почти успокоился и даже начал, наконец, засыпать, как вдруг его пронзила мысль, что он больше никогда не увидит Светлану Андреевну! «Да ведь я люблю её и не смогу без неё жить!» — обречённо понял он и неожиданно заплакал, уткнувшись лицом в подушку, чтобы заглушить рыдания.

Когда солнце осветило опухшее, измятое страданием лицо Игоря, тот взял чистую тетрадь, авторучку и впервые в жизни написал стихотворение. Оно было длинным и сумбурным, в тексте мелькали «Светлана», «Светик», допотопное «Свет очей моих», «любовь» и, конечно, «кровь».

С нетерпением дождавшись ухода родителей на работу, Игорь принял прохладный душ, с трудом натянул плавки, из которых вырос два года назад, надел старые, кое-где потёртые и драные, зато просторные «техасы» и чистую пёструю рубашку навыпуск, наспех залпом выпил стакан холодного молока (завтрак, приготовленный мамой, в глотку не лез) и почти бегом поспешил в школу.

Когда он пришёл, в школе ещё никого не было. Минут двадцать Игорь маялся во дворе, поминутно нащупывая в кармане «техас» треугольник любовного послания в стихах и строя планы, как и когда он тайком от других вручит его Светлане. Наконец пришёл завхоз, удивлённо посмотрел на переминающегося у запертых дверей Игоря, по-

том, вскинув руку к глазам, кинул взгляд на часы и озадаченно хмыкнул.

— Ну, проходи, — буркнул он прокуренным басом, отпирая замки. — Раз уж ты сегодня первый, то и работёнку я тебе подкину завидную.

— Мне бы вёдра, три штуки, — попросил Игорь. — Светлана Андреевна вчера сказала, что мы опять окна мыть будем...

— Вот ещё! — с неодобрительной усмешкой оглядел Игоря завхоз. — Окна, паря, пушай девчата моют, а ты держи вот это.

И он сунул Игорю в руки тяжеленную банку с гудронно-чёрной краской и новенькую плоскую кисть.

— Будешь красить забор вокруг школы. Все от зависти умрут! «Тома Сойера» смотрел?

— Но Светлана Андреевна сказала...

— С Андреевной я сам разберусь! — отрезал завхоз. — Иди, начинай красить, пока ещё не так жарко.

И Игорь пошёл. В то время ученики ещё не имели привычки спорить с учителями. Этот проклятый забор, вернее — ажурную чугунную ограду, Игорь красил несколько дней. За это время все окна школы были вымыты, отработка закончилась, а любовное послание так и не покинуло карман заляпанных краской «техас». Когда же он в последний день решил дождаться Светлану после работы, та проскочила мимо него, не заметив или не узнав, и запрыгнула на заднее сиденье мотоцикла, прижавшись высокой пышной грудью к спине сидящего впереди лохматого парня. Тот, повернув голову, подставил щёку для поцелуя, затем крутанул ручку газа, мотоцикл взревел и, оставив облако синего вонючего дыма, унёс первую любовь Игоря из его жизни.

Проведя ещё одну бессонную ночь, Игорь сжёг в отцовской пепельнице треугольничек письма и твёрдо решил, что никакого окна не было. Всю отработку он только красил ограду вокруг школы, о чём свидетельствуют заляпанные чёрными кляксами и потёками многострадальные «техасы»...

— Что с вами, Игорь Сергеевич? — пробился сквозь туман воспоминаний тревожный голос Клавдии Ивановны. — Вам плохо?

— Нет, всё в порядке.

Игорь Коломнянин выпрямился, чувствуя, как исчезает фантомная боль в уродливой гусенице старого шрама под левым коленом. Он весело окинул взглядом затихший почему-то класс и, улыбнувшись, сказал:

— Меня часто спрашивали, как и когда я начал писать стихи, и я не знал, что отвечать. Мне казалось, что стихи жили во мне всегда, сколько я себя знаю. Но вот сегодня случилось чудо: я вошёл в этот класс, увидел вон то окно, и карбункул красочных воспоминаний возник в моей памяти...

ХРОНИКИ

«Все ... происшествия изображены мною верно, и я позволял себе вводить вымыслы там только, где история молчит или представляет одни сомнения... Вымыслами я только связал истинные исторические события и раскрывал тайны, недоступные историкам».

Фаддей Булгарин «Димитрий Самозванец»

1. КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ

...Враги напали внезапно. Запылали дома. В удушливом, плотном дыму, закрывшем встающее над лесом солнце, с криком металась женщины, дети. Мохнатые кочевники на косматых низких конях с визгом наскакивали на беззащитных русичей, душили их жёсткими арканами, рубили короткими кривыми саблями.

Василиса, прижав к груди пятилетнюю Марьюшку, бросилась к близкому лесу. Из облака дыма выскочил всадник. Тонко запела стрела и, чмокнув, вошла бегущей под правую коленку. Охнув, Василиса упала, Марьюшка без звука откатилась в кусты и замерла. Со звериным стоном выдернув из забившей фонтаном крови раны стрелу, Василиса поползла навстречу врагу.

— Бери меня, гад, только дочку не тронь!

Ощерив в ухмылке редкие кривые зубы, всадник развернул коня и, не глядя выпустив вторую, смертоносную, стрелу, скрылся в дыму...

Василиса открыла глаза. Она лежала в незнакомой избе, и хотя нигде не трещали лучины, не коптели смрадом факелы, было светло. В воздухе стоял незнакомый сладкий аромат. Василиса осторожно села. Нога совершенно не болела, и на месте кровотокащей рваной раны белел небольшой, почти незаметный шрам. Василиса осторожно встала с невысокого мягкого ложа. Она чувствовала себя совершенно здоровой и бодрой. У противоположной стены перед странным непрозрачным ок-

ном с красивыми разноцветными кружочками внизу стояла на одной ноге, как гриб, короткая скамья с высокой удобной спинкой, покрытая тем же странным, толстым и мягким полотном, что и ложе. Высокая дверь, как и стены избы, была из холодного светлого металла и надёжно отделяла пленницу от воли.

Убедившись, что путь наружу закрыт, Василиса подошла к окну. В его зелёной поверхности, как в бездонном омуте, отразилась стройная женская фигура, гибкость и красоту которой не могла скрыть свободная, покрытая искусной вышивкой рубаха. Приблизив к странному окну лицо, Василиса аккуратно расчесала пальцами длинные светлые волосы и стала заплетать их в толстую косу...

Иван вышел на поляну. Перед ним высился высокий частокол забора. Учув чужого, захрипели, захлёбываясь лаем, сторожевые псы. Иван подошёл к воротам и постучал...

Костя Шеев плавно приземлился рядом с хронолётом. Выключив антиграв, он нажал на широком поясе кнопку и по образовавшемуся в защитном поле коридору подошёл к хронолёту и открыл дверь. Навстречу ему широко распахнулись голубые озёра Василисиных глаз...

— Марьюшка сказала, что он унёс её в эту сторону: лучи восходящего солнца чуть не ослепили дочку.

— Да, сынок, верен твой путь. Я часто вижу, как он летает по небу, словно птица, только без крыльев. Мои сыны — охотники выследили его до самого логова, только ты туда не пройдёшь.

— Ради Василисы, мать, я любую препону преодолею!

— Нет там препон, окромя болота, сынок. Свободен путь, а не пройдёшь! Неведомая сила не пускает. Поживи у меня, Иван, отдохни с дороги. Вернуться с охоты мои сыны, проводят тебя к вражьему логову.

— Эх, мать, как сидеть без дела, зная, что Василиса тут, рядом, в плену томится? Да и за дочку, Марьюшку, душа болит, как она там без нас? Время не спокойное, братья в поле без оружия не выходят. Спасибо тебе за всё, мать, пойду я.

— Не спеши, Иван, путь там один, через трясины, и знают его только мои сыны...

— Нет, Василиса, не проси. Не могу я тебя отпустить. Пойми, ты уже давно погибла для своего времени. Стрела должна была пробить твоё сердце. Я нарушил закон и вмешался в ход событий, спас тебя.

— Что ж, — сверкнули слезами глаза-озёра, — я — твоя пленница? Скоро наложницей меня сделаешь? Рабыней?

— Что ты говоришь, Василиса? Ты свободна!

— В этой железной клетке? Я хочу рвать цветы, лежать на траве, дышать лесным воздухом, видеть солнце и небо, гулять босиком по росе! Я тоскую по Марьюшке...

— Хорошо, я научу тебя открывать дверь и делать проход в защите. Только прошу: не пытайся бежать. Мы на острове, кругом непроходимое болото. А я летаю, узнаю, как там Марьюшка.

— А вдруг тебя убьют?

— Меня убить невозможно: я окружён защитным полем, не бойся. Вот, возьми эту коробочку. Нажмёшь эту кнопочку, этот глазок направит туда, где тебе нужен проход. Поняла?

— Бежим, Василиса!

— Нельзя, Иванушка, далеко не уйдём. Костя Шеев по воздуху догонит, с неба высмотрит.

— Знать, судьба мне сразиться с Кощеем! Бессмертный он, говоришь?

— Вызнала я его тайну, Иванушка! Достанет твой меч до его шеи, снесёт буйну голову. Вот, видишь, у меня коробочка....

— Нет, это нам не подойдёт! — Снял шлем редактор. — У нас детское издательство, а вы что предлагаете? Резня, кровь, хронолётчик-преступник, главные герои — убийцы, причём Василиса — кто у вас её играет? — хладнокровно разрабатывает план убийства своего спасителя!

— Но, ведь...

— Да и сюжет не нов. — Редактор прочёл на футляре название мыслефильма. — Мне кажется, оригинал сказки интереснее. Вон у нас в салоне сколько этих «Кощеев Бессмертных». Дети с удовольствием играют. И ни разу никто не захотел превращаться в Кощея. А у вас этот Кощей — хронолётчик, герой нашего времени, так сказать. И вдруг — преступник, да ещё и жертва! Вы представляете нагрузку на психику ребёнка, пожелавшего испытать эту роль? Да и эмоции у вашего Кости Щеева...

— Шеева.

— Тем более. Эмоции у вашего Кощея, когда он смотрит на Василису... Одним словом, для конкурса исторических мыслефильмов для детей и юношества ваш «Кощей Бессмертный» не подходит.

Тимур Боев встал и подошёл к мыслепроектору.

— Извините! — Отвёл его руку редактор. — Мыслефильмы не рецензируются и не возвращаются. Таков обычай. Идите, дорогой, и работайте. До начала конкурса ещё есть время. Желаю Вам и вашим друзьям успеха. И пришлите ко мне актрису, игравшую Василису! — крикнул редактор выходящему Тимуру. Потом надел шлем мыслепроектора и нажал кнопку воспроизведения...

Тимур ввалился в комнату и заметался по ней.

— Ты, что? — Изумлённо уставился на него из-под съезжающей на глаза повязки Костя.

— Не принял! — зло выдохнул Тимур. — «Нам это не подходит. Идите и работайте».

— Как это не подходит? — Взвился с койки Костя. — Почему? Что же я зря мотался в прошлое, тягал туда-сюда модель хронолёта, вытаскивал из-под стрел Василису, лечил её?

— Вот Василиса ему явно по душе. Он хочет её видеть!

— А вот этого он не хочет? — Сорвал с головы повязку Костя. — Мечом по башке он не хочет? Ради чего я страдаю?

— Надеюсь, он не понял, что наш мыслефильм полу документальный. Или сделал вид, что не понял, — успокаиваясь, сказал Тимур. — Кому охота отвечать за пособничество «диким хроникам»? И мыслефильм, гад, не вернул.

— Вот негодяй! — Вновь сел на кровать Костя. — Мы ж не успеем сделать другой: до начала конкурса меньше месяца!

— Теперь это не важно, — хмуро ответил Тимур. — Он же не примет от нас ни одного мыслефильма, пока мы не приведём к нему Василису. Что будем делать?

2. ПЕРСЕЙ

Диктис сполоснул в море руки, взял корзину с рыбой и пошёл к хижине. Чей это огромный сундук у дверей? Рыбак поставил корзину в тени росшего у хижины кипариса и открыл дверь.

— Даная?!

— Тише! Ребёнка разбудишь. — Встав с ложа, вытолкнула хозяйина наружу гостя.

Диктис снял гиматий*, оставшись в короткой хлене*. (* Гиматий — обёрнутый вокруг фигуры ничем не скреплённый прямоугольный кусок шерстяной ткани, достигавший 1,7 метра в ширину и 4 метров в длину.

* Хлена — прямоугольный кусок плотной шерстяной или смешанной льняно-шерстяной ткани, закалываемый фибулой на правом плече — прим. авт.) Широким жестом сеятеля он расстелил снятый плащ на влажной ещё от утренней росы траве. Глухо стукнули, задев громадный сундук, небольшие свинцовые грузики, зашитые в углы гиматия, чтобы он не соскальзывал при движениях. Диктис жестом предложил девушке сесть.

— Прости, царевна, я не ждал гостей, и в доме у меня, как ты, наверно, уже заметила, ничего нет. Вот только корзина свежепойманной рыбы. Я могу быстро приготовить её для тебя.

— Не это главное. — Брезгливо сморщив нос и подобрав расшитую золотыми звёздами полу голубого хитона* (* Хитон — подобие льняной или шерстяной рубашки, чаще без рукавов — прим. авт.), девушка грациозно опустилась на плащ рыбака. — Ты всё так же красив, — вздохнула она, глядя на растерянного полуобнажённого юношу, замершего перед ней. — Ну, что стоишь? Займись рыбой, пока она не протухла. Да глянь в моём сундуке: там должны быть ойнохоя* с вином (* Ойнохоя — одноручный яйцеобразный кувшин с тремя носиками — прим. авт.) и кое-какие сласти. И передвинь очаг! Не видишь, он дымит прямо на меня. Всё так же красив и... глуп!

— Зачем ты здесь, царевна? — Нахмурился рыбак. — Я не желаю больше быть твоей игрушкой.

— У меня теперь другая игрушка: вон спит в твоей грязной хижине, неужто не заметил?

— Ты хочешь сказать... — изумлённо заулыбался Диктис.

— Я хочу сказать сразу, что не знаю, кто его отец, идиот! — зашипела Даная. — Ты вообразил, что был у меня единственным? Когда мой полоумный папаша, испугавшись дурацкого пророчества* (* Царю Акрисию, отцу Данаи, предсказали, что он умрёт от руки своего внука. Прим. авт.), запер меня во дворце и стал отказывать всем сватавшимся ко мне женихам, он, наверно, вообразил, что я так покорно и умру старой девой. Ему и в голову не пришло, что детей умеют делать не только цари и принцы.

— Что же ты сказала царю Акрисию, когда родила?

Даная злобно захохотала.

— Я сказала, что сам великий бог Зевс пролил ко мне в спальню золотым дождём, и что Персей — плод нашей любви! И если дорогой мой папаша причинит нам с сыном малейший вред, Зевс покарает его.

— И царь Акрисию поверил?

— Разумеется! Поверил же он прорицателям. Да и не было у него другого выхода: отказать стольким знатым женихам и потом объявлять внуком неизвестно чьего ублюдка? А Зевс, как-никак, завидный родственник.

— Но почему ты здесь, Даная? Неужели всё же...

— Ишь, размечтался! Просто отец выставил нас с Персеем из дома. Ты единственный мой любовник, покинувший Аргос. Здесь, на Серифе, никто не знает и не подозревает о нашем знакомстве. Надеюсь, у тебя хватило ума держать язык за зубами?

— А кто б мне поверил? Все знают, что царь Акрисий держит дочь взаперти в башне.

— Уже нет. Вчера на закате воины отца бросили нас с сыном в этом вот сундуке в море. Потом, ночью, тайно выловили и доставили сюда. Этого никто из местных не видел. А ты, приготовив мне рыбу, пойдёшь к своему царю Полидекту. Скажешь ему, что выловил сегодня утром в море сундук, а в нём оказались прекрасная знатная — не забудь это уточнить! — женщина и ребёнок. Ваш царь — известный бабник, да и молод, а я привыкла жить во дворце, а не в грязной хижине. Куда ты? Вряд ли царь Полидект встаёт в такую рань. У нас ещё есть время и на десерт: иди же ко мне, чего ждёшь? Персей спит, а потом тебе не скоро представится подобная возможность...

Сигнал тревоги выдернул Костю Шеева и Тимура Боева из прошлого.

— В чём дело, Тимур? — Костя сорвал с головы хроношлем. Тимур, рыча ругательства, безрезультатно пытался вырубить сигнализацию. Наконец, рёв сирены смолк, щёлкнули сверхнадёжные запоры, дверь мягко ушла в стену, и в комнату спокойно вошла девушка.

Толстая русая коса короной венчала гордо поднятую голову с классически правильными чертами лица. Военный комбинезон наглядно подчёркивал не менее классические пропорции тела вошедшей. Огромные глаза из-под длинных дважды изогнутых ресниц зелёными лучами скользнули по замершим в креслах Косте и Тимуру и остановились на контрольном голоэкрane, где сплелись в жарких объятиях Даная и Диктис.

— Ну что ж, я так и думала. На этот раз вы попались, мальчики, и крепко!

— Кто вы, и как сюда попали? — Опомился, наконец, Костя, отключая голоэкран.

— Агент службы хронобезопасности Афина Павлова.

— Богиня! — ахнул в восторге Тимур.

— Чему радуешься? — цыкнул на него Костя, мысленно кроя себя последними словами.

Он так долго и старательно подбирал слово, которое система воспримет, произнеси он его вслух, как команду на полное уничтожение всех данных, перебрал массу вариантов, чтоб это слово не могло прозвучать в случайном разговоре, приведя к непоправимым последствиям, и вот теперь, когда возникла надобность, не может его произнести! Костя рассчитывал, что у него будет несколько секунд, прежде чем агенты СХБ справятся с дверью, а на деле, как всегда, оказалось всё не так. Агент уже здесь, и наверняка всё происходящее записывается.

— В чём нас обвиняют? — хмуро пробурчал Костя.

— В том, что вы оба — дикие хроники, разумеется! — с насмешливой улыбкой ответила Афина, садясь в освобождённое для неё Тимуром кресло.

— Это ещё надо доказать! — Не сдавался Костя.

— Я же здесь, не так ли? Запоры у вас, конечно, неплохие, но для нас они не проблема. Отследить вас было куда труднее, должна сказать. Или вы думаете, я здесь случайно?

— Не понимаю, как вам это удалось? Где мы засветились? — Сдался Костя.

— Вы крупно прокололись с вашим последним детищем: мыслефильмом «Кощей Бессмертный». Неужели вы всерьёз рассчитывали провести нашу службу столь наивным прикрытием? Понять, что «Кощей» не просто мыслефильм, не плод авторского воображения, а натурная съёмка, для меня, например, не составило труда. Природа, воздух, люди — всё с натуры. В этом фильме вы нарушили все мыслимые запреты.

Мы знаем, что всегда существовали, существуют и будут существовать люди, которых не устраивают стандартные маршруты, незримое присутствие при исторических событиях, чужие эмоции и восприятие. Вы, хроники, ходите своими путями, и пока не слишком нарушаете основные правила, мы смотрим на вас сквозь пальцы. Конечно, периодически наказываем самых ретивых для остротки. Любителей поизобразить из себя призраков или полтергейст, попугать древних обывателей инопланетянами. Но вы двое — другое дело. Вы не просто нелегально мотаетесь в прошлое, но и посылаете дублёров, то есть присутствуете в прошлом не только зримо, но и материально, и даже имеете наглость участвовать в событиях, что категорически запрещено!

— Мыслефильм — не доказательство! — огрызнулся Костя. — Мы могли, вернее мы **взяли** антураж с какого-то стандартного турмаршрута во времена крещения Руси, искоренения языческих капищ. Что молчишь, Тимур, ты оператор или кто? Пусть докажут!

— Доказательство у тебя на лбу, — усмехнулась Афина. — Шрам от меча? Болит? Наверно, уставки защиты занижены?

— Удар был неожиданным, — смущённо пробормотал Тимур, не сводя с девушки влюблённых глаз. — Когда делают обычный мыслефильм, художник воображает героев, их действия, внешность, ощущения. Оператор записывает на кристалл куски фильма и позднее вместе с художником komponует мыслефильм. Причём в части ощущений героя, как правило, оператор делает отсылки к индивидуальным воспоминаниям зрителя. Например, если герой мыслефильма ест, пьёт, обоняет или осязает что-либо ему уже известное, то конкретные ощущения берутся из памяти зрителя. Если зритель столкнулся с чем-либо новым для себя, он испытывает авторский вариант ощущений, пропущенный через определённые фильтры: у каждого зрителя свои пределы, допустим, болевые, моральные или религиозные. Нам для фильма нужны были полные эмоции, без ограничений и фильтров, так как «Кощей», как вы заметили, не плод фантазии автора, а в основном реальные события и ощущения Костиного сознания в теле дублёра, специально сформированного в прошлом. Кто ж знал, что так выйдет, и на Костю устроят засаду? Хоть дублёр и не человек, а только сотканная из полей оболочка, при помощи которой сознание хроника путешествует во времени, удар меча по голове Костя ощутил вполне реально. Вот стигмат* и образовался (* *Стигмат — след на теле от раны, ожога, ослепы и т. п. — прим. авт.*).

— Сдаюсь. — Махнул рукой Костя, видя, что его друг и напарник готов рассказать обворожившей его с первого взгляда нежданной гостью всё, что только её заинтересует. — Ваша взяла. Что нам светит?

— Зависит от того, какой выбор вы сделаете. Частичная амнезия с полной мыслеблокадой любой возможности хронопутешествий, даже официально разрешённых, с полной конфискацией аппаратуры, или... вы оба переходите на работу к нам.

— К вам!? — восторженно взревел Тимур.

Костя только вздохнул, глядя на друга, для которого выбор был очевиден и наказанием не являлся, так как Тимур потерял свободу и стал рабом с того мгновенья, как увидел Афины. А вот как быть ему? Что выбрать: свободу без любимого дела или любимое дело, но с ограниченной свободой?

— Как вы на нас вышли? «Кощя» мы издали под псевдонимом. Настоящие имена и адреса нигде не указывали. Хотелось бы знать, где мы прокололись.

— Это просто. Как вы думаете, мальчики, кто вам заказал «Персея»?

— Дьявол! — Вскочил Костя и заметался по комнате.

— Гениально! — Восторгу Тимура не было границ. — Вы сплели паутину, подбросили нам приманку и стали ждать, кто появится.

— Вот именно. Появились вы.

— Похоже, вы задействовали немалые силы, чтобы поймать нас, — позлорадствовал Костя.

— Нет, зачем? — Улыбнулась Афина Павлова. — Мы знали, что дикие хроники, промышляющие вдобавок изготовлением исторических мыслефильмов, обязательно появятся на Серифе, чтобы заснять прибытие Данаи с младенцем. Эта сцена не случайно оговорена в примерном сценарии, который мы вам прислали вместе с авансом. Так что вы решили?

— Хайре!* Мать, мне надо поговорить с тобой. (* *Хайре* — греческое приветствие, букв. «Радуйся!». Прим. авт.)

— Хайре, Персей! Опять будешь просить денег на своих гетер*? (* *Гетера* — образованная незамужняя женщина, ведущая свободный, независимый образ жизни — прим. авт.) Не дам!

— Пусть Диктис уйдёт! Мне надо поговорить с тобой наедине.

— О чём? Да ты трезв сегодня! Ладно, Диктис, оставь нас с Персеем, зайдёшь ко мне позже. Ну вот, сын, мы одни, говори. Надеюсь ты не собрался жениться на какой-нибудь голодранке?

— Я не такой дурак, каким ты меня считаешь! Да я, Персей, сын Зевса и Данаи, внук и наследник Акрисия, царя Аргоса, вынужден жить в самых дальних и жалких покоях царя Полидекта и сносить насмешки окружающих его льстецов и подхалимов. Я вспоминаю об этом каждое утро, когда мой единственный старый полуслепой и полуглухой раб приносит мне кувшин холодной воды для омовений. А вот ты всё забыла, и тебя все забыли, кроме этого нищего рыбака, неизвестно почему снабжающего нас бесплатной рыбой.

— Замолчи, я не хочу этого слышать! Что тебе надо? И я, и ты уже тысячу раз просили Полидекта дать тебе воинов, чтобы отвоевать у Акрисия трон, но этот сластолюбивый недомерок одинаково труслив и скуп, а у нас с тобой денег на наёмников нет.

— Плевать мне на Полидекта! Полидект не дал тебе воинов, когда был без ума от тебя, юной и цветущей. Сейчас, когда твоя кожа потемнела и покрылась морщинами, груди обвисли, а волосы поседели, он и слушать тебя не захочет. Но у меня есть решение нашей проблемы.

— Какое?

— Серифу нужен новый царь, причём такой, который к тебе — даже сейчас! — не равнодушен.

— Ты имеешь в виду себя?

— Нет, конечно, я говорю о Диктисе.

— Видать, ты вчера лихо хватил! Небось опять пил вино неразбавленным?

— Как видишь, я трезв и говорю серьёзно. Может, ты и смирилась со своим положением, а я не желаю чахнуть на этом паршивом острове в нищете!

— Но ведь Полидект жив, здоров и может прожить ещё долго. Убить этого труса невозможно: он в окружении охраны, еда и питьё постоянно проверяются на наличие яда, он даже в спальне с девицами не остаётся один — специальная рабыня с отрезанным языком следит за его возлюбленными, чтобы не умертвили царя во время любовных игр и сна. Он и детей не заводит, чтобы не трястись потом за жизнь и трон, если наследнику станет невтерпёж.

— Я убью царя Полидекта!

— Ты?! Как?

— Есть один способ. Вчера у меня были гости.

— У тебя? Гости? Ты хотел сказать «кредиторы»?

— Мои брат и сестра.

— Что ещё за новости? Ты у меня единственный.

— У тебя, но не у отца.

— Какого отца? Что ты несёшь?

— У Зевса, разумеется! Он же мой отец — это всем известно. Закрой рот, мать, муха влетит. Все вокруг над нами смеются. Я уж и сам начал сомневаться в твоих словах. Даже начал подозревать Диктиса — уж больно он к нам равнодушен. И вдруг вчера меня навестили Афина и Гермес. Отцу не нравится моё положение, но боги помогают только героям. Поэтому мне необходимо совершить подвиг, чтобы Зевс принял участие в моей судьбе.

— Во-первых, убийство царя Полидекта — не подвиг, а во-вторых, с чего ты взял, что у тебя были Афина и Гермес? Не хватало ещё, чтобы какие-нибудь проходимцы втянули тебя в заговор против царя!

— Мать, перестань говорить глупости! Кто ещё, кроме богов, умеет проходить сквозь стены, появляться посреди комнаты из ниоткуда и исчезать в никуда? Кто знает твои мысли и поступки, твоё прошлое, настоящее и будущее? Знаешь, я порой не понимаю, что мой отец Зевс нашёл в тебе? Но довольно! Я пришёл к тебе не спорить и ругаться, а для того, чтобы ты знала и понимала мои будущие поступки. И, конечно, поддерживала во всём, если хочешь вырваться из этой дыры и вернуться на Аргос, где мне суждено занять царский трон.

— Я не понимаю, что ты от меня хочешь, Персей?

— Я знаю, у тебя сохранились кое-какие связи в царском окружении. Мне необходимо совершить подвиг, но инициатива должна исходить от царя Полидекта. В этом случае дело изначально получит широкую огласку, и мне легче будет приблизиться к нему, чтобы убить. Ты должна настроить окружение царя так, чтобы Полидект бросил мне вызов.

— Этот трус? Никогда!

— Ты не поняла. Я не собираюсь вступать в поединок с царём Полидектом. Я должен убить горгону* Медузу! (* *Горгоны — три сестры: Сфено, Эвриала и Медуза, дочери морских божеств Форкия и Кето, внучки богини-земли Геи и моря Понта. Чудовища-сестры имели тело, покрытое крепкой блестящей чешуей, разрубить которую мог только меч Гермеса, громадными медными руками с острыми когтями и крыльями с золотыми сверкающими перьями. Лица были с острыми, как кинжалы, клыками, а вместо волос извивались, шипя, ядовитые змеи. Взгляд Медузы превращал людей в камень. — Прим. авт.*)

— Ну что ж, коллеги, теперь, когда с формальностями покончено, получите своё первое задание. Я уверена, оно вам понравится.

— Отловить какого-нибудь дикого хроника? — хмуро поинтересовался Костя. — Типа: вор лучше всех знает, как поймать вора? Кстати, Афина, как быть с авансом за мыслефильм? Нам с Тимуром придётся его вернуть?

— Нет. Вам придётся выполнить заказ, параллельно, так сказать, с основной работой. Дело в том, что в космическом отделе института времени проводился эксперимент, закончившийся весьма неудачно. Технические детали вам ни к чему, а суть эксперимента такова. Сейчас мы вынуждены в межзвёздных перелётах погружать экипажи звездолётов в анабиоз, что не всегда оканчивается для людей без негативных последствий. Космический отдел разработал некое устройство, условно называемое хроноизлучатель, которое, грубо говоря, «консервирует»

время в заданном объёме. Причём учёные добились того, что в качестве объекта хронозаморозки могут быть только биологические объекты.

Размеры хроноизлучателя были минимизированы настолько, что он вполне уместился в корпусе универсального корабельного робота. По замыслу учёных, данный робот, снабжённый излучателем, после старта звездолёта по команде капитана корабля «хронозамораживает» экипаж, а после прибытия в пункт назначения — «размораживает». Эксперименты в лаборатории института прошли успешно. Было решено продемонстрировать работу хроноизлучателя приёмной комиссии на одном из стандартных космических катеров.

— И что произошло?

— А вот это нам и предстоит выяснить. Капсула с экипажем катера и три корабельных робота, один из которых был оснащён хроноизлучателем, просто исчезли. Скандал был жуткий. Мы чисто случайно обнаружили их. Вы уже догадались, где?

— Чёрт побери! — Возбуждённо вскочил Костя. — Неужто, пресловутые горгоны, обращающие людей в камень?

— Одна горгона, Константин, одна. Медуза. Две другие не обладают подобной способностью. Они ведь — обычные корабельные роботы.

— Что-то они запаздывают. Надо мне было сопровождать Костю, а не загорать здесь одной.

— Не волнуйся, Афина, я слежу за вами. Они уже летят к тебе. Косте пришлось дать Персею несколько уроков полёта. Не привык этот дикарь пользоваться антигравитационным поясом.

— Всё шутишь, Тимур? Лучше приготовь контейнер для хроноизлучателя и лазер.

— Уже. Экранирующий биополе скафандр сейчас у тебя появится. А за ним и контейнер с лазером. Скажи, Афина, а почему на это дело ты выбрала нас? У вас что, проблемы с кадрами?

— Нет. Видишь ли, Тимур, у всех наших сотрудников установлена мыслеблокада, запрещающая перемещение материальных предметов во времени. У вас с Костей такой блокады нет, зато имеется соответствующий опыт — помнишь так называемый «хронолёт», где твой друг прятал спасённую от смерти Василису?

— Во дела! Как много, оказывается, ты узнала о нас из этого мыслефильма. Хорошо ещё, что сам излучатель установили в голове робота, а то пришлось бы кромсать Медузу на куски. То ещё было бы зрелище!

— Да, повезло. Без источника энергии и основного устройства, установленных в корпусе робота, сам излучатель станет безвреден, и мы

сможем вернуть капсулу и роботов назад. Кстати, Тимур, перестань тайком целовать мои руки. Я однажды расследовала случай, когда оператор забавлялся с телом своей подружки-хроника, пока её сознание путешествовало в дублёре по злачным местам Древнего Рима времён Петрония. С тех пор я позаботилась, чтобы часть моего сознания оставалась в теле и контролировала его ощущения. Это создаёт некоторые неудобства, зато я за своё тело спокойна. А вот и наша парочка летит. Роботы всё ещё заряжают свои солнечные батареи. Это хорошо: пока они «загорают», к ним проще подойти.

— Смотри, Персей, вот этот остров. Спускаемся. Видишь на берегу горгон?

— Вижу! Ну и страшилища! Гермес, почему они лежат, раскинув крылья? Они живы?

— Живы. Считай, что они спят. Запомни, ты должен отрубить голову только одной из них. У неё на груди нарисована медуза. Понял?

— Да, ты мне уже сто раз об этом говорил. А вдруг две другие проснутся и меня увидят?

— Не увидят. Афина даст тебе плащ, который скроет тебя от их глаз. Вон она нас ждёт. Спускаемся.

— Чёрт! Какая досада, что приходится полагаться в таком важном деле на этого надменного самовлюблённого дикаря. Как он меня утомил!

— Что делать, Костя. Люди не могут перемещаться во времени. А дублеры — совокупность полей, разрушающаяся при приближении к непрерывно работающему хроноизлучателю Медузы.

— Да помню, Афина, ты мне говорила. Но досадно! Он меня просто достал своим нытьём и глупыми требованиями. Персей вбил себе в голову, что с помощью головы Медузы он эффектно отомстит царю Полидекту.

— Пусть только уложит её в спецконтейнер, чтоб мы могли к ней приблизиться. Всё же кое-какой остаточный заряд у неё возможен — ведь режим «хроноразморозки» не был использован. Главное, чтобы Персей не струсил в последний момент.

— На счет этого я не волнуюсь. Он так жаждет прославиться, отомстить всем своим обидчикам и стать царем Аргоса, что...

— Тише! Он возвращается. В контейнере что-то есть! И индикатор лазера почти на нуле. Он сделал это!

— Ну что, мальчики, устали?

— Есть немного. Надеюсь, подобные вещи у вас...

— У нас, Костя. Вы с Тимуром теперь агенты спецкоманды СХБ.

— Хорошо: у нас. Какой команды?

— Случай с Медузой выявил необходимость создания спецкоманды агентов, у которых отсутствует мыслетрещина перемещения вещей во времени. Пока в этой команде вы двое и я — ваш непосредственный руководитель. Вы рады?

— Могла бы и не спрашивать, посмотри, как сияет Тимур.

— А ты, Костя, не рад?

— Ну, тебя-то, Афина, я уже знаю. И... да что там — конечно рад!

— Вот и чудненько! А как наш фильм, Тимур?

— Двигается. Честно говоря, я испугался за ваших дублёров, когда этот псих Персей наотрез отказался возвращать лазер и антиграв. Да ещё пригрозил вытащить из контейнера голову Медузы, если вы попробуете отнять их силой.

— Ничего, Тимур, пусть Персей пока погеройствует. А мы посмотрим, что у него получится. Глядишь, и сочинять ничего не придётся — правда жизни окажется интересней!

3. ЛАБИРИНТ

— Налей вина, раб. Ты был в портовом квартале? Договорился с капитаном египетского корабля?

— Да, господин, я был там. Египтянин прислал к тебе человека. Можно ему войти?

— Какого ещё человека? Зачем? Я же тебе сказал, что заплачу любую сумму и тебя отдам в придачу, лишь бы поскорее убраться с Крита! Ты что, не смог сторговаться? Я говорил, раб, что жить нам с тобой осталось недолго?

— Да, господин, но египтянин не стал говорить со мной. Он хочет знать причины твоего желания покинуть Крит столь срочно и тайно. Сказал, что не хочет давать повод для осложнений между Египтом и Критом.

— И ты привёл его сюда, в мой дом? Болван! Мускулистое животное! Боги дали тебе красивое тело, но обделили умом. Тело возвысило тебя из рабов в личные телохранители царицы Крита, тело сделало телохранителя любовником, но тупая безмозглая голова вновь вернула тело в то положение раба, которого ты только и заслуживаешь.

— Не понимаю, господин, причины твоего гнева. Ты сам сказал, что дело срочное. Потому я и привёл египтянина сюда...

— Конечно, не понимаешь! Тупица! Я запретил тебе называть моё имя. Ты должен был просто найти корабль, в ближайшее время покидающий Крит, и договориться с его владельцем, что он возьмёт твоего хозяина на борт. А ты привёл египтянина прямо в мой дом! Теперь весь Кносс* (* Кносс — столица Крита. Прим. авт.) будет знать, что Гектор, советник самого царя Миноса, собирается бежать с Крита! Подай мне плеть, раб.

— Прости, господин, я не смог отказать египтянину...

— Быстрее! Стой. Что со мной? Я не могу пошевелиться. Почему ты так странно смотришь на меня? Как смеешь ты, раб, смотреть в лицо своему господину? Вино! Что ты мне подмешал, Икар?

Раб откинул дверную занавесь.

— Входи, святейший, я сделал, как ты велел. Не забудь мою услугу.

— Я никогда ничего не забываю, акаваша*, — ответил вошедший.

— Собирайся, корабль ждёт. (* Акаваша — чужеземец, иностранец. Прим. авт.)

— Вы нашли его, мальчики? — Руководитель спецгруппы службы хронобезопасности Афина Павлова была явно встревожена.

— Нет. — Тимур Боев выглядел непривычно мрачным. Обычно присутствие Афины повергало его в состояние восторга и любовной заторможенности в мыслях и действиях. — У царя Афин Эгея никогда не было сына по имени Тесей. Эгей действительно в юности много шлялся по окрестным городам и, соответственно, местным красоткам, а чаще — красавцам, и... — Тимур внезапно понял, кто перед ним, густо покраснел и впал в ступор.

— ...никогда не посещал Трезены. — закончил фразу Костя Шеев. — Может, где и подрастают внебрачные дети Эгея, но только не у царевны Эзры из Трезены. Не удалось обнаружить и прочих персонажей греческого мифа: на дороге из Трезены в Афины никто не слышал о разбойниках по имени Синид, Скирон или Прокруст, с которыми, согласно мифу, лихо расправился Тесей.

— Плохо. Очень плохо! Видимо, нам придётся проследить все похождения Эгея.

— Ты с ума сошла, Афина! — возмутился Костя. — Это ж адский труд! Почему бы не подключить к поискам Тесея другие отделы? Мы с Тимуром и так почти сутки вкалывали без отдыха.

— Это невозможно: нельзя привлекать постороннее внимание к персоне Тесея. Вы, наверно, действительно очень устали, если забыли, что наша группа занимается исключительно делами высшей степени секретности. Ладно, идите спать. Я составлю график дальнейшей работы. Будем искать Тесея круглосуточно: двое в хронопоиске, третий отдыхает.

— Не пора ли раскрыть карты, Афина? — Костя раздражённо отшвырнул хроношлем. — Мы, ведь, с Тимуром давно не дикие хроники, мы с тобой теперь в одной команде. Почему службу хронобезопасности заинтересовал Тесей?

— Не ломай казённое оборудование. Я сама узнала ответ полчаса назад! Может, сначала отдохнёте? На свежую голову...

— Какой, к чёрту, отдых?! Думаешь, мы уснём, не узнав причину аврала?

— А, узнав, уснёте? Ладно, успокойся. Помните дело Персея?

— Ещё бы! Неудачный эксперимент с капсулой хронозаморозки космонавтов, неожиданно провалившейся в прошлое с двумя испытателями на борту и тремя корабельными роботами, которых древние греки назвали горгонами. Весёленькое было дело!

— Да, весёленькое. На нём вы с Тимуром и погорели, как дикие хроники. Мы тогда неплохо поработали, отключили роботов, вернули капсулу. Вот только она оказалась пустой!

— Что значит — пустой? — удивился Тимур.

— Испытатели! — воскликнул Костя. — Мы, возясь с этим болваном Персеем, совершенно забыли о двух испытателях, бывших на борту капсулы во время того эксперимента.

— Действительно. — Озадаченно посмотрел на Афины Павлову Тимур. — А ты нам о них даже не напомнила. Почему?

— Почему — понятно! — Раздражённо махнул рукой Костя. — Секретность! Не доверяет нам начальство.

— Но ведь общеизвестно, что перемещение людей во времени невозможно! — воскликнул Тимур. — Потому мы и используем дублёров.

— В этом всё и дело! Видите ли, мальчики, как оказалось, тот эксперимент с капсулой хронозаморозки вовсе не был неудачным. Это была спланированная акция перемещения людей во времени, причём удачная!

— Акция? Чья? — неожиданно напряжённым голосом спросил Костя Шеев.

— Двое учёных одной из лабораторий нашего Института Времени решили лично отправиться в прошлое. Им это удалось. Вы представляете, что сейчас творится наверху?

— Но зачем им понадобился этот эксперимент? — удивился Тимур. — Ведь использование дублёров гораздо безопаснее, а по возможностям чувственного восприятия окружающей обстановки практически неотлично. К тому же использование дублёров наверняка намного экономичнее в энергетическом плане.

— Разумеется, ты прав. Суть в том, мальчики, что эта безумная парочка просто сбежала в прошлое. Как им это удалось, никто в институте не знает, зачем — тем более. Они уничтожили перед бегством все данные своих тайных, как оказалось, исследований и опытов. Капсула хронозаморозки, неожиданно оказавшаяся «машиной времени», поглотила столько энергии, что сработала защита. Потому капсула и застряла в прошлом на «острове горгон», а не вернулась назад, как планировали беглецы. Вот только с капсулы сняты все приборы и устройства, превращавшие её в «машину времени».

— Что-то не вяжутся у тебя концы, Афина! — жёстко сказал Костя. — Откуда всё это стало известно, если капсула оказалась пустой? Ты говоришь: с хронокапсулы сняты все приборы и устройства. Но тогда капсула уже не могла быть машиной времени. И, следовательно, вовсе не случайно оказалась на острове горгон.

— Ты хочешь сказать, Костя, что у беглецов есть другая машина времени? — нахмурилась Афина. — А капсулу с роботами они просто забросили в прошлое, как вы когда-то свой «хронолёт» во время снятия мыслифильма «Кощей Бессмертный»?

— Это очевидно! — поддержал друга Тимур. — Потому у вас и был такой гигантский перерасход энергии, что сработала защита.

— Как бы там ни было, наше задание: найти беглецов и вернуть. — озабоченно произнесла Афина. — В крайнем случае: найти и узнать, зачем и как они это сделали.

— А причём здесь Тесей? — спросил Костя.

— В хронокапсуле была записка: «Хотите нас найти? Следуйте за Тесеем».

— Но ведь это может быть ложный след! — возмутился Костя. — Если те два профессора решили сбежать в прошлое, зачем им указывать нам, куда именно?

— Другого следа у нас нет. Придётся отрабатывать этот. — Раздражённо развела руками Афина. — Единственный широко известный Те-

сей в греческих мифах был сыном царя Афин Эгея и царицы Эры из Трезен.

— В мифах! — Костя вскочил и заметался по комнате. — А в действительности такого парня не было. Что ж теперь делать?

— Да что мы упёрлись в родословную! — Тимур поймал Костю за руку и усадил в кресло. — Не мельтеши, и так голова почти не варит. — И вновь обратился к Афине: — У греков все герои — потомки богов и царей. Давайте рассмотрим суть мифа, а не частности. Чем знаменит Тесей? Разбойники уже отпадают. Что остаётся?

— Лабиринт и Минотавр! — Вскочил Костя.

— Нить Ариадны. — Вновь усадила его Афина.

— Вот! — Довольно улыбнулся Тимур. — Ариадна — женщина. К тому же её нить сродни ложу Прокруста — красивая сказка. Мы ищем кого?

— Двух мужчин! — хором вскричали Афина и Костя.

— Значит, первой нашей наиболее достоверной целью становится кто?

— Минотавр! Тимурчик, ты — гений! — Афина подошла к Боеву и поцеловала в щёку. — Костик, твоя очередь спать. А мы с Тимуром отправляемся в Кносс.

— Вы уверены, что заботитесь обо мне? — ехидно спросил Костя. — А мне почему-то вспомнилась поговорка о третьем — лишнем.

— Итак, Гектор, смотри сюда. — Египтянин откинул шкуру леопарда, обнажив грудь. — Видишь мой амулет? Красивый кристалл, правда? Смотри, как переливаются грани. Тебе хорошо видно?

— Передник из дорогой ткани, юбка, длинный вышитый пояс, шкура леопарда, плетёная из библуса* обувь... (* Библус — тростник. Прим. авт.) Ты — не капитан корабля! Кто ты?

— Я один из жрецов Аписа* (* Апис — священный белый бык, имевший собственный храм. — Прим. авт.). Моё имя тебе ни к чему. Ты напрасно ругал своего раба, Гектор. Неужели забыл, кем был Икар? А кто его хозяин сейчас тоже всем в Кноссе известно. Ни один корабль не возьмёт тебя тайком на борт. Никто ни за какие деньги не поможет бежать хозяину Икара. Владычество Миносов действительно немного пошатнулось. Крит постепенно сдаёт мировое первенство Египту. Но ссориться с Миносом пока не рискует даже фараон. Глупо бежать в Египет. Единственное место, где ты действительно смог бы затеряться — мелкие варварские царства акаваша: февана или туруша*. (* февана и туруша — греки и этруски. Прим. авт.) Но довольно пустых разго-

воров. Я вижу, ты уже вошёл в нужное мне состояние. Гектор, ты хорошо меня слышишь?

— Да. Я слышу тебя.

— Спи. С этого мгновения ты слышишь только меня. Я — твой господин. Ты понял меня, Гектор?

— Да, господин, я понял тебя.

— Я буду задавать тебе вопросы, ты будешь отвечать только правду. Понял?

— Да, господин, ты — спрашиваешь, я — отвечаю только правду.

— Ты, ведь, не кефти*? Откуда ты родом? (* *Кефти* — житель Крита. Прим. авт.)

— Из Афин, господин. Я был главным художником при дворе царя Эгея. Строил храмы и дворцы.

— Как ты, акаваша, попал на Крит и столь быстро возвысился?

— Мой сын Икар и племянница царя Эгея Ариадна полюбили друг друга. Но царь отказался устроить их брак. Он сам положил глаз на моего сына и решил сделать Икара своим любовником. Однажды ночью мы все трое: я и влюблённые, бежали из Афин на критском купеческом корабле. Но, как только корабль вышел в море, матросы напали на нас сонных, ограбили и превратили в рабов. Так я попал на Крит, господин.

— А теперь подробно расскажи, где ты изучал критский и египетский языки, и кто открыл тебе секреты письма Крита и Египта?

— Я никогда не изучал ни того, ни другого, господин.

— Откуда же ты их знаешь?

— Хозяин корабля выставил нас на Кносском рынке рабов, господин. Распорядитель рынка через раба-переводчика спросил, были ли мы ранее на Крите, какие знаем языки и ремёсла. Я ответил, что мы все трое всю жизнь прожили в Афинах, никаких языков, кроме родного, не знаем. Сказал, что я — скульптор, а мой сын — воин, Ариадна же, как всякая афинская девушка, умеет шить и готовить. Распорядитель рынка не позволил выставить нас на продажу, а велел присоединить к небольшой группе отобранных ранее у других продавцов рабов. Хозяин корабля был очень недоволен таким поворотом дел, но спорить не посмел.

Весь день мы простояли на рынке, изнывая от жары, жажды и неизвестности. Вечером, когда торги закончились, спала жара, и утих оглушительный гомон рынка, огромные чернокожие рабы принесли носилки, из которых вышел наш покупатель. Это был Минотавр, тайный советник Миноса. Нас выстроили в ряд, и распорядитель рынка приказал

своему рабу-переводчику вновь в присутствии знатного покупателя расспросить каждого. Минотавр купил всех.

— Привет, Тим, как успехи?

— Глухо. Как в Афинах никто не знает Тесея, так и в Кноссе никто не слышал о Минотавре. Принёс чего-нибудь пожрать?

— Чёрт! Дело Персея сейчас мне кажется лёгкой прогулкой. — Костя поставил перед Тимуром сумку с бутербродами и бутылками с апельсиновым соком. Потом жестом фокусника вынул из кармана чудом не помятый букетик из трёх свежесрезанных красных роз и положил на колени лежащей в кресле Афины. — Где она сейчас?

Тимур снял мнемошлем и включил контрольный голоэкрэн.

— На базаре. Её дублёр уже несколько часов блуждает по Лабиринту. Это вовсе не отдельное сооружение, где Минос прячет от народа людоеда Минотавра. Лабиринт — это весь Кносс, огромный город-дворец. Этакая четырёхугольная крепость с глухими наружными стенами, почти без окон. Мы обнаружили всего двое ворот, за которыми начинаются узкие ломаные коридоры, ведущие внутрь. В Кноссе довольно сложная система зал и комнат, коридоров и проходов, лестниц, террас и храмов, мастерских, складов и, конечно, дворцов Миноса и его родственников. Многоэтажные дома! Не город, а муравейник.

— Ничего, найдём иголочку. И не такие стога ворошили. А бабы у них классные! Какие платья, причёски! Любая сегодняшняя модница позавидует. И все с голой грудью! А наша Афина ничего: любую местную красоту затмит!

— Перестань!

— У неё действительно такой бюст или это игра воображения?

— Костя, убью! Прекрати! Услышит.

— Ерунда. Женщины на комплименты не обижаются. Да и мнемошлем ты снял.

— Я всегда оставляю часть сознания в теле, забыл, Костя? — Ожила вдруг Афина. — Мы выбрали неверную методику, мальчики. Вряд ли Минотавр был чудовищем из сказки: получеловек-полубык. И потому никто не треплет о нём языком на базарах и в мастерских. По мифу он — сын Пасифаи, жены Миноса. Надо искать во дворце.

Афина протянула хроношлем Косте.

— Посмотрим, как ты выглядишь в длинных завитых локонах, юбке и с двумя копьями в руке. Кстати, мне бодикосметика без надобности!

— Утром надсмотрщик отобрал семерых из нас, кто должен был участвовать в тавромахии*. (* *Тавромахия — состязание человека с быком. Испанская коррида — наследница критской тавромахии. Прим. авт.*) Я был в их числе. Никто из нас ранее никогда даже не видел подобных ритуалов. Все мы были на Крите чужаками, все разных возрастов и национальностей. Я — грек из Афин. Пожилой египтянин. Молодой, но уже сплошь покрытый шрамами этруск. Пара негров: один высокий и могучий в набедренной повязке из шкуры какого-то полосатого зверя, другой — маленький, совершенно голый, весь разрисованный какими-то несмыслимыми узорами и морщинами. И ещё двое совершенно незнакомых мне дикарей с красной кожей и птичьими перьями в волосах.

Нас вывели за город, на поле, где происходят танцы с быками. Постепенно вокруг поля собиралась публика. Я забыл голод и страх, разглядывая выходящих из носилок женщин в удивительных нарядах. У нас женщины носят обычный пеплос — кусок ткани, обёрнутый вокруг тела и прихваченный на плечах заколкой. А тут — многослойные разукрашенные юбки, талии перетянуты корсетами, жакеты с длинными рукавами, оставляющие грудь совершенно открытой, шнуровка. Огромные и разнообразные, раскрашенные в разные цвета причёски. Шляпы в три яруса! Кольца, ожерелья, заколки, перстни. Косметика лица и груди! Ничего подобного я никогда ранее не видел.

Вдруг вокруг поднялся восторженный рёв: в царской ложе перед главным входом, под пышным портиком*, (* *Портик — выступающая вперёд часть здания, открытая на одну или три стороны и образуемая колоннами или арками, несущими перекрытие; чаще всего оформляет главный вход. Прим. авт.*) появился Минос. Он стоял, и на пёстром фоне изразцовой стены, покрытой фресками, отражалось сияние царской мантии, усыпанной драгоценностями. Рядом с Миносом не менее ярко сияла украшения царица Пасифая. Поддавшись всеобщему восторгу, я орал нечто невразумительное, как вдруг ожёг бича вернул меня в реальность. Оказывается, в нашем загоне появился Минотавр. Он привёл с собой профессионального танцора с быками.

Надсмотрщик выстроил нас в ряд. Вошёл раб с фиалом* вина. (* *Фиал — чаша, кубок. Прим. авт.*) Минотавр влил в вино из странного, маленького, совершенно прозрачного сосуда какую-то зелёную жидкость. Раб понёс фиал вдоль нашего ряда, заставляя каждого сделать несколько глотков. Первым, не колеблясь, пригубил странную смесь критянин-танцор. Затем и мы последовали его примеру, так как в горле от страха и жары, по крайней мере у меня, всё давно пересохло.

На поле начались танцы с быками. Молодые юноши и девушки бесстрашно ждали мчавшегося на них разъярённого быка, и когда он нагибал голову, чтобы поддеть их на свои огромные страшные рога, птицей взмывали в высь, делали на спине могучего животного сальто и опускались на ноги позади быка.

Мы ждали своей очереди и молились каждый своим богам, прощаясь с жизнью. Танцор разминался. Его гибкость и быстрота движений поражали. Вокруг ревели зрители, восхищаясь выступлением храмовых танцоров. И вдруг что-то изменилось. До меня неожиданно дошло: я прекрасно понимаю, что кричат люди на трибунах, о чём поёт предсмертную песнь этруск, что бормочет стоящему рядом рабу из храма Аписа египтянин, оказавшийся жрецом-шпионом фараона. Я вдруг увидел промахи выступающих танцоров, движения которых ранее казались мне безупречными. Это было удивительно.

— Почему ты замолчал, Гектор? Рассказывай дальше.

— О чём, господин? Ты спросил, я ответил.

— Ты знаешь, откуда к тебе пришло знание языков?

— Из напитка Минотавра, господин.

— Не понимаю. Поясни подробнее, как напиток может нести знания?

— В нём был растворён чудесный порошок, господин, связывающий умы тех, кто его принял, в единое целое. Мы выпили напиток Минотавра, и наши знания соединились.

— Невероятно! Ты хочешь сказать, что все рабы, хлебнувшие из фиала, получили знания и опыт друг друга?

— Я ничего не хочу говорить, господин. Но ты спрашиваешь, я отвечаю.

— Так отвечай!

— Спрашивай, господин.

— Выпив напиток Минотавра, ты слился душой с остальными? Узнал всё, что они знают?

— Нет, господин. Я был сам по себе, они сами по себе. Просто те знания, что были мне необходимы в тот момент, я черпал у них: языки, правила и приёмы тавромахии. Их разумы были закрытыми сундуками. Но если мне что-то понадобилось, чего я не знал сам, но у кого-то из них это было, сундук открывался, и я брал необходимое. Боюсь, храмовый танцор не почерпнул у нас ничего, зато мы вычерпали его знания до дна.

— Неужели вы все участвовали в тавромахии?

— Да, господин.

— И остались живы?!

— Нет, господин. Первым вышел и погиб египтянин, потом этруск и два краснокожих дикаря. Погибли быстро и бесславно. Вокруг стали возмущаться, Минос неожиданно покинул ложу, и Минотавр выпустил на поле храмового танцора. Но тот тоже вскоре погиб: видимо, наши страхи и мысленные комментарии его действий отвлекали и, в конце концов, погубили беднягу.

— Почему так произошло? Ведь у вас у всех были необходимые знания.

— Минотавр объяснял это тем, господин, что знаний самих по себе недостаточно. Нужно уметь пользоваться ими. Глаза видят, ум принимает решение, но тело, мускулы, не успевают за умом. Бык действует умело, его тело и разум согласны между собой.

— Понимаю. Что было дальше?

— Минос разочаровался в Минотавре. Тот обещал мгновенно превратить его воинов в армию суперсолдат. Наш провал на поле тавромахии разозлил царя. Минотавр бросился к царице, подарил ей Ариадну и Икара, умоляя спасти его от царского гнева. Пасифае Икар понравился, (этот болван всегда нравился женщинам), и она упростила Миноса сохранить жизнь Минотавру. Скоро Икар стал личным телохранителем царицы, а Ариадна — её любимой рабыней.

— Где сейчас Минотавр?

— Я убил его, господин.

— Зачем?!

— Из зависти, господин.

— Объясни подробнее.

— Минотавр придумал новый способ письма.

— Стоп. Так новое секретное кносское письмо придумал Минотавр? Ты знаешь его?

— Да, господин. Я был первым, кого Минотавр обучил новому письму.

— В чём его секрет?

— Ранее на Крите, как и в Египте, писали иероглифами, господин. Писцы тратили полжизни на обучение. Конечно, Минотавр мог значительно ускорить этот процесс при помощи своего напитка. Собственно, под этим предлогом Пасифая и спасла Минотавра от гнева Миноса. Она передала в его ведение кносскую школу писцов. Однако Минотавр пошёл иным путём: он отказался от самой системы иероглифов, предложив обозначать отдельными простыми знаками не слова целиком, а их простейшие части, звуки. Теперь писцу достаточно изучить менее сот-

ни простых знаков, с помощью которых можно записать живую речь на любом языке.

— Мудро. Но и глупо. Сделав письмо столь простым, Минотавр открыл доступ к секретным знаниям любому. Мы в Египте не допустим подобной беспечности. Рассказывай дальше, Гектор.

— Минос вновь возвысил Минотавра, Икар проводил ночи в постели Пасифаи, а Ариадна причёсывала царицу по утрам, и только я оставался жалким, никому не нужным и неизвестным рабом, которым помыкал любой неуч из школы писцов. А, ведь, в Афинах моё имя всегда было окружено почётом и уважением. Я решил украсть знания Минотавра и занять его место.

Минотавр не оставлял своих опытов с напитком. Не знаю, чего он хотел добиться, но заниматься школой писцов у него не было ни желания, ни времени. По утрам он выдавал мне кувшин вина с уже растворённым в нём зельем, и я в сопровождении стражника нёс его в школу, где разливал по фиалам вновь прибывших со всех концов критской империи писцов, а затем выпивал свою долю и проводил сеанс обучения новому письму.

Однажды вновь прибывших писцов оказалось меньше, чем установил Минотавр. Накануне двое из них за кувшином вина поспорили о достоинствах какой-то местной красотки, спор перерос в драку, вмешалась стража, и оба дебошира загремели в царское подземелье. Я принял это за знак богов и припрятал их долю вина, а за обедом подал его Минотавру, предварительно выпив чашу сам. Но боги вновь посмеялись надо мной. Ведь Минотавр тоже получил доступ к моим тайнам, и мне пришлось свернуть ему шею, прежде чем он позвал стражу.

— Сделанного не вернёшь. Что ты успел узнать о Минотавре, Гектор? Кто он? Как попал на Крит, и почему о нём никто ничего не знает?

— У меня было мало времени, господин: я убил Минотавра почти сразу, как он выпил напиток. Знаю только, что он прибыл на Крит из какой-то далёкой страны, где нет рабов. А Минотавру нужно было на ком-то испытывать действие своего напитка. На себе он боялся. У Миноса много рабов, господин. Минотавр обещал ему сильных, умелых воинов и мореходов, прося взамен только рабов для испытаний и тайну вокруг него и его работы.

— Но хоть знание, как приготовить напиток, ты успел получить?

— Нет, господин. Я неправильно задал вопрос. Я хотел знать, как приготовить напиток, и я узнал: где взять сосуд с порошком, где и какое вино, в каких пропорциях смешать. А вот как и из чего приготовить сам порошок...

— Ясно! Какие ещё знания ты успел вытянуть у Минотавра?

— Никаких, господин. Знания без практического применения быстро умирают. Наш ум хранит лишь то, что необходимо.

— Плохо. Как тебе удалось не только сохранить жизнь, но и занять место Минотавра?

— Я сразу бросился к Икару, и тот провёл меня в покои царицы. Я предложил Пасифае наслаждение, которого она до этого не испытывала, прося в качестве награды жизнь и должность Минотавра.

— Что же ты ей дал?

— Напиток Минотавра, господин.

— Не понимаю, объясни подробнее, Гектор.

— Я подмешал в напиток Минотавра возбуждающие травы и предложил его выпить Пасифае и Икару. Они провели очень насыщенную ночь, пока я трясся от страха под надзором личной стражи царицы на пороге её спальни. Всю ночь из-за двери доносились страстные крики и стоны. Каждый из них, и Пасифая, и Икар, знали, что и как делать, чтобы партнёр получил наивысшее наслаждение. Причём их чувства взаимно складывались и накладывались. Пасифая с Икаром не могли оторваться друг от друга, пока действие напитка не прекратилось. Царица наутро была в восторге, и я получил всё, что хотел, и даже стал советником Миноса. Минотавр был забыт, его имя нигде не упоминалось.

— Как же получилось, что Икар неожиданно утратил своё, столь завидное, положение и превратился в жалкого раба, причём своего собственного отца?

— Изнурительные ночные забавы не прошли бесследно. Мужские силы Икара таяли, не помогали и возбуждающие травы. И однажды, во время очередного перерыва в любовных играх, царица впервые заглянула вглубь души Икара и неожиданно для себя выяснила, что этот болван по уши влюблён в её рабыню, Ариадну, и тратит столь необходимые Пасифае мужские силы на эту девчонку! Икар сохранил жизнь лишь благодаря моему заступничеству и вновь надел ошейник раба. Ариадне вырвали язык и отдали в храм Аписа. В ближайшие тавромахии она выйдет на поле.

— А теперь, Гектор, расскажи, почему ты решил бежать с Крита?

— После Икара, господин, царица стала сразу, в первую же ночь, проверять истинные чувства своих любовников. Пасифая не блещет ни телесными, ни иными достоинствами и, естественно, быстро разочаровалась в мужчинах. Царица пошла в храм Аписа, чтобы принести жертву и пожаловаться божеству на несправедливость мужчин. Там она увидела Аписа, белоснежного быка, недавно доставленного из Египта,

дар фиванского храма кносскому. Пасифая была очарована мощью и красотой божества. Она вызвала меня и приказала найти способ, как ей стать возлюбленной Аписа. Мне пришлось сделать деревянную корову, обтянуть её настоящей шкурой и оборудовать внутри так, чтобы Пасифая не испытывала неудобств при контакте с божеством.

Но бык — не человек, и хоть Апис — божество, ему словами не объяснишь желание царицы. Пришлось вновь пустить в ход средство Минотавра. Но бык, повторяю, не человек, и теперь Пасифая лежит в постели в очень тяжёлом состоянии. Лучшие лекари бьются над сохранением её жизни. Минос пока не знает причину недуга царицы, но, если она умрёт, лекарям придётся сказать ему правду. Если выживет, правда всё равно скоро выйдет наружу. К тому же на эту последнюю любовную схватку Пасифаи с Аписом ушли остатки порошка Минотавра. Я больше не нужен царице.

— Значит, порошка Минотавра больше нет, и ты не знаешь, как и из чего его приготовить?

— Да, господин.

— Выходит, это знание утрачено?

— Возможно, нет, господин. Надо найти второго.

— О чём ты?

— Минотавр был не один, когда бежал из своей страны, господин. С ним был ещё один человек. Но дороги беглецов разошлись где-то на полпути их странного корабля. Этот, второй, искал не рабов, а конкретного человека.

— Кого? Ты знаешь?

— Да, господин. Его зовут Александр из Македонии. Найди одного, господин, и, возможно, рядом окажется второй.

— Македония — это где?

— Не знаю, господин, никогда о ней не слышал.

— Ладно, от глаз и ушей Аписа ничего не ускользает. Гектор, ты немедленно забудешь Минотавра и всё, что с ним связано.

— Да, господин, я забуду Минотавра и всё с ним связанное.

— Ты хочешь возвратиться в Афины, потому что царь Эгей совсем плох, и Ариадна, единственная его прямая родственница, должна спешить, чтобы застать дядю живым. Ты понял?

— Да, господин, нам надо спешить в Афины.

— У тебя остались какие-нибудь вещи Минотавра?

— Кто такой Минотавр, господин?

— Не важно, забудь. Сейчас ты возьмёшь мой перстень и пойдёшь в храм Аписа. Отдашь перстень главному жрецу и скажешь, что владе-

лец перстня просит выдать тебе Ариадну, бывшую рабыню Пасифаи. Понял?

— Да, господин.

— Получив Ариадну, ты пойдёшь в портовый квартал. Там тебя будут ждать Икар с вещами и капитан египетского корабля, прибывшего на Крит за партией кносского вина. Капитан спрячет вас в пустые пифосы*. (* Пифос — большой глиняный яйцевидный сосуд высотой до 2 м, предназначенный для хранения зерна, воды, вина и пр. Прим. авт.) Погрузка идёт уже третий день, и смотритель царских хранилищ перестал проверять каждый сосуд лично, доверив свою печать писцу, взимающему плату за хранение товаров. Этот писец постоянно делает крупные ставки во время игр с быками. Однако боги очень редко посылают бедняге удачу. Все купцы знают об этом и давно пользуются: за небольшую взятку писец занижает количество сданного на царские склады товара, что, естественно, уменьшает и арендную плату. Когда-нибудь писец попадётся, но пока он на месте и за небольшую мзду закроет глаза на лишние пифосы. Сидеть в запечатанном пифосе, конечно, не легко, но дорога в порт и погрузка на корабль не займут много времени.

Утром в море вышел афинский корабль. Он будет плыть не спеша, потому что на его борту возвращается посланник царя Эгея с печальной вестью, что Пасифая отказалась вернуть Ариадну домой. Египетский корабль легко нагонит афинский. Дальнейшее — в руках богов. Ты всё понял, Гектор?

— Да, господин.

— Ступив на палубу афинского корабля, ты проснёшься, забудешь меня и наш разговор.

— Да, господин.

— И ещё, Гектор, скоро тебя и Икара будут искать повсюду, куда достигает рука Миноса. Советую вам сменить имя.

— Хорошо, господин, в Афинах я известен как Дедал, а Икара его мать всегда звала Тесеем.

4. ЛЖЕФИЛИПП

Миновав колоннаду портика*, лекарь подошёл к стоящему в центре двора алтарю Зевса — домохранителя. (* Портик — выступающая вперёд часть здания, открытая на одну или три стороны и образуемая колоннами или арками, несущими перекрытие; чаще всего оформляет главный вход. Прим. авт.) Уже неделю с затянутого серой пеленой не-

ба моросит мелкий холодный дождь. Натянутая рабами над двором ткань давно промокла, провисла по центру и уже не могла удержать собравшуюся на ней воду, тонкой струйкой падавшую как раз на голову Зевса. Лекарь быстро пересёк границу шатра из брызг, плеснул на жертвенный камень из принесённой чаши и неторопливо направился ко входу в тронный зал, скользя разбухшими сандалиями по размокшей глине двора. Младший стражник откинул дверную занавесь, и лекарь под хмурыми взглядами расступившихся македонцев прошёл к троносу. Стоящее на львиных лапах кресло уже пустовало несколько дней. Следя по грязной дорожке, натопанной посетителями на мозаичном полу, лекарь обогнул тронос, откинул тяжёлую занавесь и вошёл в спальню.

— Вот и ты, наконец, Филипп. Долго же мне пришлось тебя ждать!

Лекарь молча подошёл к скрючившемуся под несколькими шерстяными накидками царю. Присев на край лежанки, Филипп осторожно коснулся пылающего отблесками огня в жаровне лба больного.

— Ты весь горишь, Александр. Я принёс лекарство, выпей эту чашу до дна, и тебе вскоре станет лучше.

— Видимо, боги персов решили остановить меня, поразив неизвестной болезнью. — Царь без колебаний выпил лекарство, с трудом удерживая тяжёлую чашу в дрожащих от слабости руках. — Оставьте нас! — Рабыня, следившая за жаровней, и гетера*, тихо перебирившая струны арфы, молча встали и вышли. — Скажи, Филипп, что там, впереди: жизнь или смерть? (* *Гетера — образованная незамужняя женщина, ведущая свободный, независимый образ жизни — прим. авт.*)

— Ты не умрёшь, Александр. Я этого не допущу, — ответил лекарь, помогая царю лечь поудобнее. — У нас великая цель, на пути к которой ты достигнешь небывалой славы, превзойдя столь любимых тобою героев «Илиады».

— Кто ты, лекарь? — неожиданно жёстко спросил больной. — Не бойся, я не буду звать стражу. Ты не впервые приходишь ко мне. Я прекрасно помню все наши беседы, о которых мой друг Филипп не имеет ни малейшего понятия. Я не раз безуспешно пытался обсуждать с Филиппом данные тобой политические и военные советы. Он явно не понимал, о чём идёт речь. Все интересы моего друга относятся только к медицине и боям на палках.

Недавно до меня дошло: вас двое. Ты всегда появляешься в критические моменты моей жизни. Поэтому, заболев, я приказал не спускать с Филиппа глаз. Парменион составляет ему компанию, не отходит ни на шаг почти месяц. Филипп сейчас мертвецки пьян. Врачи не знают, чем

я болен, и как меня лечить. Они трясутся от страха. В случае моей смерти их тут же казнят. Мой друг не исключение, и потому уже давно пытается заглушить страх вином.

У тебя внешность Филиппа, но ты трезв, принёс лекарство, а главное — уверен в себе, и тебя не гложет страх. Кто ты?

— Разве это важно, царь? — Лекарь поставил опустевшую чашу на стол и вновь спокойно сел рядом с больным, заботливо кутая его в накидку. — Да, я не Филипп, но ты сам признал, Александр, что многим мне обязан. Я тебе больше, чем друг, даже больше, чем отец. Без моей помощи ты был бы сейчас никому не известным мелким македонским царьком. Я создал тебя, пробудил твоё тщеславие, направлял развитие, обучил стратегии и тактике, дал цель. Великую цель! Без моего лекарства ты умрёшь через несколько дней. Купание в холодных водах Кидны повредило почки, и сейчас твой организм отравляет сам себя. Я спас тебе жизнь. Кто сделал для тебя больше?

— Благодарю тебя за всё! У меня было время подумать и разобраться, кто я, и чем тебе обязан. Даже будучи юнцом, я понимал, кто на самом деле усмирил Буцефала* и заставил слушаться узды. (* *Буцефал — любимый конь Александра Македонского. История гласит, что Александр в юном возрасте стал единственным человеком, которому покорился своенравный 11-летний конь. Прим. авт.*) Ты подарил мне тогда кинжал, помнишь?

— Это был подарок ко дню рождения.

— Но я родился в иной день, в шестой день гекатомбеона*. (* *Гекатомбеон — первый месяц аттического года; длился с 15 июля по 15 августа. Прим. авт.*) Неужели ты забыл? В тот день был сожжён храм Артемиды Эфесской. Об этом все знают.

— Конечно. Мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы предсказатели связали между собой эти два события. Когда-нибудь расскажу тебе правду о Герострате*. (* *Герострат — молодой житель Эфеса, который сжёг храм Артемиды в своём родном городе 21 июля 356 до н. э. для того, чтобы, как он сознался во время пытки, его имя помнили потомки. Прим. авт.*) Я имел в виду твоё рождение как личности, способной на поступок, достойной внесения в летописи. Разумеется, мне было не трудно заставить коня сбрасывать с себя всех седоков и подчиниться только тебе. Гораздо сложнее убедить юного упрямец-царевича публично заявить свои претензии на исключительность. Признайся, Александр, ты ведь боялся тогда не столько ярости необъезженного жеребца, сколько позора провала после бахвальства перед лицом отца, его приближёнными и своими юными друзьями?

— А кто бы не боялся? — Царь завозился под накидками, пытаясь занять наименее болезненную позу. — Буцефал сбросил с себя опытных наездников. Вспоминая всё позднее, я ломал голову, как тебе удалось тогда вселить в меня уверенность в успехе, и почему Буцефал подо мной ни разу даже не взбрыкнул. А мой друг Филипп, когда я пытался обсудить с ним это, смотрел на меня с недоумением, явно не понимая, о чём речь, и за какой подарок я его благодарю. В конце концов объяснение пришло само: великий Зевс, которого мать часто называла моим настоящим отцом, в облике Филиппа принял участие в судьбе своего сына. Ты подарил мне кинжал, и с той поры, как я понял, кто даритель, он всегда со мной. Даже когда сплю, твой подарок лежит у меня под подушкой.

— Что ж, Александр, можешь считать меня Зевсом, если хочешь. Только никогда не расставайся с кинжалом. Это не простой клинок, а своеобразный маяк, по которому я всегда найду тебя, где бы ты ни находился. Мир очень велик. Даже твой мудрейший учитель Аристотель вряд ли представляет, насколько он велик. Тебе самому вскоре предстоит в этом убедиться. Конечно, я найду тебя и без кинжала, но это займёт много времени. Я могу опоздать, когда тебе в следующий раз понадобится моя помощь.

— Я понял. Но ты не ответил, как мне обращаться к тебе? Скажи, какому богу мне приносить жертвы? Хочешь стать главным божеством моего царства?

— Зови, как и прежде, Филиппом. Эти имя и внешность меня устраивают. — Лекарь встал, подбросил в очаг пару поленьев. — Сейчас, Александр, мне безразлично, каким богам ты приносишь жертвы. Чем больше этих богов, тем лучше. Ты должен брать у покорённых народов не только золото и рабов, но и богов, обычаи, моды. Надо не отвергать чужое, навязывая повсюду своё, а впитывать, делать общим. Если ты будешь с уважением относиться к чужой культуре, стараться понять её и принять, бывшие враги вскоре станут твоими друзьями. Они постараются в свою очередь понять тебя и твою культуру. И, в конце концов, у вас будут общие боги, общие законы, общая культура, единое государство, а не сборище постоянно бунтующих провинций. Исчезнут многие поводы для ненависти, заговоров, интриг и мятежей. Твоя армия будет расти, а не дробиться на охранно-карательные отряды. Всё это значительно ускорит достижение нашей цели и увеличит твою славу.

У одного из народов, что тебе предстоит покорить, есть сказка.

«Два человека решили переселиться, вместе двинулись в путь и вскоре прибыли в чужую страну. Один из них рассудил так: сначала на-

до будет научиться говорить на языке здешних жителей. Так он и сделал. А второй был таким гордецом, что презирал язык простого народа и не пожелал учиться. Он говорил только на языке придворных и знати. А страной правили чужеземные захватчики.

Спустя несколько лет оба переселенца остановились в какой-то деревне, а тамошние жители вдруг восстали и перебили иноземных порабитителей. Переселенцы жили в разных домах. Восставшие схватили их и стали допрашивать порознь. Тот, что хорошо говорил на местном народном языке, дал ясный ответ, и его отпустили восвояси. А второй переселенец отвечал на языке ненавистных правителей, вот разгневанные жители и отрубили ему голову».

Армия персов по количеству воинов во много раз превосходит твою, Александр. Но состоит она из наёмников и разноплеменных отрядов. Как и их держава, сшитая из отдельных лоскутков покорённых народов, ненавидящих порабитителей. Именно эта ненависть к власти является залогом твоего успеха в войне. Единственный серьёзный противник, противостоящий тебе, — греческие наёмники под командованием родосца Мемнона. Эти будут воевать всерьёз. Попытайся склонить их на свою сторону.

— Ни за что! Коринфский конгресс запрещает грекам и македонянам служить в персидской армии. Никаких договоров с предателями!

— Тогда постарайся как можно скорее убрать Мемнона. Он очень умён и талантлив как полководец. Впрочем, дела мы подробно обсудим, когда ты встанешь на ноги, оправившись от болезни.

— Я сделаю, как ты советуешь, ... Филипп. — Принятое лекарство наконец остудило вспухшие болью почки, и Александр с облегчением, впервые за несколько дней, распрямился и лёг на спину. — Все твои предсказания всегда сбываются. Чтобы облегчить наши встречи, я сниму слежку с настоящего Филиппа и ещё больше приближу его к себе.

— Вот эта склянка с порошком поможет тебе скорее встать на ноги и возвысить твоего друга. Пусть Филипп разделит порошок на восемь частей. Ты будешь пить его растворённым в тёплой воде или свежесжатом соке три раза в день. Сегодняшнюю первую порцию ты уже выпил из моих рук. Месяц не будешь есть кислую, солёную или острую пищу. Никакого вина, никаких женщин, только полный покой. Месяц потерпишь, здоровье вернётся к тебе, и твой друг станет спасителем царя.

— Ты же знаешь, Филипп, я никогда не был привередлив в еде и не являюсь любителем вина или женщин.

— Неужели? Вспомни Фаселиду*, где ты, пьяный, в сопровождении весёлой компании шлялся по улицам, пугая жителей. (* Фаселида — город в Ликии. Прим. авт.)

— Да, я был весел, но вовсе не пьян! И потом: разве не ты провозгласил тогда тост в память о Теодекте*, а затем предложил пойти и возложить венки к подножию его памятника? (* Теодект — ученик Исократы и Платона, родом из Фаселиды, оратор и трагический поэт. Прим. авт.) Впрочем, ты никогда не учил меня развлечениям. Так то был настоящий Филипп? Как же мне различать вас?

— Сегодня, Александр, благодаря моему лекарству, ты родился ещё раз. Прими ко дню рождения подарок, столь же важный, как и предыдущий. Носи этот перстень, не снимая. Когда рядом с тобой буду я, камень сменит цвет и станет таким, как сейчас.

— Стой, Филипп, нам необходимо поговорить.

— Парменион? Что случилось?

— Вообще-то мы оба знаем, что настоящие Парменион и Филипп сейчас отсыплются после многодневной пьянки по случаю выздоровления царя. Не спешите убежать, профессор, я хочу только поговорить.

— Хроник или безопасность?

— Или. Агент спецгруппы хронобезопасности Константин Шеев. А вас как называть?

— Филипп, конечно.

— К чему эти игры в таинственность, профессор? Я не Александр.

— Не тяните время, агент, это вам ничего не даст. Проследить мой хронолуч можно только до стен института, далее ваша аппаратура бессильна. Вы назвали меня профессором. А вдруг я студент-практикант или лаборантка?

— Действительно, не будем тянуть время и играть в кошки-мышки. Я буду с вами откровенен, надеясь на взаимность. Нам известно, что вы один из двух профессоров института, тайно разработавших технологию перемещения живых организмов во времени, грубо говоря, создавших действующую «машину времени». Лично мне всё равно, кто вы: Алексей Тимошкин или Всеслав Логвинов. Меня интересует технология.

— Вот как? А наши с коллегой цели службу безопасности уже не интересуют, агент Шеев?

— Интересуют, конечно. Но лично меня сейчас больше волнует ваше открытие. Я действую в данный момент скорее как частное лицо, а не служебное.

— Ясно. Вы знаете, кто мы, но ловите дублёров. Значит, мы уже ушли в прошлое и вам недоступны. Как служба вышла на меня?

— Через вашего напарника.

— Печально. Вы нашли моего коллегу, узнали у него, где искать меня, но это, видимо, единственное, что вы знаете. Раз службе неизвестно даже кто из нас, как говорить, ху, моего напарника ожидает незавидная участь. Вы постарались или...?

— Или.

— Не важно. Возможно, вы говорите правду. Однако не советую мешать мне. Если служба попытается нарушить мои планы, я достану вас везде.

— К чему эти угрозы, профессор? Вы любите сказки. Я тоже могу рассказать одну.

«Как-то раз оленю захотелось пить, и он подошёл к роднику. А родник тот был в глубокой яме. Напился олень воды, хотел было выбраться из ямы и не смог. Поблизости стояла лиса.

— Э, брат! — сказала она оленю. — Неладно ты поступил! Прежде чем прыгать в яму, надо тебе было узнать — можно ли из неё выбраться!»

Ваш коллега не смог выбраться из ямы Критского Лабиринта. Вы объявляете войну нашему миру, а не службе. Почему? Ваше открытие...

— Моё открытие уйдёт вместе со мной. Как в сказке:

«Как-то раз один человек сказал другому:

— Ты отправляешься в дальнюю дорогу. Подари-ка ты мне своё кольцо, а я буду носить его, не снимая с пальца. Погляжу на кольцо и сразу о тебе вспомню!

— Если ты хочешь меня помнить, — отозвался другой, — смотри на свой палец. Как посмотришь, сразу вспомнишь, что, дескать, просил у такого-то человека кольцо, а он не дал».

Забудьте о моём открытии и обо мне, если хотите дожить оставшееся вашему миру время спокойно. Задумайтесь над собственной сказкой, прежде чем встать у меня на пути. Это я вам как частному лицу говорю. Но можете передать мои слова и своему начальству, если хотите.

5. ОЛЬГА

— Кто позволил тебе вступить с ним в прямой контакт? Вновь возомнил себя диким хроником? Ты не от себя работаешь, агент Шеев.

Да ещё выложил этому маньяку все наши карты! Сказочник! Тимур, а ты-то куда смотрел? Почему не помешал?

— Успокойся, Афина, пока ничего страшного не случилось. А ты, Костя, действительно, отмочил! Зачем полез на рожон? Мы же договорились: пока только наблюдаем за ЛжеФилиппом, выясняем его планы. Нельзя же, не зная броду...

— Какие планы, Тимур? Что выяснять? Он уже действует, меняет прошлое. Вы что, не поняли? Афина, Александр должен был умереть от острого воспаления почек в этой чёртовой Киликии почти в самом начале своего похода. ЛжеФилипп уже изменил историю нашего мира! И не ругай Тимура: даже прерви он мой контакт с ЛжеФилиппом, тот всё равно понял бы, кто я, и сделал соответствующие выводы. Нам необходима технология «живого» путешествия во времени. Почему бы не попытаться договориться полюбовно?

— Потому что с террористами не договариваются! Если бы профессора хотели с нами поделиться своими открытиями, они не сбежали бы в прошлое. Или, по крайней мере, не уничтожили бы все свои научные дневники и записи. Ты знаешь наши правила, Константин. ЛжеФилипп далеко не подросток-хроник, решивший немного пошалить в прошлом. Он действует обдуманно, решительно реализуя свой план, о котором мы до сих пор ничего конкретно не знаем. Что мне теперь докладывать начальству? У нас нет ни времени, ни возможности отследить всю жизнь Александра, день за днём, чтобы засечь все его встречи с ЛжеФилиппом, выяснить их планы и цели и принять соответствующие меры. Заметь: теперь нет. После твоего необдуманного поступка. Я даже не хочу думать, какое решение примет начальство в отношении твоей дальнейшей судьбы, а может, и всей нашей группы.

— Не всё так трагично, Афина. Конечно, Костя поступил глупо, но, как ты сама сказала, ЛжеФилипп действует обдуманно, а потому наверняка изначально учитывает возможность нашего вмешательства. Согласен, сейчас контакт был преждевременен, но он всё равно необходим. Вот только, зачем было спешить, Костя?

— Мне очень нужна эта технология. Просто позарез! Когда цель близка, и кажется, протяни руку, и приз твой, но время идёт, и только кончики твоих пальцев едва касаются вождя, разум отступает, и тело из последних сил делает рывок вперёд...

Прости, Афина, я виноват, не смог удержаться. Мне казалось тогда (хоть сейчас я понимаю, что это был самообман), если прямо поговорить с ЛжеФилиппом... Если он ушёл в прошлое, почему не подарить эту возможность другим? Откуда мне было знать о его ненависти к на-

шему миру? Не знаю, что явилось причиной того, что ЛжеФилипп попытается изменить судьбу. Я тоже пытался, но у меня ничего не вышло. Я расскажу вам...

Её звали Оля. Ольга Петрова. Все школьные годы, с первого дня, Ольга царствовала в нашем классе. Только я почему-то избегал общения с нею, презрительно кривился в её сторону, постоянно демонстрировал враждебность. Никто, и я сам в первую очередь, не мог объяснить причины моей неприязни.

Наш класс почти в полном составе каждый год собирался у неё дома в день её рождения. Делились радостями, обсуждали проблемы. Это была пятая встреча после окончания школы и первая для меня. После пяти лет разлуки. Собрались только бывшие одноклассники: жены, мужья и дети допускались всегда только в виде фотографий. На Ольгиных родителей данное правило, естественно, не распространялось. Отец встречал гостей, а мать сновала меж кухней и гостиной, меняя тарелки с бутербродами, разнося вазочки с фруктами и пирожными, разливая по чашечкам чай, кофе или компоты собственного изготовления. Так уж сложилось и стало традицией.

Зачем я пошёл туда? Не знаю. Ольга всегда присылала мне приглашение. Я регулярно и демонстративно на виду у всего класса рвал эти раскрашенные, написанные по старинке от руки кусочки картона. И, конечно, не ходил. Первое, после окончания школы, приглашение я воспринял как издевательство и порвал перед зеркалом — других зрителей не было, а традиции надо соблюдать. Из-за второго поссорился с женой. Третье и четвёртое постигла обычная судьба. А пятое почему-то ждал. Буквально считал дни. Не мог понять, что со мной, весь издёргался. И вот, когда раздражённая беспричинной ссорой со мной жена с ядовитым комментарием хотела разорвать вынутую из почтового конверта открытку, я неожиданно вырвал у неё из рук этот кусочек прошлого, осознав, наконец, причину своего томления. Читая давно знакомые строки, написанные всё тем же по-детски округлым почерком, я сразу успокоился. Как заблудившийся, перед которым появился знакомый ориентир.

И вот я у неё дома. Впервые. Сенсация! Все ребята и девчонки просто обалдели. А она ничуть не удивилась: «Я знала, что когда-нибудь ты обязательно придёшь. Сегодня мы будем неразлучны. Этот день — наш».

И этот день действительно был наш. Мы почти не общались с другими. Сначала окружающие ждали от меня какой-нибудь гадости. Ребята держались поблизости, чтобы сразу вмешаться в случае чего и за-

щитить свою королеву. Вот только королева была уже не их, и тревога Ольгиных родителей приобрела иной оттенок. Окружающее веселье стало принимать несколько натужный характер. Шутки в наш с Ольгой адрес становились всё ядовитее, а остроты — двусмысленнее. Наконец, ближайшая подруга Ольги громко прочла стихи Эдуарда Асадова, русского поэта середины двадцатого века. Там были такие строки:

«Ей было двенадцать, тринадцать ему.
Им бы дружить всегда.
Но люди понять не могли, почему
Такая у них вражда?!

Ей было пятнадцать, шестнадцать ему,
Но он не менялся никак,
И все уже знали давно, почему
Он ей не сосед, а враг.

А если праздник приходит в дом,
Она нет-нет и шепнёт за столом:
— Ах, как это славно, право, что он
К нам в гости не приглашён!»

И вот, однажды, она видит, как он провожает домой другую.

«Всё ясно, всё ясно! Так вот ты какой?
Значит, встречаешься с ней?!
С какой-то фитюлькой, пустой, дрянной!
Не смей! Ты слышишь? Не смей!

Даже не спрашивай почему! —
Сердито шагнула ближе
И вдруг, заплавав, прижалась к нему:
— Мой! Не отдам, не отдам никому!
Как я тебя ненавижу!»

Вокруг засмеялись, а Ольга обняла меня и поцеловала.
— Да, мой, не отдам никому.
И все замолчали.
— Оля, что ты делаешь? — Кинулась к нам её мать.
— Люблю. Всю жизнь люблю. Ты же знаешь, мама.

- Костя, у вас же семья, дочь...
- Я тоже люблю, не мешайте нам, пожалуйста.

И мы ушли. Была чуждая ночь. А потом наступило утро. Жена уже всё знала. Всегда находятся «добрые люди». Они избавили меня от объяснений. Лгать я не собирался. В то время я был убеждён, что нельзя жертвовать счастьем ради «сохранения семьи».

Как оказалось, у Ольги был свой вариант. Она покончила с собой почти сразу, как я ушёл. В прощальном письме Ольга объясняла свой поступок тем, что счастье не может быть вечным. В дальнейшем нас ждёт только постепенное его убивание. Тайные встречи? Отпадают, да и какая уж теперь тайна? Ворованное счастье недолговечно. Развод, склоки с бывшей женой? А моя дочь? Встречи с ней по расписанию, постепенно переходящие из минут горькой радости в обязанность и отчуждение. Совместный быт, наконец, о который разбилось немало семейных лодок.

Она знала мои планы. Я уходил «за вещами», чтобы, вернувшись, никогда больше с ней не расставаться. Ольга не стала со мной спорить. Она решила уйти из жизни счастливой. Это был её выбор, я же должен был сделать свой сам.

Жена и друзья покинули меня. Я остался один. Далее был жуткий период в моей жизни, о котором не хочется вспоминать. Он закончился, когда жена неожиданно вернулась ко мне и заставила пойти к врачу. Тогда-то и выяснилось, что кто-то в детстве с помощью гипноза сделал мне соответствующую установку в отношении Ольги!

Вот тогда я и стал хроником. Решил найти этого неизвестного «доброжелателя» или мстителя и спасти наше с Ольгой счастье.

Как вы знаете, нельзя нырнуть в прошлое ближе, чем на сто лет. Именно тогда стали внедрять технологию дублёров, и, чтобы оградить личную жизнь граждан от неуместного любопытства посторонних, было принято решение добавлять в строительные материалы и ткани одежды специальные добавки, разрушающие поля дублёров. Я искал моменты в собственной жизни, когда бы мой дублёр смог приблизиться ко мне и передать сообщение. Хотел изменить собственную жизнь, обмануть судьбу. Мне это не удалось. Зато удалось кому-то другому. Пока я не знаю, кто он, и как до меня добрался. Пока. Сейчас у меня появилась надежда.

— Костенька, мне жаль, но твоя надежда призрачна. ЛжеФилипп ясно дал понять, что делиться технологией не собирается. Сделанного

не вернёшь. Сейчас по крайней мере. Я постараюсь отстоять тебя перед начальством. Обещай только, что авантюры больше не будет.

— Спасибо, Афина, и не сомневайся: моя жизнь зависит от результатов нашей работы.

— Не только твоя. Мы все висим на волоске. Ладно, я иду докладывать, а вы думайте, как найти ЛжеФилиппа.

— Подожди, Афина, у меня появилась идея. Костя был свидетелем, как ЛжеФилипп подарил Александру перстень-индикатор своего присутствия. Что если нам подменить этот перстень своим, оборудованным передатчиком? Как только ЛжеФилипп приблизится к Александру, камень перстня изменит цвет, а нам придёт сигнал о контакте интересующих нас объектов.

— Мысль интересная, Тимур. Но вряд ли удастся вмонтировать в перстень достаточно мощный передатчик.

— И не надо! Год смерти Александра известен. Установим приёмник — ретранслятор где-нибудь чуть позже этой известной даты и будем отслеживать только его сигналы. Нам даже не нужно заниматься этим самим. Пусть поручат наблюдение за ретранслятором хоть практикантам. Мощность передатчика ретранслятора габаритами не лимитирована. Ретранслятор передаст лишь дату и время появления ЛжеФилиппа у Александра. Для тех, кто будет отслеживать или перехватит сигнал, эти данные ничего не значат, так что необходимая секретность будет соблюдена.

— Богатая идея! Молодец, Тимур! Ладно, мальчики, я — к начальству, а вы займитесь подготовкой необходимого оборудования.

6. АЛЕКСАНДР

— Здравствуйте, профессор!

— Это вы, агент Шеев?

— Конечно, я. Вряд ли Парменион обратился бы к вам по-русски. Что — не можете проникнуть к Александру?

— Ваши штучки?

— Разумеется! Вы объявили войну нашему миру, так что не обижайтесь. Ваш дублёр к Александру больше не приблизится.

— Как вам это удалось?

— Элементарно! Мы позволили Александру захватить вместе с сокровищами Дария некий предмет, разрушающий поля дублёров. Мы знали, что этот предмет понравится македонцу. Так и произошло. С тех пор царь с ним не расстаётся. Что это за предмет, я вам, разумеется,

не скажу. Если, конечно, вы не передумаете и не откроете мне свой секрет. Древняя формула: ты мне, я тебе!

— Ты пожалеешь, мальчишка, что встал у меня на пути! — прошипел ЛжеФилипп и исчез.

— Похоже, мы его здорово разозлили! — встревоженно сказала Афина Павлова, глава спецгруппы службы хронобезопасности Земли. — Каков, интересно, теперь будет его ответный ход?

— Тут всего два варианта, — спокойно ответил Тимур Боев. — Профессор либо откроет нам способ перемещения людей во времени, либо вынужден будет сам явиться к царю Александру, лично! Первый вариант маловероятен, так что нам нужно не упустить момент второго. Датчик в перстне царя нам теперь не поможет, так как он настроен на определение поля дублёра, а не конкретного человека. Что будем делать?

— Будем думать... — угрюмо пробурчал Костя Шеев.

Агент Боев без стука ворвался в кабинет Павловой.

— Афина, сработал датчик в перстне царя Александра! ЛжеФилипп вновь в игре!

— Как это возможно, Тимур? — откидываясь на спинку кресла, удивлённо спросила Павлова. — Ведь ни один дублёр не может приблизиться к царю! Садись, рассказывай: что произошло?

— Александр неожиданно для всех решил двинуться в поход на Индию. Он заявил, что войско из-за огромной добычи стало малоподвижным, а потому приказал погрузить захваченное имущество на повозки и сжечь! Заметь, Афина — не отправить под охраной в Вавилон или Грецию, а именно сжечь! Македонцы, конечно, роптали, но не осмелились открыто возражать царю. Видимо, в том огне сгорел и наш прибор, разрушающий поля дублёров.

— Как профессор смог это организовать?!

— Мы упустили одну возможность. Последнее время Александр получал много писем...

— Вот и вы, агент? Я вас ждал!

— Ждали, профессор? Зачем?

— Прежде скажите: вы — тот самый Константин Шеев или кто-то другой?

— Я — его напарник. Можете называть меня Тимуром.

— Жаль! Что ж, тогда вы, Тимур, передайте своему наглому другу, что я уже отомстил ему за все те неприятности, что вы мне доставили.

— Отомстили? Каким образом?

— Тем самым, которого он так жаждал. Я посетил вашего друга, когда он был ещё маленьким мальчиком и вложил бомбу в его разум. Ха-ха-ха!

— Так это были вы?!

— А-а! Вижу, вам уже известны последствия моей мести. Значит, она удалась!

— Вы — негодяй, профессор!

— Но-но! Выбирайте выражения, агент. А то, ведь, я могу посетить и вас в пору вашего беззаботного детства. Не забывайте: это вы встали у меня на пути! Вы вымогаете у меня моё изобретение. Да-да! Вымогаете! Я не обязан вам его дарить. Ваш друг сам в прошлый раз предложил формулу наших отношений: ты — мне, я — тебе! Так что всё честно: он мне неприятности, я — ему.

— Хорошо, профессор, оставим взаимные упрёки. Зачем вы меня ждали?

— Я ждал не вас. Но раз уж пришли вы, то запомните сами и передайте всем остальным: уйдите с моего пути, если не хотите получить что-нибудь вроде моего «подарка» агенту Шееву. Не мешайте мне!

— Скажите, хотя бы, чего вы добиваетесь?

— Александр Македонский выполнит до конца ту задачу, что я ему поставил. Он объединит все разрозненные, постоянно воюющие между собой царства и народы в одно государство, в единый народ. Только тогда наша Земля сможет избежать саморазрушения, расовых и религиозных войн, гибельных атомных бомбардировок...

— Вы безумны, профессор!

— Прощайте, агент. Надеюсь, мы больше никогда не встретимся.

— Итак, мальчики, начальство срочно требует наш отчёт по делу ЛжеФилиппа. Расскажите мне вкратце о произошедших за последнее время событиях. Как у нас обстоят дела в настоящий момент?

— Пашем, как трактор! Попеременно дежури́м с Тимуром, следя за датчиками и контролируя ситуацию вокруг Александра. Вот и все наши дела, Афина, если вкратце. Так и доложи!

— Ну, не надо, Константин, понимать меня столь буквально. Если я представлю подобный отчёт, начальство меня не поймёт. Поподробнее, пожалуйста!

— А если подробнее, то мы, конечно же, вновь нашли возможность подкинуть царю вместе с трофеями наши разрушители полей Дублёров. Пришлось создать целую сеть нашей агентуры в окружении царя. Мы подменили с помощью подкупленных служанок любимые вещи Александра, с которыми тот никогда не расстаётся: кинжал-маяк и перстень-индикатор, подаренные ЛжеФилиппом, а также свиток «Илиады» Гомера. Наш человек контролирует всю переписку царя, и мы перехватили и уничтожили уже несколько посланий-инструкций профессора. Мы, конечно, могли бы и сами влиять на действия Александра, подменив письма ЛжеФилиппа своими. Но перед нами пока никто не ставил такой задачи.

— И не поставит! — решительно сказала Афина. — Наша цель, Костя, — пресечь влияние ЛжеФилиппа на царя. Пусть история идёт своим ходом. Задача-максимум — захват самого профессора или, по крайней мере, получение от него секрета перемещения людей во времени. Что ещё я могу доложить начальству?

— Вроде, пока всё. — Пожал плечами Костя Шеев.

— Что-нибудь добавишь, Тимур? — Повернулась Павлова к Боеву.

— Да. Лишившись направляющей руки ЛжеФилиппа, Александр стал быстро меняться и совершать ошибки. Обычно, покорив какой-нибудь город или государство, он воздавал должное мужеству или предательству его властителей и жителей. Например, как вы помните, захватив гарем Дария, Александр сам не тронул и другим не позволил даже пальцем прикоснуться к матери, жене и двум дочерям персидского царя, причинить им хоть малейшую обиду. А ведь эти женщины славились своей красотой на всю Азию! Более того, Александр приказал воздавать семье Дария те же почести, которыми она пользовалась ранее, оставил ей всех её слуг и даже увеличил средства на её содержание!

Тимур вскочил на ноги и стал взволнованно ходить по кабинету Афины, порывисто взмахивая правой рукой, как бы отмечая этим знаки препинания и ударения в произносимых им фразах.

— Далее. Когда разбитого в решающем бою царя Дария предал и убил собственный приближённый, Александр нашёл и казнил предателя, а Дарию воздал царские почести. Подобным же образом Александр поступал и в дальнейшем. В том числе и в первых боях за Индию.

— Всё это мы знаем, Тимур. — Посмотрела на часы Афина. — Я уже опаздываю «на ковёр». Нельзя ли по-конкретнее?

— Подробности важны, Афина. Я хочу, чтобы ты ясно поняла всю свершившуюся с Александром метаморфозу и донесла её до начальства.

— Ну, хорошо. Продолжай.

— После того как мы окончательно лишили царя присмотра и советов ЛжеФилиппа, он стал груб с друзьями и раздражителен. Более того, царь стал совершать поступки, недостойные... даже позорные для него.

Пример. Один индийский отряд особенно упорно сопротивлялся войску Александра. Во время ожесточённой осады одного из городов, унёсшей особенно много жизней македонцев, Александр, наконец, заключил с этим отрядом мир, пообещав доблестным защитникам Индии жизнь и свободу. Но когда сложившие оружие индийские воины вышли из сданного города, царь приказал напасть на них и перебить всех до единого.

В то время многими индийскими царствами правили иноземные захватчики, поэтому войско Александра поначалу не испытывало особого сопротивления и даже находило союзников и помощников среди местного населения. После предательского истребления индийских патриотов, которого никогда бы не допустил ЛжеФилипп, вся Индия ополчилась против Александра. Встречая всё более жёсткое и упорное сопротивление, армия начала роптать. Воины решительно отказались переправляться через реку Ганг и идти вглубь Индии. Они уже вновь достаточно награбили добра и хотели вернуться с добычей домой. Самого-то Александра ждали по возвращении слава и дворцы, набитые сокровищами покорённых государств. А что было впереди у его воинов, кроме смерти, увечий и нищеты, если царь опять прикажет сжечь замедляющие ход армии повозки с трофеями?

Александр оказался в сложном положении. Армия и даже ближайшие друзья-македонцы не понимали замыслов царя и его целей. Идти вперёд с такой армией он не мог. Возвратиться назад — значит признать своё поражение и отказаться от великой цели завоевания всего мира и объединение его в единую державу. Царь не знал, на что решиться, а ЛжеФилиппа с его советами мы от него отсекали.

Кроме того, перед царём в полный рост встала ещё одна серьёзная проблема. Как мог Александр превратить свою огромную лоскутную империю в мощное государство, а населяющие её народы в единую нацию, если он не смог сплотить в монолит даже свою армию, по-прежнему состоящую из отдельных отрядов покорённых царств? Македонцы упорно не желали признавать других воинов себе равней, держались надменно и высокомерно. Судьба Дария замаячила перед мысленным взором Александра.

А тут ещё вдобавок ко всему неожиданно умер Буцефал, любимый конь царя.

Александр сначала разозлился, а потом затосковал. Он закрылся в своей палатке и никого не хотел видеть. Ближайшие его друзья сутками стояли у входа в палатку и уговаривали царя прекратить поход и вернуться на родину. А ЛжеФилипп так и не появлялся! Александр приказал изготовить несколько алтарей, принести на них жертвы и вознести молитвы. Он надеялся, что теперь-то его главный наставник услышит зов своего ученика и явится на помощь. Но, разумеется, и эти меры не помогли. Тогда царь приказал привести к нему местных мудрецов. Но что те могли посоветовать захватчику их родины? Наконец, один из этих мудрецов, Сфин, которого греки позднее прозвали Каланом за то, что тот приветствовал всех по-индийски словом «кале», публично дал царю наглядный совет. Он бросил перед Александром на землю хорошо высохшую и затвердевшую шкуру какого-то животного. Обходя вокруг шкуры, Калан наступал на её край, и вся она тут же приподнималась. Когда же мудрец наступил на центр шкуры, та осталась лежать неподвижно. Тем самым Калан наглядно продемонстрировал Александру простую истину: пока царь находится на окраинах своей империи, та неустойчива и подвержена всяческому колебаниям. Государство спокойно, когда его владыка находится в его середине. Разумеется, воинов такой совет устраивал полностью. Он давал им ещё один важнейший аргумент для прекращения похода и возвращения назад.

Александр сломался, но не смирился. Он решительно отказался возвращаться назад по собственным следам. Царь предложил построить множество плотов и гребных судов, спуститься на них по рекам Индии к Океану и вернуться на родину морем. Армия согласилась с решением царя, тем более, что плыть куда удобнее, чем топтать пешком. И вскоре огромная флотилия отправилась в плавание.

Сознавая, что он всё равно отступает, Александр упорно создавал иллюзию наступления. С горсткой своих личных телохранителей царь постоянно сходил с корабля и нападал на встречные города и поселения. В одной из таких стычек Александр едва не погиб. Его телохранители погибли в неравном бою, а тяжело раненого царя в последнюю минуту спасли подоспевшие македонцы. Жизнь Александра висела на волоске. Он ждал ЛжеФилиппа, но тот и теперь не появился.

Александр не был сказочным богатырём. Но он с раннего детства закалял свой организм, был крайне воздержан в пище и практически не пил вина. Царь говорил всем, что его воспитатель однажды дал ему

лучших поваров: для завтрака — ночной переход, а для обеда — скудный завтрак. Молодой, закалённый в походах организм царя справился с тяжёлыми ранами, но вот дух его был основательно подорван.

Из-за постоянных попыток царя превратить отступление в наступление, его тяжёлых ранений и лечения, армия плыла к Океану семь долгих месяцев. Но и там Александр не пожелал просто так вернуться назад. Отправив часть войска под управлением своего друга Нearchа с добычей на кораблях морем, сам он повёл армию по суше, по-прежнему желая даже отступая покорять новые царства и народы. Но земли эти оказались пустынными и безводными. Грабить тут было некого и нечего. Голод, болезни, жара и жажда погубили множество воинов Александра. Когда царь, наконец, добрался до границ своей империи, с ним осталась едва лишь четверть его армии. Это окончательно сломило Александра. Он впервые по-настоящему запил. И остановить в этом непрерывном, многодневном запое царя было некому.

Во всех концах огромной империи Александра Македонского скоро узнали о его тяжёлых ранениях и непрерывных кутежах, об огромных потерях в армии. Полководцы и сатрапы, посаженные царём на покорённые престолы, стали вести себя, как самовластные властители. Повсюду начали вспыхивать мятежи, и Александру пришлось подавлять их. С таким трудом созданная империя начала разваливаться, рассыпаться на автономные куски.

Александр жестоко карал изменников, щедро раздавал награды верным, закатывал пиры. Царь женился на дочери Дария Статире и ближайших друзей-македонян женил на самых красивых девушках Персии, несмотря на то, что он сам и его друзья уже были женаты. А ведь у греков не принято многожёнство! Это была последняя наивная попытка удержать расползающиеся земли и народы. Предсмертная судорога прежнего Александра. Величайший в истории Земли полководец быстро и окончательно переродился в обыкновенного восточного деспота: самовлюблённого, не терпящего возражений злобного тирана. Он стал подозрителен и суеверен без меры.

Александр отдалил от себя македонцев, не желавших отказываться от греческих обычаев. Его окружают теперь только персы. Царь требует, чтобы подчинённые и посетители падали перед ним ниц. И друзьям, и врагам Александр внушает отныне только одно чувство — страх. Царю повсюду мерещатся заговоры и покушения, и он сам живёт в постоянном страхе, который топит в вине и разврате.

Приведу тебе, Афина, пример одного из нынешних «великих деяний» Александра Македонского. На одном из пиров царь объявил со-

стяжание на умение пить. Больше всех выпил Промах и получил из рук Александра венок, ценою в талант. Через три дня мучений победитель скончался. Как и ещё сорок человек, не вынесших последствий попойки. Вот в каких «сражениях» гибнут отныне окружающие величайшего полководца люди!

— Что такое «талант»? — хмуро спросила Афина Павлова.

— Один талант в те времена равнялся почти двадцати шести килограммам золота.

— Ого! — присвистнул Костя Шеев.

— Подобный образ жизни доконал и Гефестиона, давнего любовника Александра. — продолжил Тимур. — Он заболел и умер. Александр распял врача и, чтобы развеять горе, напал на племя коссеев и перебил всех, способных носить оружие. Это зверство побутыльники царя назвали заупокойной жертвой в честь Гефестиона. Вот тебе ещё один «подвиг» Великого и Непобедимого!

— Хватит примеров, Тимур! — Не выдержала Афина. — Я уже поняла всю меру перерождения Александра. Каково положение дел сейчас?

— Военные раны и непрерывные попойки подорвали железное здоровье царя. На последнем пиру ему стало плохо. Почти две недели он в сильном жару и мучениях лежит в постели. Несколько врачей уже распято.

— А что с ЛжеФилиппом?

— Пока не появлялся. Теперь, когда охрана Александра полностью состоит из персов, нам не составило труда внедрить в неё своих людей. Одних мы подкупили, другим явились в виде богов или их посланцев. Мы показали этим людям портреты обоих профессоров-беглецов. Ведь дублёры к царю по-прежнему приблизиться не смогут, и ЛжеФилиппу придётся явиться к Александру лично. Если, конечно, он вновь попытается его спасти от неминуемой смерти!

Опознав профессора, наши агенты немедленно подадут нам сигнал. Кроме того, мы с их помощью для надёжности напичкали спальню Александра видеокамерами и сейчас непрерывно отслеживаем всё, что там происходит. Когда и если ЛжеФилипп появится рядом с Александром, мы его уже не упустим. Человек — не дублёр, исчезнуть не сможет!

— Ну что ж, мальчики, молодцы! Спасибо за подробный доклад, Тимур. Думаю, мне теперь есть, что доложить начальству.

7. ХИЛЕР

Царь резко оттолкнул руку рабыни, попытавшейся стереть салфеткой крупные капли пота с его багрового отёкшего лица и скривился от боли.

— Кто эти люди, Непарх? — Ткнул он зажатым в руке кубком в сторону абсолютно голых фигур, распростёртых ниц у дверей его спальни. — Зачем ты привёл их ко мне?

— Один из них — великий лекарь. Второй — великий мудрец и знаток многих языков. Я подобрал их в море, когда по твоему приказу, Александр, вёл домой наши корабли с добычей из Индии. Уже тогда мудрец просил меня представить его тебе, когда мы доберёмся до Персии. Но ты в то время был очень занят.

Александр залпом осушил кубок и бросил его виночерпию. Тот с ловкостью обезьяны поймал серебряный сосуд и мгновенно наполнил его неразбавленным вином* из бурдюка. (** Греки обычно разбавляли вино водой. Прим. авт.*)

— Почему они голые?

Царь, кряхтя и ругаясь, ворочался в мягких подушках на огромном ложе, пытаясь найти позу, причиняющую меньше страданий.

— Таков приказ начальника твоей охраны, Александр. Голому негде спрятать оружие, а содержимое котомок лекаря и мудреца мы проверили.

Царь, наконец, угнезвился и вновь протянул руку за кубком.

— Охрана! — презрительно скривился он, позволяя рабыне утереть с его лица пот. — А снадобья лекаря они тоже проверили? Вдруг это — яд?

— Я знаю этих людей более года...

— И что?! — взревел царь. — Вспомни Пармениона! Он был другом моего отца, моим ближайшим сподвижником в походе на Азию. Двое его сыновей погибли у нас на глазах в войне с Дарием. И всё же Парменион изменил и вступил в заговор против меня! Мне пришлось послать палача к нему и его последнему сыну...

Александр скривился, выронил кубок и застонал, извиваясь от боли на ложе из мягких персидских подушек. Наконец, приступ ослабел, и царь со вздохом облегчения распрямился.

— Мудрецы мне сейчас без надобности, — прохрипел он. — Гони его прочь! А вот лекарь пусть остаётся и немедленно приступает к делу. Надеюсь, Непарх, он знает, что его ждёт в случае неудачи?

— Да, царь. Он видел всех шестерых своих предшественников, распятых по твоему приказу.

— Прекрасно! Пусть начинает лечение. А второго гони! Не до него...

— Он тоже нужен здесь, Александр. Лекарь не знает нашего языка. Филипп будет вашим переводчиком.

— Хорошо, пусть остаётся! — раздражённо выкрикнул царь. — Но тогда он разделит и судьбу этого чудо-лекаря! Эй, вы, двое, вставайте и приступайте, наконец, к делу.

Две голые фигуры, одна по-гречески белая, другая по-индийски тёмная, поднялись с холодных камней пола и приблизились к царскому ложу.

— Великий царь, удали отсюда всех твоих слуг и гетер, — дрожащим не то от страха, не то от ярости голосом сказала белая. — Лекарю нужна полная тишина и покой, его нельзя ничем отвлекать во время твоего лечения. Прикажи охране никого не впускать сюда, пока мы не закончим.

— Что за наглость! Ты смеешь приказывать мне, царю?!

— Прости, о Великий. Но отсутствие посторонних совершенно необходимо для работы лекаря. Прошу тебя — удали всех.

— Что ж, ... как тебя?

— Филипп.

— Я не забуду твою наглость, Филипп. Уходите все! И ты, Неарх, тоже. Да-да, и ты. Чего мне бояться? Раз уж ты привёл сюда этих людей, значит, уверен в их благих намерениях, а не в стремлении убить меня. Или не уверен? То-то же! Распорядись там, чтобы сюда никого не впускали, пока лекарь не закончит. И пусть найдут палача! Он мне скоро понадобится...

— Афина! — Возник на экране Тимур Боев. — Скорее иди к нам.

— Неужели, ЛжеФилипп появился?

— Да. Это — профессор Тимошкин. Он уже в спальне Александра!

— Итак, Филипп, все ушли. Что дальше?

— Сними с себя всё, Александр. Лекарь должен тебя осмотреть. Боже, куда делись твои стальные мускулы? Что это за брюхо! Зачем ты отверг мои советы?

— Как ты смеешь говорить подобное, негодяй?! И когда это ты мне что-либо советовал?

— Не кричи, Александр, а то охрана вбежит и помешает твоему лечению. Я — Филипп. Тот самый, что когда-то навещал тебя в образе твоего друга-лекаря. Это я подарил тебе когда-то кинжал, кончик которого выглядывает из-под твоей подушки, и этот перстень на твоём пальце.

— Ты — тот самый Филипп? Что-то не верится. Тому Филиппу не требовался для наших встреч посредник в виде моего друга Нейрха, и камень в перстне не изменил свой цвет в твоём присутствии!

— Так ведь и я сейчас не похож на твоего друга-лекаря, не так ли? Зачем же камню менять цвет? Я помню каждое слово наших с тобой бесед, Александр. Это ли не лучшее доказательство? Можешь задать мне любой вопрос, и я отвечу. Но не лучше ли отложить все объяснения на потом? Пусть лекарь сначала сделает своё дело. Это сейчас гораздо важнее.

— Что ж, Филипп, на этот раз ты прав. Пусть лекарь делает свою работу, а я пока обдумую, какие вопросы тебе задать. Хотя самый первый из них я задаю **себе** уже давно: почему ты бросил меня? Теперь, наконец, я желаю получить на него ответ из **твоих** уст. Приступайте же, вы, оба! Один к лечению, другой к рассказу.

— Всё очень просто, Александр. У меня тоже есть враги. Довольно могущественные. Именно они препятствуют нашим с тобой встречам. Вот почему я вынужден был воспользоваться помощью твоего друга Нейрха, чтобы попасть сюда. Я пытался их отвлечь, пустив по весьма запутанному следу моего напарника, но они всё же как-то сумели... Давай отложим объяснения, Александр — наш разговор мешает лекарю.

— Но он же ничего не делает! Только водит вокруг меня руками. Хотя... Как ни странно, я уже совершенно не чувствую эту изнуряющую меня уже не первый день боль! Твой лекарь — маг?

— Это не обычный лекарь. Я нашёл его на далёком южном острове и хотел привести к тебе ещё в Индии, но так и не смог пробиться сквозь заслон моих и твоих врагов. Лекари на том острове видят людей насквозь. Им не нужны инструменты и снадобья. Они лечат руками. Сейчас пальцы лекаря войдут в твоё тело, как в воду, и очистят его от всего лишнего, что там накопилось за время твоего неумеренного пьянства и обжорства.

— Внутрь?!

— Не бойся, царь. Ты не почувствуешь боли.

— Не смей называть меня трусом! А боль меня мучит уже не один день. К тому же, если б я боялся её, то никогда не стал бы воином.

— Прости, Александр, я вовсе не хотел тебя оскорбить. Конечно, ты не трус и не неженка. Но кто из нас останется спокойным, видя, как чужие руки погружаются в наше тело и копаются в нём, как в воинской котомке? Я просто хотел тебя предупредить...

— Я понял. Что бормочет этот дикарь?

— Лекарь говорит, что в твоих почках, печени и других органах скопилось много камней и песка. Они разрывают тебя, пытаюсь выйти наружу. Если их не удалить немедленно, ты вскоре умрёшь в великих муках.

— Так пусть скорее приступает к чистке...

— Да, это — Алексей Тимошкин. Молодцы, мальчики! Как мы его возьмём?

— Не волнуйся, Афина! Всё учтено. Костя уже там...

— Александр, муж мой, с тобой всё в порядке? Почему охрана не пускает меня к тебе? — неожиданно раздался из-за приоткрытых дверей пронзительный женский голос.

— Роксана? — удивлённо откликнулся царь. — Что тебе надо? Что-нибудь с нашим ребёнком?

— Со мной всё в порядке. С ребёнком тоже. Он уже начал шевелиться в моём животике. Я хочу, чтобы ты это увидел.

— Я сейчас занят, дорогая. У меня врач. Я сам приду к тебе позже.

— Ты обманываешь меня! Изменник! Я знаю: с тобой сейчас эта противная Статира, а не врач!

— Что ты выдумываешь, Роксана? Успокойся, тебе вредно волноваться...

— Пустите меня! Убери свои грязные лапы, Непарх! Я войду и выкину эту персидскую шлюху из постели моего мужа! Прочь все! А ты кто такой? Что это? Кровь! На помощь! Охрана! Вашего царя потрошат, как овцу, а вы...

— Итак, всё кончено... — с горечью произнесла Афина.

— Да. — Уныло кивнул Костя Шеев. — Профессор Тимошкин мёртв. Охрана, ворвавшаяся в спальню на крик Роксаны, покрошила его и хилера на куски. Александр тоже мёртв. Когда воины попытались оттащить от царя, заколотого сразу несколькими мечами хилера, руки лекаря, сжавшиеся в смертной судороге, вырвали из тела Александра почку, которую он в тот момент чистил. Всё ж таки Александр был великим человеком! Даже умирая, он успел остановить охранников от убийства

Неарха, заявив, что тот ни в чём не виновен и действовал по его приказу.

— Значит, мы потеряли и профессора Тимошкина, и его открытие. Кого из вас назначить козлом отпущения? — Павлова выразительно посмотрела на Шеева.

— Кто ж знал, Афина, что так получится? — Пришёл на помощь другу Боев. — Мы просто хотели прервать контакт профессора с Александром, сыграв на ревности Роксаны. Ведь нашей задачей являлось в первую очередь именно это? Костя не мог знать, что этот лекарь — хилер, и что вместо каких-нибудь чудо-порошков он пустит в дело руки.

— Конечно, ты прав, Тимур. — Невесело улыбнулась Афина Павлова. — История должна идти своим путём, без вмешательства всяких фанатиков-идеалистов вроде Тимошкина или аморальных экспериментаторов типа Всеслава Логвинова, кончившего жизнь под маской Минотавра. И всё же, мальчики, я думаю, наше руководство уже привыкло к мысли, что мы раздобудем ему способ перемещения людей во времени. Мне придётся вскоре его разочаровать. А разочарованное начальство, как вы понимаете...

— Ничего! Переживут. Я же вот смирился...

— Ой, ли? Так уж, Костенька, и смирился? Что ж, посмотрим. Будущее покажет...



Ирина Столбова

Орёл

ОДИН ДЕНЬ ДОКТОРА

*Посвящается памяти Сизова Леонида
Васильевича*

Савелий Васильевич приходил на работу рано — он любил раннее вставание, дома никогда не завтракал и всегда был на работе уже в семь утра.

Вот и сегодня — без пяти семь был уже в своем ожоговом отделении.

Переодевшись в крахмальный халат, тщательно вымыв руки, отправился с обходом по отделению. Это был его, свой обход, когда не было еще начальства, молчали телефоны местные и городские, и во всем от-

делении стояла тишина, как некое затишье перед тяжелым будним днем ожогового отделения.

С маленьким блокнотиком и карандашом он — всегда делал свои пометки, он обошел почти все свои палаты, как вдруг в последней увидел такую картину: мать стояла над подростком, подвываящим от нестерпимой боли. Мальчишку привезли ранним утром, обжегся, перевернув на себя кастрюлю с кипящим отваром из трав. Бабушка таким образом хотела сделать ингаляцию простуженному внуку.

Савелий Васильевич приблизился, мягко сказал мальчишке: “Ну, дорогой, потерпи немножко! Дай я посмотрю” Мальчик затих, дал осмотреть себя. Живот и колени покрылись волдырями, готовыми лопнуть лишь от взгляда. Кожа вокруг ожогов была воспалена, стягивала раны. Мельком взглянув на мать, увидел бездонное горе в ее глазах. Сказал: «Пройдите в перевязочную, сейчас полечим Вашего мальчишка».

Уже на перевязке, Савелий Васильевич понял, что реабилитация будет длительной, узнал, что у мальчишки частичный парез левой стороны, да еще и психологические проблемы. И какое-то чувство сострадания согрело одинокое сердце доктора. Да еще мать ребенка смотрела на него, как на Бога.

Покончив с перевязкой, отправился делать назначение в карте мальчика: обезболивающие, на ночь — седативные препараты, чтобы мог ночью спать человек, ежедневные перевязки.

Был неравнодушен Савелий Васильевич к своим пациентам. Стремился облегчить боль от ожогов. У своего давнего друга, державшего пчел, брал прополис, сам готовил чудодейственную мазь, способную быстро залечивать раны после ожогов. Мазь готовилась строго по рецепту, вычитанному из одной старой умной книги, написанной тоже доктором. Здесь были и антибиотики, и смягчающие масла, и, конечно, прополис — ему Савелий Васильевич приписывал чудодейственные свойства более быстрого заживления ран.

Отделение оживало, хлопали двери, звонили все телефоны, персонал был занят своими делами: менялось белье, сестры ставили уколы, разносили таблетки, доктора, собравшись в ординаторской, пили чай на скорую руку, готовились кто к обходу, кто к операции.

Савелий Васильевич в такие минуты тихо сидел на своем месте. Его стол стоял у окна, и, попивая зеленый чай, доктор посматривал в окошко и видел суету и на больничном дворе: буфетчицы везли завтрак, кастелянши мешки с бельем, медсестры автоклавы с инструментами — областная больница жила своей обычной жизнью.

Вечерами домой идти ему не хотелось. Он подолгу засиживался в отделении, заполнял карточки на компьютере, и так как он только начал осваивать новое для него занятие, делал все медленно, основательно, чтоб не вкралась ошибка, влекущая в медицине иногда необратимые последствия. Но не это было главной причиной долгого пребывания доктора на работе. Не к кому ему было возвращаться.

Горячо любимая супруга его, Людмила Васильевна, вот уж как год прям сгорела на глазах от онкологии. Как и все врачи, они с женой не любили проверяться, болезнь дала о себе знать, когда уже было поздно. В квартире, где они жили довольно дружной семьей — они с женой и семья сына, его жена и сынишка, внучок Савелия Васильевича, вдруг все переменилось. После смерти матери, сын вдруг заскучал, нашел себе на стороне женщину и переехал к ней жить, оставив и отца, и сына, и жену. Невестка после этого события начала неприязненно относиться к Савелию Васильевичу, внучок, чувствуя настрой матери, также отдалился от деда, и ощущал себя Савелий Васильевич в собственной квартире ненужным, чужеродным элементом.

Приходил домой затемно, выпивал рюмку спирта, чтоб сразу забыться сном, не думать об ушедшей жене и бесприютности в собственном доме. Иногда замечал, что в кухне накурено, видел остатки небранного ужина на столе, рюмки из-под вина — к невестке заходили гости. Все это мало трогало Савелия Васильевича, дома он не питался, на кухню выходил чтоб налить воду в электрический чайник. Так и жил, и лишь работа была его отрадой, его любимым делом.

Однако сегодня он почему-то, сидя за компьютером, думал о мальчишке и его матери.

Маленькая худая, невзрачная, с лицом, покрытым ямками толи оспы, толи еще чего-то, она не привлекла бы его внимания, если бы не трепетное отношение к сыну, ее готовность находиться с ним рядом в любых условиях, даже сидя по ночам на стуле рядом со своим ребенком. И еще глаза — добрые, всё понимающие, участливые к людям, несмотря на тяготы своей собственной жизни.

Савелий Васильевич оторвался от заполнения карточек, пошел посмотреть на сегодняшнего пациента. Мать мальчишки сидела на стуле возле него, мальчишка дремал после успокаивающего укола, мать неотрывно смотрела на сына. «Да ведь ночь уж почти! — подумал Савелий Васильевич. — Надо найти пристанище матери». Он прошелся по отделению, присмотрел кушетку, незанятую больными, при помощи нянечки принес в палату, и увидел благодарные глаза женщины, и впервые за этот долгий, мучительный год одиночества, ему вдруг стало теп-

ло на душе и как-то спокойно. Улыбаясь, он прошел в ординаторскую, достал из шкафа подушку, одеяло, и с наслаждением растянулся на диване — сегодня была ночь его дежурства по отделению.

Мечта

Он всегда ощущал свою обособленность. Нет, не особенность — это было бы слишком категорично для него, а именно — обособленность. Он рос в семье, где уважение друг к другу ставилось во главу человеческих ценностей, где даже к маленькому ребенку с раннего детства относились с уважением. И, тем не менее, было что-то в его душе, что постоянно давало чувствовать эту обособленность. Спокойный характер и серьезный взгляд позволяли ему даже в школьные годы избегать насмешек — он был мал ростом, но многие относились к нему толерантно — он имел веселый нрав и мог рассмешить даже стацию. В начальной школе отец подарил ему первую в его жизни камеру — не такой уж и простой фотоаппарат, и существование наполнилось новым содержанием: он полюбил снимать. Люди, животные, природа, какие-то сценки из повседневности — всё приносило ему радость, она просто светилась на его лице. Он научился находить интересные ракурсы, и время, когда на фотографиях проступали отснятые им сюжеты, было необыкновенно счастливым для него. Настоящие люди имели место в его жизни, но фото всегда были значительней для него. Рассматривая снимки, он понимал, что предается мечтам, каким-то приятным фантазиям, и жизнь наполнялась радостью и удовлетворением.

После школы судьба перенесла его в другой город. Подавая документы в канцелярии, он увидел девушку — она была хрупкой, миниатюрной, под стать ему. Заглянув ей в глаза, он вдруг понял, что жизнь, которая казалась всегда ему удивительной, не будет уж прежней. Он влюбился. Он заговорил с ней, рассмешил, и увидел, как маленькая родинка над правой бровкой задорно взлетела вверх — девушка сначала удивилась, потом весело рассмеялась. При зачислении они оказались вместе на курсе. Девушка, казалось, не замечала его, часто он видел озабоченность на ее лице, задумчивость, а иногда на лекциях, тайком наблюдая за ней, он вдруг поражался отстраненному, мечтательному взгляду и ему казалось, что она также обособлена, как и он. Делая робкие попытки ухаживать — будь то букетик скромных ромашек, или небольшой сувенир, он всегда с удивлением замечал, как мало он значит в ее жизни: глаза не вспыхивали радостью, а та медлительность с которой все же принимались маленькие знаки внимания, наводили на

мысль о раздумьях — а сто́ит ли их вообще дарить? Он огорчился этому, но наивно верил, что может все изменится к лучшему в какой-то момент.

Как-то их курс послали на уборку картофеля, как было принято в те годы, и ему удалось оказаться с ней рядом на поле. Несколько раз он рассмешил её, рассказывая с совершенно серьезным видом анекдоты, которых знал множество, и ему показалось, что у нее промелькнул интерес — задорная родинка над правой бровью взметнулась в удивлении, расположении к нему и, быть может, радости. Несколько незабываемых дней они провели вместе. Гуляли вечерами по деревне, он рассказывал о своем увлечении фотографией, смешил ее, но также замечал, как мало она говорит о себе, как некая отстраненность присутствует в их беседах.

Подшло время диплома. Ему казалось, что уже всё решено, что сделав предложение, он непременно получит единственно-важный для него ответ, что познакомившись с ее родителями, которым он понравился, он как бы закрепил за собою любовь девушки. Неожиданные и неотложные семейные обстоятельства заставили его на короткое время уехать в родной город, а по возвращении он понял, как что-то неуловимо изменилось в их отношениях: случайно он узнал от сокурсников, что его любовь выходит замуж.

Ошеломление, удивление, необыкновенное горе наполнило его душу. Защитив диплом, он уехал в родной город и тщетно пытался забыть свою первую любовь. Шли годы, он работал, пользовался уважением коллег, внешне был весел, раскован, казалось, доволен жизнью. Он продолжал увлекаться фотографией, и на смену обычной камере пришла цифровая, и не нужно уже было корпеть над снимками — прогресс шагнул далеко и можно было получать фото, всего лишь распечатав их на принтере. Он был женат, и двое замечательных ребятишек несказанно радовали и украшали его жизнь, но память о той девушке постоянно присутствовала в его душе. Воспоминания немного стерлись, как очертание профиля на старинных монетах, но это важно было для него, и тут он чувствовал свою обособленность от мира.

Пролетела бóльшая часть его жизни, и он давно уже жил в другой стране, считал себя счастливым, состоявшимся человеком. Изредка до него доходили весточки о той девушке и тайная мечта, что узнав, каких высот он достиг, заставит пожалеть ее о несбывшихся для него событиях.

Как то, просматривая социальные сети, он прочитал короткое послание от нее, и радостно забилося и всколыхнулось его сердечко. Они стали писать друг другу и договорились о встрече.

Она прилетела к нему, и он с необыкновенной жалостью вдруг увидел свою мечту: низенькая полная старушка пробиралась к нему через потоки людей в аэропорту. Молча он ждал, когда она подойдет к нему, подал ей руку и взял чемодан. Она прилетела всего лишь на день, в той стране у нее были близкие родственники, и лишь проездом навестила она его. Он отвез ее к себе домой, и они много говорили, и, казалось, теплой была их беседа, но он вдруг понял, что мечта и жизнь — это разные вещи. Он понял, что любил просто образ, созданный его воображением, а жизнь жестока и неумолима в своем течении. И нет уж той задорной родинки над правой бровью, а лишь тяжелая бородавка уродует лоб, что нет той любимой девушки: сидит перед ним усталая и не совсем здоровая женщина, с давлением, одышкой и отеками ногами. И горько стало ему от того, что уважая свою обособленность, лелея свою мечту он, может быть, упустил что-то главное в своей жизни, не разглядел свое мужское счастье, которое могла бы ему подарить какая-то другая, земная женщина, а не достигнутая, и теперь уж совсем ненужная, мечта.

Рассказ о проведенном дне

Сегодня, 18 октября, у меня день Рождения. Непонятная цифра с нулем. Встала пораньше.

Села в маршрутку и уже еду за город. Посмотреть новое и, как говорят, очень красивое место — Вятский посад. Народу мало. Утро, все едут в обратную сторону. А я в ту, куда мне хочется. Погода отличная. Осень тихая. Медь и золото листьев. Их медленное кружение. Солнце ласковое — последняя щедрость перед долгой зимой. Брожу одна — осторожно, неторопливо, мне пока нѣкуда спешить. Но и силы терять не стоит.

Вспоминаю себя в этот день в прошлом году. Надежда, отчаянье, тревога, любовь, тоска. Радость, счастье, понимание.

Гляжусь в лицо

Тоска, любовь

Всех граней мира отраженье

Мечта, надежда и покой

Но как остановить мгновенье?

А нужно ли останавливать? Снова прописная истина — всему свое время.

Далекое счастливое. Прошлогоднее. Сейчас покой и желание здоровья. Это главное. Недаром говорят — было бы здоровье...

Иду по чудному парку — ровные аллеи, усыпанные листьями. Вдалеке купальный домик. Толпится небольшая кучка людей. Здесь есть купель — небольшая емкость с водой ледяной, очевидно, святой. Народ прыгает почти голышом... И остается жив здоров. Многие кричат, что это бодрит, это изумительно! Некоторое время стою поодаль, наблюдаю. Не хочу прыгать в холод!

Иду дальше. Захожу в Храм — не такой уж он и маленький. Небольшое, но уютное помещение. Конец службы. Покупаю свечи и пишу записку о здравии родных и близких. Близкие не обязательно могут быть родными. Тихое пение хора умиляет и наполняет душу. Чем? Этого не передать словами. Это чувствует каждый по-своему. Какое-то время стою в оцепенении. Слушаю в себе благодать. Но служба закончена, уж гасят свечи. Незаметно фотографирую изумительную картину, или икону какого-то святого, вырезанную из цельного дуба. Это гениально! Но пора на воздух. Вновь погружаюсь в красоту осеннего дня.

На аллеях — лавочки. Красивые, кованые. Ничего лишнего. Присаживаюсь на нагретые солнышком дощечки. Закрываю глаза. Еще слышны в душе пения и молитвы людей, они беззвучны, у каждого свои, но все просят о чем-то, и состояние намоленности, страстного желания какое-то время остаются как легкий след грусти, печали, а может, и радости. С удовольствием подставляю лицо солнышку. Легкий ветерок прохладный, приятный. Сколько просидела — не знаю. Нарушила покой семейка с детьми: кричащими и что-то требующими от родителей, немолодой и усталой пары. А может, это внуки их. Пришлось встать и уйти. Красота и тишина осени несовместимы с криками.

Складываю в букет осенние листья-маленькие и большие. Вокруг березы россыпь золотых монет. Они плотным ковром устилают землю вокруг, прикрывают наготу земли. Роскошные листья клена — большие, разлапистые. Словно говорят: «Мы хозяйева этого осеннего дня». Можно сплести венок, наших стебельков хватит для этого. Включаю в свой букет и клен. Бегу в конец аллеи и на бегу развешиваю листья — выпускаю из рук. Ветер подхватывает мой дар, кружит и роняет наземь.

Недалеко стоит еловый лес. Елочкам все равно — лето ли, осень, зима. Но принарядились — прикрылись кое-где листьями опавшими, как нарядным сарафанчиком. Красиво. Желтое — на зеленом. Очевидно, есть где-то и грибы. Но я не хочу никакой охоты сегодня. Это мой

день, в который я родилась и мне хочется прочувствовать это. Насладиться тишиной и природой.

Замечаю в отдалении несколько красивых домиков, один из них трапезная. Вкусно пахнет едой. Пища обыкновенная: щи, каша, компот. Нет — пожалуй, это слишком простая еда для моего настроения. Но все равно кладу монетку в прибитый на стене красивый ящичек-благодарность за еду.

Снова гуляю по аллеям — выверенным, красивым, с художественно подобранной плиткой. Но постепенно склоняется солнышко к закату. Вижу маршрутку, ожидающую на площадке. Бегу. Вскликаю на ходу. Впереди дом и привычные дела. А вечером — ресторан...

Часть II.

Ресторан «Лабиринт». Красиво внутри. Сначала — зал кафетерия. Барная стойка, столики, панели стен — все в едином стиле темного, но теплого тона, дерева. Замечательные светильники разного размера, но также в одном стиле: бронза и плетение, неяркий, приглушенный свет. Далее — зал для малышни, со столиками, раскраскам, все стильно, чувствуется заботливый дизайнер, имеющий маленьких детей. В уголке — гардероб. Приветливая служащая забирает куртку. С номерком в кулачке спускаюсь в зал ресторана. Очень красиво. Несколько минут рассматриваю интерьер. Выполнено с большим вкусом: круглые столики, накрытые к ужину, скатерти, салфетки, тарелки, бокалы, серебряные вилки, светильники, картины, настольные лампы, тихая приятная музыка.

Присаживаемся в уютном уголке. Приносят меню. Типографское, на плотном разрисованном картоне. Заказываем, разговариваем. Хочется сделать фото, но, к сожалению, телефон разряжен. Грустно. На мне кофточка, которая сидит изумительно. Я в новых духах и прическе. Приносят какую-то замысловатую еду: салаты, нарезки, горячее. Открывают шампанское. Холодное с пузырьками. Замечательно.

Но вдруг появляется Дитя. И очарование вечера сломано: вновь приходится вникать в его университетские новости, слушать только его, опасаться, как — бы не расстроился и не разволновался...

Приходим домой уж темной ночью...

Два дня в колхозе

1

Сентябрь. Прихожу в свой родной ВУЗ ОФ ВЗМИ, что на Октябрьской, 12. Предвкушаю встречу с однокурсниками, разговоры, обмен но-

востями. Тут же узнаю две новости: наша сокурсница вдруг неожиданно бросила институт и уехала жить в деревню, в Бахчисарайский район, к мужу! Для меня это ошеломляюще: учеба, общение, вечера зарубежной музыки, всевозможные «капустники» — бурная студенческая жизнь брошена ради непонятно чего! Замужество! Да кому оно нужно в 19 лет! Но, как говорится, не зарекайся! Вторая новость — 2 сентября отправляемся в колхоз — на уборку картошечки, и так как мы уже не первый курс, пожалуйста — до ноября!

Тоже неплохо! Радостно бегу домой собирать вещи: фуфаечка новая, утепленные брючки, сапожки, кеды, пара свитеров, косметика — обязательно! К вечеру рюкзак готов. Заходит Рита, идем на свой любимый пустырь за 34-ой школой, там две перевернутые бочки — отличное место для посиделок и девчоночьих секретов. Она не едет с нами, уезжает на соревнования, она легкоатлетка-барьеристка, да еще парень с истфака не дает ей проходу, под машину кидается, требует ЗАГС!

— И ты туда же! — восклицаю горестно!

— Может, еще и институт бросишь?

Рита заверяет меня, что будет учиться, ни за что не бросит. Голос звучит как-то неубедительно. Догадка пронзает меня!

— Ритка! Да ты беременна?

Она грустно кивает головой, спрашивает:

— Может, аборт?

Я ошеломлена второй раз за сегодняшний день! Все происходит так быстро. Я только приехала из Севастополя, мы не виделись 3-4 недели и такие новости просто сбивают меня с ног!

— Как же ты будешь бежать свои барьеры?

— О! Об этом рано беспокоиться!

Она уже улыбается. Горести позабыты. Я привезла крымские груши — с удовольствием уплетаем, запиваем газировкой.

Бежим на вокзал — сегодня приезжает наша третья подруга — Лида. Она из Краснодарского края, из какой-то глухой станицы, и поезд оттуда ходит только по нечетным числам. Встречаем Лиду, она загорела и как будто подросла. Идем по перрону, весело щебеча, как птички. Прохожие с улыбками оглядываются на нас. Мы высокие, стройные, худенькие. На солнце блестят наши волосы: у меня длинные, светло-русые, золотистые, у Риты черные, короткая модная стрижка, Лидулька носит модное каре каштанового цвета — загляденье, а не девочки!

...Назавтра собираемся на вокзале. Поезд "Рига-Воронеж". Руководители с билетами пересчитывают нас по головам, не хватает нескольких человек.

Рассаживаемся в поезде — долго стоит в Орле, а нам все равно! Мы молодые и никуда не спешим. Достаем снедь, заботливо приготовленную родителями, столы завалены едой, по кругу, потихоньку, курсирует бутылочка прекрасного Крымского вина, привезенная мной из Севастополя! Надо сделать так, чтоб руководители не догадались о наших происках, иначе позвонят в деканат, могут лишить стипендии.

Но опасения напрасны: бутылочка одна, а нас много, достается лишь по глотку, и становится весело, легко, бесшабашно. Некоторые собираются в соседнем купе. Там играют на гитаре, про лыжи и милую мою, про солнышко лесное. Некоторое время слушаем стоя, подпеваем с девочками из группы. Лида почему-то не явилась...

Верхние полки в дефиците. Каждому хочется простора и уединения. Забираюсь наверх, книжечка как по волшебству появляется, места знать надо, откуда поближе взять. Блаженство. Незаметно засыпаю...Толчок..Поезд резко останавливается..Приехали.

В Верховье нас уж ждали грузовые машины. Сесть нэгде. Забираемся в кузов, валимся на свои рюкзаки, смеёмся, толкаем друг друга, дразним, хватаем за нос или за ухо, кому как повезет. Долго везут куда-то. Наконец, машины останавливаются возле кирпичного здания — сельская школа. Стоит на отшибе. Вокруг кусты сирени, вдали хлебные поля, уже убранные, праздные, где-то речка или ручей журчит, синь неба, воздух такой что кажется так и откусил бы кусочек. Ребятишки деревенские глазют на нас, робко жмутся у порога школы — занятия отменили — студенты на уборку приехали!

Часть II.

Заходим в школу с вещами. Две огромные, совершенно пустые комнаты. С недоумением переглядываемся: куда сесть, где лечь? Появляются руководители. Они также озабочены, не понимают, что делать. Огорченные, снова выходим во двор — каждый сам себе находит место, где посидеть. Во дворе много бревен, старых бочек. Появляется вдали «Козел», председатель приехал. Говорит, чтоб не горевали, скоро привезут матрацы, сегодня придется переночевать на полу, а с завтрашнего дня плотники придут, соорудят нары вдоль стен, в 2-х комнатах места хватит на всех. Нас где-то около семидесяти человек: три группы технологов, мальчишек и девчонок поровну, решаем, девочки — в дальней комнате, мальчики с руководителями — в первой, проход-

ной. А сейчас — снова забираемся в кузов, стоя едем к правлению: нас будут кормить обедом!

...Столовая. Запах вкусной и простой еды. Нас накормили, сытно, вкусно, много. Еле вываливаемся и снова грузовик, стоя едем в свое жилище.

Девчонки моют пол, раскладывают матрасы на полу, расстилают постели, уж темно, отдохнуть хочется всем. Укладываемся, жестковато, но весело. Мальчишки то и дело открывают дверь, заявляются в виде привидений, обернутые простыней и подсвечивая лица фонариками, и жутко и смешно. В разгар веселья вдруг грохот во входную дверь — председатель прислал бидон молока! Новое развлечение: толкаясь, хохоча и обгоняя друг друга, устремляемся к бидону, каждый со своей кружкой! Смотрим, даже общую алюминиевую кружку предусмотрел председатель. Новый взрыв смеха. Чинно становимся в очередь, чуть ли не со смиренно сложенными руками: руководитель со всей ответственностью разливает молоко в кружки. Пьем, как вкусно! Свежее, слегка охлажденное. Замечательное! У всех усы от молока на лице. Наконец как-то засыпаем. Завтра на работу. Поле ждет нас...

Просыпаюсь раньше всех, ищу, где бы умыться. Нахожу воду, она тоже привозная. Чистой кружкой своей зачерпываю воду, бегу на крыльцо, а дальше на лужок перед школой, умываюсь, вытираюсь, любуюсь красотой раннего утра. Школа на пригорочке, как Храм, только науки. Вид красивый — речушка какая-то, туман поднимается от воды. Где-то далеко мычат коровы — гонят стадо на выгон...Но я продрогла. Бегу снова в дом, там тепло, тихо. Нырять под одеяло, но спать не хочу: лежу, мечтаю. Какие-то неясные предчувствия перемен в моей судьбе для меня уже очевидны. Но отгоняю все мысли, дежурные зовут есть кашу, которую доставили из колхозной столовки. Наскоро завтракаем и бежим к машинам. Сегодня с утра все не такие уж и веселые...

Почти в первые же дни нас начинает навещать местное население. Приходят парни, сначала со своими девчонками. Садятся в нашей комнате у двери на перевернутые вверх дном ведра, ведут себя тихо, вежливо, расспрашивают, на кого учимся, как жизнь в городе. Мы, девчонки, с высоты своих нар, поглядываем несколько свысока — зачем привели с собой девушек? Спрашиваем:

— Почему с девушками приходите? Отвечают:

— Хоть плохонькие, да свои, а вы хоть, городские, а чужие!

При этих словах как-то странно начинает колоть сердце, как будто что-то в этих разговорах касается лично меня. Встряхиваю головой, отгоняя вещице мысли. Волосы рассыпаются по плечам золотой волной.

Вдруг один парень подходит ко мне совсем близко, хочет погладить по голове. Отшатываюсь. Все смеются! А меня обдает жаркой волной.

Смотрю на парня исподлобья ничего особенного: длинные кудрявые волосы до плеч, белоснежная улыбка, яркие синие глаза, смеющиеся и совсем не злые, чего я испугалась...

Знаки судьбы

Жила — была девочка. И была она так себе: ни красоты, ни способностей, ни особенного ума. Но, тем не менее, закончила девочка школу и даже музыкальное училище и уже работала — музыку детям преподавала. Но не было у нее самого главного — любви. А ей хотелось.

И вот однажды пригласила подружка её на музыкальный вечер к курсантам. И там познакомилась девочка с военным. Стали встречаться. Прошел год — всё было хорошо, радовалась девочка, надеялась на логическое завершение встреч — свадьбу. Тем более, что курсант на следующий год был выпускник.

Но вместо предложения руки и сердца, получила она приглашение от военного поехать в гости к нему домой. А жил курсант далеко, самолетом лететь надо было. И вот судьба усиленно начала подавать знаки девочке.

Приехали на вокзал — билеты в кассе только для военного. Девочка бежит к поезду умоляет проводницу взять её, предлагает деньги, та соглашается. Приезжают в аэропорт, эта же история — билеты дают им на разные рейсы, военному — раньше. Прилетают в тот город — у девочки багаж куда-то подевался, и пока она его разыскивала, курсанту надоело ждать, и он уехал к родителям. Девочке пришлось добираться самостоятельно.

Наконец, добравшись до дома где живет курсант, она встречает холодный прием: ну, во-первых, не жена, а во-вторых, так себе. И начинают родители всячески изолировать девочку от своего сына — спать в разных комнатах, в гости идут, её с собой не приглашают.

Промучившись неделю, девочка улетела домой.

Но вернувшись, она не оставила надежду на встречу с тем парнем. Ждала нового учебного года, но парень исчез: не звонил, не приходил в гости, не писал писем. Несколько раз она приезжала на КПП училища, но тщетно: курсант всегда был занят, вскоре и вообще уехал куда-то по распределению.

Она продолжала искать его по военным частям, гарнизонам, военным городкам и большим городам — напрасно! Всё ещё верила, что нужно только поговорить, выяснить, что произошла какая-то чудовищная ошибка...И невдомек ей было что пройдёт долгое время, целых 25 лет, прежде чем она встретит СВОЕГО человека. Но это уже совсем другая история.

Душа

Я прихожу домой. Ты рад мне — подаешь тапочки, помогаешь снять пальто.

Мы проходим в гостиную. Круглый стол накрыт к ужину.

Еда простая: картофель, румяная курочка только что из духовки, вино в высоких хрустальных бокалах. Ты рад мне, и это я ощущаю сознанием, но сердце мое молчит.

Мы за столом — сегодня годовщина нашей свадьбы и получается, что со мной ты прожил больше, чем половину твоей жизни.

Мы пойдем в нашу спальню и будем любить друг друга, как прежде...Или нам это будет только казаться...как прежде...

У нас нет детей, и когда-то это сильно огорчало меня. И возможно тебя тоже. Но никогда мы не обсуждали это, не пытались что-то изменить. Зачем? Волю Всевышнего не дано исправить никому!

Я стала часто бывать в храме. Но не потому, что стала набожной.

Службы завораживают меня. И огромное количество молящихся и просящих у Бога что-то людей, почему-то успокаивает меня, примиряет с моим существованием в этом мире. Хор певчих вперемежку с речитативом батюшки звучит в моей душе как музыка. Доставляет отдохновение и наслаждение. Это способно ввергнуть в экстаз многие души. Моя — не исключение. Экстаз души сродни телесному оргазму, но тоньше, чище, мощнее. После службы намо́ленность в душе остается как бальзам, прикрывая раны, которые не могут никак затянуться.

Я никогда не работала, ты обеспечивал всем. В молодости череда путешествий радовала меня. Мы бродили с тобой по развалинам Рима, наслаждались просторами Капри и слушали тишину старых испанских городов. Или безудержно веселились на карнавалах Бразилии, ощущая себя частью необыкновенного действия. И не было неизбывного горя на сердце, печали в душе.

Мы всегда жили в хороших квартирах, меняя их время от времени, еще больше улучшая и украшая новые, в сравнении с предыдущими.

Мы всегда были модно одеты, и часто люди оглядывались на нас — такой красивой мы были парой!

Но однажды, в далекой банановой стране, ты сбил человека — темнокожий рабочий сахарного тростника вдруг вышел на дорогу, такую узкую и извилистую, что невозможно было свернуть — просто нёкуда было.

Мы вышли из машины. Человек еще дышал, но видно было, что он уже не жилец. Он неотступно смотрел на нас, и этот его предсмертный взгляд я не забуду никогда! Его глаза постепенно покрывались изморозью, и тогда я вспомнила выражение «Глаза остекленели!». Дико было видеть взгляд человека, как бы запорошенный снегом! И это в теплой, тропической стране!

Вокруг не было ни души, лишь тихо шелестел под ласковым солнцем тростник.

Долго сидели мы над убитым нами человеком. Сумерки тропической страны заставили нас сделать то, что мы сделали: мы отодвинули тело человека с дороги, сели в автомобиль и уехали.

На следующее утро мы вылетели из страны.

Нам казалось, что жизнь не изменится. Что все забудется со временем.

Что мы в принципе и не виноваты — так, случайное стечение обстоятельств, но...

Где бы я ни была: ночью и днем, я вижу глаза умирающего темнокожего парня и жизнь моя превращается в ад!

И бесконечно, как миротóчат иконы в намоленных храмах, кровоточит моя душа...

СТИХИ

Дмитрий Аникин

Москва



ПРОРОК ИОНА

1

Б-г

Иди, пророк мой Иона,
в Ниневию, ей скажи:
«Мера греха превышена,
милосердия рубежи
пройдены. Силы гнева
ждут не дождутся знака,
чтобы всей серой с неба!

А не хуже было Содому,
Гоморре в их злые дни —
Ниневия вся готова
к пламени, ангел мщенья
держит свой меч подъятым,
одна ещё есть надежда —
что мой пророк Иона
успеет сердца исправить!»

2

Идёт Господь,
идёт карать,
и кровь и плоть
идёт снедать.

Ниневии
в огне сгореть,
во гневе и
всей силе смерть!

3

Далее следует перечисление кар —
весь разнообразный египетский список,
да ещё с многочисленными дополнениями,
так чтоб стало совсем уже стыдно за Б-га,
придумавшего такое.

4

И мор и глад
придут с Тобой!
И зверь и гад —
рвать род людской!

И город, и
его народ —
пади, пади
в наставший год!

5

Иона
Не пойду я к людям, чего скажу им?
Тот же всё бред — жвачка греха и кары,
да не та эпоха, давно забыли,
кто тут Всевышний.

Я и сам не верю в такие шашни
с небом. Кто вещает мне, сумасшедший,
о земле не нашей, где этот город,
мне неизвестный?

За дела чужие я не ответчик,
собственных грехов мне того, по горло!
Находи другого, кто, плут, задаром
станет пророчить.

Ну а я уеду, делам торговым
я предамся, бедный, никто не вспомнит,
встретив меня: был молодой Иона
Божьим пророком.

Покраснею мордой, раздамся телом,
станет голос грубым, душа довольной.
Вместо слов, какими терзал я небо, —
римские цифры.

6

А сказать-то по правде:

Пусть сгинет Ниневия, много
наделала, сука, чего!
Забыла, паскуда, про Б-га,
про всё милосердье его...

Вошла в инославный обычай,
поставила храмы свои,
где боги труда и добычи,
где боги войны и любви.

Богата, и ценит красивых,
и щедростью бурной смогла
завзвать мудрецов молчаливых,
и всяких святых привлекла.

Купила бы даже пророков,
да только они не нужны
ни для исчисления сроков,
ни для покаянья страны.

7

Пророк приходит на берег моря,
ищет корабль себе подходящий —
простую рыбачью шхуну.

Да хоть куда угодно,
лишь бы уплыть отсюда,
Б-г пусть ищет другого
поверенного — смелее,
наглее, пусть тот считает
праведников в Ниневи:
хватит ли для пощады,
для милосердия Божьего.

Пророк же считает монеты:
хватит ли нищей меди
увильнуть от великой доли.
Знал бы — копил на чёрный
день себе мзду. Но на море
праведников, при вервии,
уважают, везут задаром.
Так простодушное благочестие
спасает Твоего пророка.

8

И поплыли. В море синем
хорошо и далеко.
Жребий если мы и вынем —
утопить его легко.

Б-г еврейский — бог пустыни,
бесконечного песка,
мы ж иною бездной двинем.
А не сгнули пока.

Иона
Не увидит, не заметит
и подручников себе
новых там Господь отметит —
за просторами зыбей.

Я ж никто, я в этом мире
позаброшен, позабыт,
и любого взгляда шире
море — Б-г не уследит.

9
Зря дума-ешь,
что не сыскать, —
пророка плешь
давай сверкать!

Наводит взор
сквозь груды туч —
как бы в упор
на темя луч!

10
И гневается Б-г, и море
вскипает, мечется, темнеет,
и на смешавшемся просторе
кораблик скрыться не умеет.

Что ж, смерть так смерть! И, разбирая
нас ещё меньше, чем на суше, —
неправых, правых, — власть благая
великий гнев до дна обрушит.

11
Он спит. Ему такое что-то снится
спокойное... А внешний скрежет, грохот —
зачем они? — Он спит, как будто долг
его исполнен.

Но кого Господь
не в силах пробудить, так растолкают
свои же.

И он сразу понимает,
зачем вся эта буря. Хуже то,
что моряки ведь тоже понимают.

12

Добрые люди,
бесхитростные моряки
знают верные способы
плыть и не утонуть,
рыбачить и не пойти на дно.

Добрые люди,
бесхитростные моряки
все, как один, найдут
погибель себе в пучине,
но не сегодня день им!

13

Добрые люди выкидывают Иону за борт.

Хор
За руки взять,
за ноги взять —
и ну качать,
и ну бросать.

Пушай плывёт,
где ветер ревёт,
дощечка — плот
и парус — вот!

14

Иона
Я выброшен в море, недолго мне плыть,
но хватит — пророчества напрочь забыть
и честною тяжестью кануть на дно,
лежать камень камнем, не как суждено.

Не худшая участь — вот так умереть:
к позорной планиде своей не успеть,
как не было вовсе Ионы, — а ей,
Ниневию, так даже проще, честней.

15

Ходит по морю живому,
своему родному дому,
чудо-юдо рыба-кит,
до неба фонтан кипит.

Ходит рыба, нас глотает,
устали себе не знает
плавать — сущий Божий страх
на семи больших водах.

Ты попал киту во чрево,
смотришь вправо, смотришь влево:
тьма вокруг, всё та же тьма,
как в ней не сойти с ума!

Время тянется — три дня,
время тянется, кляня
затемненье, промедленье,
по волнам своё движенье.

В нужный час нас изблевали,
в нужном месте воли дали.
Был во тьме, так вон пойди;
знамо дело, впереди

новое Господне лето,
буйство красок, пропасть света.
Пляшут люди, только ждут,
что им правду донесут.

16

Он видит берег. А уже не важно
какой. Но даже малых нет сомнений:
в Ниневии он не был никогда,
так вот она.

И всё, что говорит,
отхаркиваясь, всяко лыко в строку.

17

Иона

Господи, дай промолчать,
уста мне замкни,
чтобы Твоя печать —
да на все мои дни.

А подначивает чего,
так это, вестимо, Враг! —
Ради потехи Его
я пророчу, убог и наг.

18

Но начинается
как будто правда в жалком слове!
И значит, можно не стесняться
всей откровенности — уловим

толпу, и пусть влекут тенёта
её от смерти к лучшей доле.

А Б-г спасает только Лота,
Б-г ставит столб чистой соли.

19

Хор

СТРОФА

Попостились — отпустило,
что ж такое с нами было,
подступало? — Явный знак,
а теперь понять — никак.

Страх? А больше нет и страха
в судорожной горсти праха...
Верная была стезя,
да теперь по ней нельзя.

АНТИСТРОФА

Как-то дальше жить мы будем?

Задолжали добрым людям,
понапутали узлов,
понаделали делов,

думали, что нет на свете
дальше сроков: в этом лете
рассчитается сполна
полной гибелью страна.

20

Б-г не пришёл
казнить, карать!
Был грех тяжол,
а стал под стать

пустым словам —
пророчеству!
Простилось нам,
как наяву.

21

Пророки не желают пророчить,
города не хотят быть спасёнными,
но Б-г принуждает!

Дай Ты нам жить собственной судьбою —
как заслужили, сгинуть,
не мучай больше
долготерпением своим, Господи!

Нужны для каких-то Его
дальнозорких планов.
И некуда деться, нельзя погибнуть.

22

Иона видит — по его словам
случилось всё. Так вот какая власть

ему дана. И не предполагал...
Саму сбить с толку, с глузду справедливость.

23

Иона

А другие-то пророки
судят строго, знают сроки;
как начнут, так — мать моя! —
нет ни сладу, ни житья:

сходят ангелы Господни,
зрятся виды Преисподней,
был Содом — и нет его,
место пусто. Для того

ль я пророчил, разнесчастный,
над их гибелью невластный,
чтоб от Божьего суда
увильнули навсегда?

24

И как бы оправдываясь:

Б-г

Жалко, жалко, пророк Иона,
жалко мне правых и неправых,
на милосердие нет закона!
Какое дело мне до твоей славы?

И дерево жалко, когда засохло,
и камень жалко, когда разрушен,
а грешника пожалеть чем плохо?
Только мой пророк неистов и простодушен.

Валентина Карпушина

Москва



КЛЕТКА

Многие жаждут попасть в эту клетку —
Клетку взаимной любви.
Только судьба лишь, по сути — рулетка.
Счастье на чьей-то крови.
Тем же, кому повезло очень крупно
В клетку любви угодить.
Вместе с неволей получают попутно
Боль от мучений в груди.
Как говорится: любовь и свобода
Несовместимы. Секрет
В том, где живут лишь другому в угоду,
Места для выбора нет.
Так что любовь — это всё-таки клетка.
Прутья в ней — счастье. Оно
Держит надёжно внутри и нередко
Губит людей заодно.

ОН И ОНА

Он песни ей дарил.
Она стихи писала,
Мечтая до зари,

Под негой одеяла.
Он знал, что ничего
Меж ними быть не может.
Нарушить статус кво,
Себе, считал, дороже.
Понятен был ответ:
Где женщина мужчины
Намного старше лет,
Быть вместе нет причины.
Она и не ждала,
Что он пойдёт навстречу.
Давно сгорев дотла,
Не грезила о встречах.
Но сердце в унисон
Его с её стучало.
Гоня полночный сон,
Она стихи писала.
А он ей посвящал
Все песни в интернете...
Но, не сказав прощай,
Исчез вдруг на рассвете.
Не пишутся стихи —
Нет больше новых песен.
Лишь отзвук панихид
В унынье старых кресел.

МИРАЖИ ПРОШЛОГО

Всё равно будет солнце светить и созвездья мерцать,
Днём и ночью на небе сменяя рассвет и закат.
И звучать в унисон от любви будут чьи-то сердца,
Пuls отстукивать будет по венам неслышный набат.
Фотографии старые, бархатный красный альбом.
Там вся жизнь отразилась на снимках твоих и моих.
Гаснет свет за окном и на небе ещё голубом
Бледным оком луна на просторах сияет ночных.
Как ты там? Мне всё кажется, вовсе не так и давно,
Мы расстались с тобой, а уже пролетела вся жизнь.
Дай мне мизерный шанс пообщаться с тобою, и вновь
Сделать явью счастливых минувших времен миражи.

НОЧНОЙ ДОЖДЬ

Напомнил однажды мне дождь
Цвет глаз необычных твоих.
Листвы за окошками дрожь —
Безумную страсть на двоих.
А ветер хмельной аромат
Принёс пеларгоний и роз.
И спрятался в сумерках сад,
Покрытый алмазами рос.
В миг этот припомнился мне
Твой запах, до боли родной.
А скол на кирпичной стене
Был схожим с растущей луной.
Цвет сумерек после дождя
Впитал твой таинственный взгляд.
Судьба двух заблудших бродяг
Полна всевозможных преград.
Но ветер и ливневый дождь
Забуть мне тебя не дадут.
Твой взгляд на грозу был похож,
Как залп был из пушечных дул.

МОЯ ЛЮБОВЬ

Я гулким пульсом напишу тебе: люблю.
Но на взаимность у меня надежды нет.
Попытка эта всё сказать, равна нулю,
Она похожа на какой-то странный бред.
Я знаю точно: безнадёжно что-то ждать,
Моя надежда слабнет с каждым новым днём.
Но спорят снова меж собою «нет» и «да»,
И сердце бьется за грудиной воробьём.
Душа моя болит. Напиться впору в хлам.
От неизвестности в ночи на стенку лезть,
Потом метаться серой тенью по углам,
Забыв про гордость пресловутую и честь.
Ты в душу навсегда и в плоть мою проник,
Под кожу въелся и в мою впитался кровь.

По венам растекаясь, растворился в них.
И сердце раздавил камнями жерновов.

МОЛИТВА О ЛЮБВИ

В Твою я редко прихожу обитель,
Чтоб у икон зажечь свою свечу.
Прости меня сегодня, мой Спаситель,
Что я сейчас в безмолвии кричу.
Прости, что я давно не возлагала
Букет из алых роз на Твой алтарь.
И это правда, что молилась мало,
И слушала, как бьёт набат звонарь.
Но вот сегодня, преклонив колени,
В слезах Тебя неистово молю:
Услышь безмолвный крик моих сомнений
В признании, что я его люблю.
Он — это всё, что я сейчас имею,
Хоть все в лицо смеются надо мной,
Любовь, приняв за глупую затею,
И корчат рожи за моей спиной.
Но Ты же знаешь, что есть ложь, что — правда.
Прошу: мою благослови любовь.
Ведь дар любви — как высшая награда,
Желанный самый среди всех даров.

НЕ ДАРИ МНЕ РОЗЫ

Мне печали твои больше не интересны,
И подарки с цветами, что шлешь, неуместны.
Всё вдруг стало внезапно иным.
И меж нами нет больше ни звёзд, и ни радуг.
Так зачем же тебе эта горькая правда,
Покаяние, тяжесть вины?
У меня нет в душе больше прежнего чувства,
В ней утихли навечно былые безумства,
Там царит леденящий покой.
Я забыла твой голос. Попытки напрасны.
Вспомнить цвет глаз твоих мне теперь неподвластно.
Карий, синий, зелёный? Какой?

Мне теперь безразлично, с кем ты в этот вечер.
Сердце, словно огарок — оплыли все свечи,
Смрадный дым в нём витает, клубясь.
Я пыталась позвать, но забыла я имя,
Что шептала когда-то губами сухими.
Как зовут, я не помню тебя.
Без тебя мир блистает сегодня иначе.
И теперь больше сердце моё не заплачет.
Впредь тебе я его не отдам.
Мне не нравятся розы, дарить их не надо.
А была ли любовь? Где есть ложь, а где правда?
Всё прошло, не оставив следа.

НЕ ГУБИ!

Осень. Огненное око солнца
Тусклых окон стёкла ослепляет,
Бросив вниз оранжевые кольца
Сверху, где царит лазурный ляпис.
Астры и завядшие ромашки,
И меж ними несколько тюльпанов.
От обиды колкие мурашки
По спине промчались ураганом.
Даришь ты другой свои букеты,
С ней проводишь беззаботно время.
Только есть и у тебя секреты,
Что не выкажешь ты перед всеми.
Солнце всё ещё сияет жарко.
Цвет у астр отчаянный и красный.
Словно солнце напоследок жадно
Впитывают перед смертью астры.
Не губи меня ты нелюбовью,
Честен будь: неверность больно ранит,
Сделав глубже складочку в межбровье.
Не ломай дозволенные грани.

ЭТО — ЛЮБОВЬ!

Это — любовь! А ты до сих пор не понял?
Это — как крест и карма в одном флаконе.

Битва ума и чувств. Ведь они будто сглаз.
Тьма за окном, хронический бред бессонниц.
Молча смотрю на твой портрет в телефоне.
А за окном туман, как мистический газ.
Это — любовь. Убить её бесполезно,
Даже кромсая вены металлом лезвий.
Ведь суицид в любви — он не лучший исход.
Вместо неё не вставить потом протезы,
Будут в груди кровить до конца порезы,
Снова напомнив пламя, что пройдено вброд.

Я БЫЛА В ТЕБЯ ВЛЮБЛЕНА

Я была влюблена в тебя.
Это было ещё вчера.
Я забыла почти себя,
Но со мною ты лишь играл.
А теперь? Всё прошло теперь.
Жаль бесславно погасших чувств...
Словно кто-то захлопнул дверь.
Но её открыть не хочу.
Там, за ней пустота одна,
Словно вакуум студит кровь.
Я была в тебя влюблена.
Но ты предал мою любовь.

ЛЖЕНТЕЛЬМЕН

Очарована им, околдована,
Ах, какой же он был джентльмен!
И готова была в снег и в дождь она,
Побежать вслед за ним, в сладкий плен.
Как гордилась она и как пыжилась,
Что неслыханно ей повезло,
Что она в пику проiscaм выжила,
Всем смертям и подругам назло.
Ей казалось, что в прошлом все горести,
Позитивных ждала перемен.
Но печальнее в жизни нет повести,
Коль ворвался в судьбу лжентельмен.

За личиной скрывалось угодливой
Искривлённое злобой лицо,
И оскал как у волка голодного,
Впрочем, как и у всех подлецов.
Мягко было им ложе постелено,
Только жёстко на нём было спать.
Воробьём оказался он стреляным —
Знал про роль, что играет кровать.
А она, ослеплённая чувствами,
Ничего не просила взамен.
Восхищалась, гордясь им, без устали.
Джентльменом же был — лжентльмен!

ГЛОТОК НА ДНЕ БОКАЛА

Любовница, а не супруга,
Лишь компаньонка для загулов.
Приятный повод для досуга,
Объект лишь для пустых посулов.
Звала себя его женою,
Сей статус обрести надеюсь.
Мечтать не вредно. Паранойя
Лишь браком лечится на деле.
Вся суть, что ты не отказала,
Взяв, что другим совсем не надо.
Ты как глоток на дне бокала.
Была не замужем, а рядом.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ!

Спокойной ночи, приятных снов.
Пускай приснится тебе любовь.
Уж, коль не сбыться ей наяву,
Пусть сон подарит нам рандеву.
Спокойной ночи, и до утра!
Часы пробили. И спать пора.
Пускай подарит тебе Морфей
Частичку ночью любви моей.

НЕДОСКАЗАННЫЙ СЮЖЕТ

А мы с тобой проститься не успели,
Откладывая встречу на потом,
Кружились друг за другом в карусели
И мокли порознь под одним зонтом.
Никто не знает, как бы всё сложилось,
Коль я тогда ответила бы «да».
Коль ты бы проявил свою решимость,
То сердце не покрылось б коркой льда.
Теперь менять и строить что-то поздно.
К иным мирам умчался мой герой.
В тупик заехал мой последний поезд,
И пуст, залитый дождем перрон.
А лето продолжается и кто-то
Уже построил планы. Жизнь идёт.
А в сердце недосказанное что-то,
И треснувший его пронзает лёд.

НЕ БУДЕТ НИЧЕГО

Он не был ни любовником, ни другом.
Так отчего ж так ноет за грудиной?
Как будто борется душа с недугом
Под звуки песни этой лебединой.
Как будто бы невидимые струны
Меж двух сердец надорвались внезапно
И лопнув, испустили вопль безумный,
Дав знать, что не наступит больше завтра.
Не будет ничего теперь: ни песен,
Ни встреч с друзьями в парке на скамейке,
Ни ёлок новогодних в ближнем лесе
И белых точек снега на шубейке.
Тут ничего не скажешь, не попишешь,
Бессмысленно и ссориться, и злиться.
Лишь после жизни стали мы с ним ближе.
Он стал слезой, повисшей на ресницах.

ОСКОЛКИ В БОКАЛЕ

Я не готова была к тому,
Что он исчезнет вот так, внезапно.
Гадаю снова: ну почему?
А ворон чёрный глядит на запад.
Средь мук бессильных, средь жутких мук,
Попыток тщетных взять жизнь в рассрочку,
Я мчусь по кругу. Приводит круг
Опять туда же, всё в ту же точку.
Где память силы даёт мне жить,
Любовь к тому, кто живой едва ли.
О нём я память могу любить,
Её осколки в своём бокале.

ПИСЬМА ДОЖДЯ

Висят на ветках тощих
Лоскутья жёлтых листьев.
Сентябрьский пишет дождик
Свои на крышах письма.
Их текст недолговечен —
Луч солнца, словно ластик,
Сотрёт его под вечер,
Всем правилам согласно.

ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО

Ещё не поздно навсегда
Вернуть поэзию с панели.
Скрутив концы на проводах,
Включить контакты на панели.
И током слова оживив,
Вернуть из комы к жизни души.
Глотком возвышенной любви
Оковы смертные разрушить.
Дать снова повод ощутить
Весь ужас гибнущего мира,
Где Лель томится взаперти
И не играет больше лира.

Словами мучась, воскрешать
Души поруганной порывы,
Пока ещё жива душа,
Пока болят её нарывы.
Когда на сердце синяки,
Удавкой боли сжато горло,
Осталось лишь писать стихи
И матом крыть уснувший город.
Где жизнь безнравственна порой,
Любовь продажна как в борделе.
Пора пришла, пройдя сквозь строй,
Вернуть поэзию с панели.

ПОВЕСТЬ

Андрей Саломатов

Москва

УЛЫБКА КАУНИЦА

1

Нельзя сказать, что Тюрина на работе любили или хотя бы уважали. На него, скорее, не обращали внимания. Привыкли, как привыкают к предмету не очень нужному, который вроде бы и стоит на виду, но уже не воспринимается глазом в отдельности, а является как бы составной частью производственного интерьера. Из всего числа сослуживцев Тюрин не выделялся какими-нибудь выдающимися качествами. Он не был заметно добрым или наоборот — злым. Не изнурял никого чрезмерным занудством или оригинальными идеями, поскольку у Тюрина их никогда не было. Случалось, у него просили денег до получки, но это происходило крайне редко, только после того, как проситель получал отказ у всех своих старых работодателей. Но и в этом случае Тюрин редко шел навстречу. Отчасти, потому что сам жил на небольшую зарплату, которой едва хватало на самое необходимое. Да и не было у него привычки помогать или входить в положение.

Много лет Тюрин тянул лямку рядового служащего — инспектора отдела кадров. За это время он идеально приспособился к своему ми-



зерному жалованию и научился так распределять деньги, что у него не бывало даже десятки на непредвиденные расходы. Все было заранее распланировано на две недели вперед, от получки до аванса и от аванса до получки.

Работа у Тюрин была несложной, и выполнял он ее совершенно автоматически. Регистрируя больничный лист, он мог, например, и слушать радиопередачу, и разговаривать с сослуживцем, и поигрывать ключами от сейфа в такт музыке.

Дома Тюрин жил значительно разнообразнее: прочитывал две бесплатные районные газеты, а раз в месяц — журналы «Юный натуралист» и «Если». После работы Тюрин ужинал, поливал кактусы, смотрел телевизор и на ночь обязательно выстирывал что-нибудь из своего небогатого гардероба. Свою маленькую однокомнатную квартиру гостиничного типа Тюрин содержал в образцовом порядке. Раз в год наклеивал новые дешевенькие обои, все время одного и того же желтого цвета. Красил двери и рамы, белил и без того идеально белый потолок. Раз в неделю Тюрин учинял генеральную уборку и каждый день проводил профилактический осмотр квартиры: то пушинку поднимет, невесть как залетевшую к нему на девятый этаж, а то газеты переберет, увяжет в стопку капроновым шпагатиком и уберет во встроенный шкаф. В общем, порядок у Тюрин был устойчив настолько, что время совершенно не оседало в этом жилище. В квартире царил вечное настоящее без намеков на будущее или прошлое, отчего она сильно смахивала на комнату в общежитии. Впрочем, о прошлом здесь напоминала одна старая вещица — большая репродукция в тяжелой раме из мореного дуба — добротная типографская копия картины Бернардо Беллотто «Дворец и парк Кауница в Вене», отпечатанная перед войной в Германии. На пожелтевшей мелованной бумаге в ослепительной канцлерской ливрее стоял человек с птичьим лицом. Каждый стежок на его роскошной одежде, каждый квадратный миллиметр золотого шитья был выписан с тщательностью обманки. Стерильное пространство, в котором обитала фигура знатного вельможи, как бы продолжало комнату. Туда хотелось войти, как хочется иногда взлететь в небо и подняться высоко в горы, чтобы подышать воздухом действительно без цвета и запаха. Сам же австрийский канцлер чувствовал себя в этой дистиллированной атмосфере, как и подобает особам его положения. Он гордо, но без всякого сановного превосходства смотрел с репродукции, и взгляд его, едва коснувшись уха зрителя, уходил куда-то поверх плеча, в некое гипотетическое будущее, которое просматривалось в сияющих зрачках в виде неясной золотистой дымки. На губах этого

вельможи играла лукавая улыбка, и оттого Тюрина не оставляло ощущение, что канцлер, как и он сам, наблюдает со своей дворцовой площадки за жизнью маленькой московской квартирки.

По своим размерам и цветовой насыщенности репродукция больше напоминала окно, за которым расстился освещенный ярким солнцем великолепный парк с идеально постриженными деревьями и кустарником. Шпалеры уходили в перспективу, вились лабиринтом, и вся эта тщательно выписанная парковая геометрия с прозрачным до иллюзорности воздухом казалась Тюрину куда более реальной, чем привычный унылый пейзаж в настоящем окне.

За много лет одинокой холостяцкой жизни хозяин квартиры настолько привык к канцлеру, что тот сделался как бы членом семьи. Тюрин часто беседовал с ним, справлялся о его здоровье, советовался по пустякам, и всякий раз лукавая улыбка Кауница расшифровывалась им по-новому. В зависимости от вопроса она могла быть вежливой, мол, «спасибо, хорошо», или хитрой, если вопрос казался самому Тюрину скользким, и даже печальной, когда вопрошающий был в плохом настроении.

Пару раз Тюрину даже предлагали продать репродукцию вместе с антикварной рамой за приличную сумму, но время шло, а он так и не решился расстаться с этим фальшивым окошком в иной мир. Во-первых, потому что привык жить на зарплату, а во-вторых, не обремененный семьей, Тюрин просто-напросто боялся остаться совсем один. Родители его давно и благополучно померли своей смертью, от старости и сопутствующих болезней, братьев и сестер у него не было, а из родственников остались лишь очень дальние, как по степени родства, так и по месту жительства. Тюрин никогда ими не интересовался, они платили ему тем же, и нарушать этот установившийся порядок никто как будто не собирался.

В общем жил Тюрин до невероятности тихо. Он давно привык к мысли, что человек рождается случайно для скучной однообразной жизни, в конце которой разрешается немного побездельничать. И он терпеливо дожидался своего пенсионного совершеннолетия, не строя никаких планов, но в глубине души все же надеясь, что когда-нибудь жизнь его хотя бы на самую малость станет интереснее.

Всего два с половиной года оставалось Тюрину до пенсии, когда с ним произошел этот экстраординарный случай. Как-то вечером после работы он обнаружил, что потерял кошелек. В кармане уже изрядно поношенного пиджака образовалась большая дырка, через которую, очевидно, кошелек и вывалился. Денег там было немного — двадцать

пять рублей — но до получки оставалось три дня, в холодильнике было пусто, и Тюрин решил одолжить тридцатку у соседа, с которым частенько встречался во дворе за игрой в домино. Но сосед, как и Тюрин, в ожидании зарплаты бедствовал и помочь сумел только советом. Он подсказал обратиться к Николаю, который жил через три квартиры от Тюрина на том же этаже. По всем канонам человеческого общежития Николай был жильцом очень странным. С виду простоватый и доступный, он никогда не принимал участия в дворовой жизни, пренебрегал квартирными знакомствами и даже пьяный, быстро, ни на кого не глядя, словно гимназистка, пересекал двор и, ни с кем не поздоровавшись, скрывался в подъезде. Никто не помнил, когда Николай поселился в этом доме. Ни один жилец никогда не слышал, чтобы за дверь его жилища что-нибудь происходило. Создавалось впечатление, будто жила в этой квартире слепоглухонемая старушка-пенсионерка. Ни музыки, ни футбола по телевизору, ни празднования дней рождений или общенародных праздников. Там царило абсолютное безмолвие, как на старом кладбище. Он и входную дверь открывал и закрывал по-воровски аккуратно, без хлопанья, с одним негромким щелчком. Удивительным было и то, что никто из обитателей дома никогда не видел, чтобы Николая навещали женщины. Правда, он иногда неделями не появлялся дома, поэтому во дворе решили, что либо Николай импотент, либо предпочитает встречаться со своими зазнобами на их территории.

В общем, числился Николай среди жильцов дома вполне положительным, хотя и со странностями. Именно эти странности и рождали в умах любопытствующих соседей всякие домыслы. Одни говорили, что он служит в уголовном розыске в отделе тяжких преступлений. Другие на разные лады измышляли, что Николай, скорее всего жулик или, на худой конец, гомосексуалист. Кто-то даже предположил, что он трудится во внешней разведке, отсюда и железная конспирация. Была и совсем невероятная версия, будто работает Николай шофером, возит члена правительства. Этому, правда, никто не поверил, потому что квартира Николая как-то не соответствовала положению человека, вхожего на Олимп.

Другими словами, Николай был личностью конечно же таинственной, но не настолько, чтобы сообщать интересоваться в милиции о его прошлом и настоящем. Одевался он прилично, всегда модно и даже с некоторым изыском. Бороды Николай не носил, темных очков — тоже. Мерседесы к его подъезду не подкатывали, и чемоданами на глазах у соседей он ни с кем не обменивался.

Не закрывая своей квартиры на замок, Тюрин прошел по плохо освещенному, сладко смердящему коридору к двери Николая и тихонько постучал. На стук никто не откликнулся, но дверь с легким скрипом медленно отворилась, и Тюрин, секунду поколебавшись, вошел в прихожую. Здесь он догадался, почему Николай не услышал стука — хозяин квартиры находился в ванной. Дверь в ванную комнату была приоткрыта, оттуда доносились звуки льющейся воды, а напротив валялся большой грязный мешок из-под картошки.

Хорошенько вытерев обувь о мешковину, Тюрин придал своему и без того кроткому лицу доброжелательно-просительное выражение и заглянул к Николаю. Вначале он увидел только его широкую спину, обтянутую выцветшей футболкой, а затем обратил внимание на голого человека, которого Николай ловко ворочал, подставляя под струю воды его обезображенное чем-то острым горло. Белая поверхность ванной была покрыта алыми каплями, а сам порезанный незнакомец уже слегка пожелтел и цветом напоминал старую слоновую кость.

Здесь же, под ногами у Николая валялась и грязная одежда, очевидно, снятая с того человека, которого он так усердно полоскал. Судя по тому, как хозяин квартиры топтался на пиджаке, это облачение уже было не нужно ни хозяину, ни Николаю.

Потеряв от неожиданности дар речи, Тюрин несколько секунд стоял за спиной у Николая. В голове у него завозились страшные мысли: перерезанное горло, мешок из-под картошки — все это начисто исключало какой бы то ни было несчастный случай, и, придя к такому выводу, Тюрин обомлел от ужаса. Дыхание у него перехватило, а сердце заработало так, будто он в свои 58 лет бегом поднялся с первого на девятый этаж.

Почувствовав смертельную опасность, Тюрин сгорбился, как бы желая уклониться от удара. Боясь выдать свое присутствие, он, шатаясь, сделал два шага назад. При этом Тюрин зацепил каблуком брошенный мешок, и это случайное, легкое прикосновение отозвалось у него в мозгу микроскопическим инсультом.

Очутившись у выхода, Тюрин не сразу поймал дверную ручку, а ухватившись за нее, рванул что было мочи. Не имея больше сил на осмотрительность, он бросился вон из квартиры. По дороге Тюрин все же успел сообразить, что может обнаружить себя, если громко хлопнет дверью. Поэтому, оказавшись в своей квартире, он быстро, но осторожно, словно сапер, прикрыл дверь, навалился на нее всем телом и щелкнул замком. Этот сухой металлический щелчок, похожий на удар бойка в пустом стволе, стоил ему еще одного крохотного инсульта.

Всем телом мучаясь от страха, Тюрин приложился ухом к щели и услышал торопливые шаги, негромкое бормотание, а затем звук хлопнувшей двери. Но с этим, вроде бы благополучным концом ужас не оставил его. Тюрин стоял прижавшись к крашеной фанере и сквозь одежду, кожей чувствовал ее хлипкость. Впервые в жизни Тюрин со всей ясностью осознал, что поговорка «мой дом — моя крепость» либо несет в себе какой-то другой смысл, либо справедлива только в Великобритании, где ее придумали. Воображение его заполнили умопомрачительные картины собственной насильственной смерти. Он уже видел себя обнаженного, с перерезанным горлом, в ванной, забрызганной кровью, когда в коридоре снова раздались шаги. Тюрин вырвал из кармана носовой платок, прикрыл им рот, чтобы приглушить дыхание, а затем опять припал ухом к щели. Через дверь от его квартиры кто-то негромко разговаривал. Слов невозможно было разобрать, но Тюрин не сомневался, что один из говорящих — Николай.

Спустя полминуты разговор прекратился, и Тюрин снова услышал стук в дверь, но уже к ближайшим соседям. Никогда не отличавшийся сообразительностью, Тюрин сразу догадался, что Николай, скорее всего, слышал его шаги или щелчок замка, и теперь обходит квартиры, выясняет, кто к нему заходил. Тюрин живо представил себя со стороны и чуть не заплакал от страха и безысходности. Сыграть перед душегубом прежнего спокойного, вежливого соседа он не сумел бы. Всю свою жизнь Тюрин старался говорить только правду. Самое большее, чем ему приходилось рисковать, это небольшой суммой или и без того не блестящей репутацией. Преступников Тюрин видел только в кинофильмах, да и те обычно смахивали на известных киноактеров. Правда, один раз он был сильно напуган необходимостью жениться на некрасивой родственнице сослуживца, но тот страх не шел ни в какое сравнение с этим. Времени с тех пор прошло много, с бывшим сослуживцем и его родственницей он больше никогда не виделся, а случай этот давно уже перекочевал в разряд житейских курьезов, которых у Тюрина было не больше десятка.

В полубоморочном состоянии Тюрин вслушивался в негромкий разговор соседей и обреченно ждал своей очереди. Он слышал, как Николай поздоровался, затем попросил спичек и отказался войти в квартиру. Через несколько секунд Николай попрощался, дверь захлопнулась, и Тюрин скорее почувствовал, как он подошел к его двери. На некоторое время в коридоре воцарилась удушающая тишина. Тюрин ждал рокового стука в дверь, как смертник ожидает выстрела в затылок, и чем дольше длилась эта кошмарная игра в молчанку, тем труднее ему было

держаться на ногах. С каждой мучительно прожитой секундой в его воображении дверь становилась все тоньше и тоньше, пока не превратилась в лист бумаги. А Николай все чего-то тянул. Тюрин догадывался, что в этот момент он стоит, приложив ухо к дверному косяку. Он ощущал это ухо всеми своими органами, слышал его и даже явственно видел под прикрытыми веками. Напряжение его достигло того предела, когда любой посторонний звук или случайное прикосновение может разорвать сердце. Весь обратившись в слух, Тюрин ждал, что предпримет Николай, а тот не торопился. Это было похоже на психологическую дуэль: один знал, что за дверью притаился убийца, другой догадывался об этом, а потому тянул время, изматывал противника, по-животному чуя, когда его можно будет брать голыми руками.

Наконец, в дверь негромко постучали, и от неожиданности Тюрин едва не закричал. Никогда ему еще не приходилось так остро ощущать приближение собственной кончины. Мысли Тюрина беспорядочно металась, стены начали крениться в бок. Плохо соображая, он присел на корточки, медленно отодвинул шторку замочной скважины и заглянул туда. Из отверстия, словно из преисподней, на Тюрина уставился черный матовый зрачок в тонком голубоватом обрамлении радужной оболочки.

— Не бойся, Макарыч, — услышал Тюрин дружелюбный шепот, — открой, это я, Николай. — Тюрин сразу выпустил из ослабевших пальцев шторку. Все тело его как-то разом пустило обильный сок, намокло и начало слабеть с катастрофической быстротой.

После небольшой паузы в дверь опять тихонько постучали, но Тюрин уже почти ничего не слышал. Он медленно и очень аккуратно сполз на пол, прислонился головой к стене, да так и забылся.

2

Очнулся Тюрин с колющей болью в сердце в крошечной темноте. От неудобного сиденья у него затекли ноги, присохшая к телу одежда не просто стесняла движение, она словно смирительная рубашка спеленала и обездвижила его. Немного погодя Тюрин вспомнил то, что увидел в квартире Николая, снова пережил тот ужас и невольно застонал. Правда, тут же спохватился, прикрыл рот ладонью и попытался понять, где он находится.

Довольно долго Тюрин разминал затекшие руки и ноги, осторожно изучал пространство вокруг себя и все это время упорно искал доказательства того, что он в плену у убийцы. Он даже не пытался включить свет, поскольку был уверен, что находится в ванной у Николая, а вы-

ключатель — по ту сторону двери. Это его убеждение крепло с каждой секундой, и вскоре ему уже стало казаться, будто он слышит крадущиеся шаги злодея. Из последних сил, холодея от страха, Тюрин на четвереньках пополз вдоль стены, но очень быстро ткнулся головой во что-то мягкое. Едва не потеряв сознание от ужаса, он по стене поднялся на ноги и ошалело уставился перед собой. Впереди, метрах в пяти он увидел самое обыкновенное окно, а за ним на безоблачном ультрамариновом небе нервно подрагивали мелкие светящиеся точки.

«Звезды», — с тоской подумал Тюрин и едва не расплакался от жалости к себе. Это открытие не принесло ему никакого облегчения, хотя он и почувствовал себя немного более свободным.

Такая свобода была ему совершенно не нужна. Это была всего лишь отсрочка — занесенный над его шеей топор по какой-то причине завис в воздухе, но то, что он опустится, Тюрин не сомневался. Достаточно было ему представить лицо Николая или его согнутую над ванной широкую спину, чтобы и без того слабая надежда на спасение лопнула, как мыльный пузырь.

Глядя на звезды, Тюрин испытывал невыносимую муку. Он, тихий законопослушный гражданин, лицом к лицу встретился со страшным злом, которое, как гигантский водоворот, неумолимо засасывало его в свою ненасытную глотку. Единственным спасением от этой напасти была твердость и уверенность в собственных силах, но этого у Тюрина не было никогда. Прожив свою жизнь гладко, без катаклизмов, он был убежден, что так же спокойно уйдет в положенный срок. Собственно, сама смерть как физический факт его не очень страшила. Больше всего Тюрин боялся последних минут жизни, когда перед человеком вдруг распахивается дверь в иной мир, и через это отверстие не видно ничего, кроме леденящего мрака. В мыслях Тюрин не раз пытался представить себе это печальное событие и иногда, увлекшись собственными фантазиями, вдруг пускал слезу умиления или жалости. По его разумению, это должно было произойти холодным осенним вечером, в его квартире, на стареньком скрипучем диване, который давно уже имел посередине вмятину, соответствующую росту, комплекции и любимой позе Тюрина. Он не без удовольствия воображал, как в его незапертую квартиру входят родственники, которых он совсем не помнил, а потому и не наделял никакими конкретными чертами. За спинами представителей двух родительских фамилий Тюрин обычно помещал сослуживцев. Эти имели свои собственные лица, скорбные и заплаканные. А уже за ними, в черных ажурных платках, толпились соседские женщины.

Подолгу развлекаться подобными фантазиями было немного больно, но боль эта была какой-то щемяще-сладкой, похожей на последний всхлип после утомительных рыданий, и не имела ничего общего с тем безумным ужасом, который Тюрин испытывал сейчас, в темном помещении. Неожиданно где-то рядом раздался тихий стук. Тюрин вздрогнул всем телом и тут же вспомнил, чем закончился его поход к Николаю. Он вспомнил, как бегом вернулся домой, как закрылся, как увидел в замочной скважине черный матовый зрачок, а затем потерял сознание. Тюрин наконец сообразил, что не покидал своего дома, и этому сразу нашлось десяток подтверждений: пальто на вешалке, в которое он ткнулся головой, и его прихожая с видом кухонного окна. Догадайся Тюрин сразу, где находится, он может успел бы собраться с мыслями, отдохнуть от всего этого ужаса и даже принять нужное решение, но сейчас он почувствовал лишь еще большую усталость и безысходность. Как приговоренный, на ватных ногах он добрался до входной двери и налег на нее всем телом. По ту сторону кто-то еще раз мягко постучал, затем вкрадчиво поскребся, и Тюрин услышал гипнотический шепот:

— Открой, Макарыч. Не бойся, открой. Поговорить надо.

— Нет, — одними губами пролепетал Тюрин, а Николай, словно почувствовав этот выдох, зашептал громче:

— Макарыч, ошибочка вышла. Открой, я тебе все объясню. Да ты не бойся, свои же люди, договоримся.

Это напоминание о том, что убийца не какое-то абстрактное чудовище, а знакомый человек, ближайший сосед, с которым можно договориться, придало Тюрину сил. Он припал губами к щели и громко зашептал:

— Я не открою, Коля. Ну чего тебе от меня надо?! Я старый человек, живу, никого не трогаю. Иди спать, Коля.

— Открой, Макарыч, — настойчиво уговаривал Николай. — Я хочу тебе объяснить. Ты ничего не понял. Можешь глупостей наделать. Давай поговорим, и я от тебя отстану.

Этот почти задушевный разговор расслабил Тюрина, и он тихо-тихо заплакал от облегчения. Жуткая смерть, занесшая было над ним свой безобразный окровавленный инструмент, отступила, пространство вокруг потеплело, а дверь вновь обрела часть той прочности, которой она совсем еще недавно обладала в полной мере. Вслед за этим Тюрин как-то разом ощутил все свое тело, измученное и обессиленное безвольным ожиданием большого мясного ножа. С этим облегчением Тюрин почувствовал благодарность к Николаю за его человеческий облик и просительный шепот. Словно река после паводка, воображение Тю-

рина постепенно входило в свое обычное русло. Люди снова сделались людьми, жизнь — жизнью, а подсмотренный в квартире у Николая кошмар начал приобретать другой смысл. Память выталкивала картину преступления прочь, разум — ворочал ее, словно кубик Рубика, пытаясь придать ей иное содержание. Ну, а то, что не поддавалось ломке, объявлялось бредом, ошибкой, чудовищным оптическим обманом или галлюцинацией.

Тюрин с надеждой прислушивался к этим мыслям, охотно поддакивал им и даже кивал головой. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не Николай. Устав ждать, он еще раз негромко постучал и уже не прошептал, а прошипел:

— Ладно, Макарыч. Смотри. Не дай бог, до утра чего-нибудь наделаешь — кореша в лапшу изрубят.

Последняя фраза Николая оглушила Тюрина. Он не поверил своим ушам и в наступившей вслед за этим тишине шепотом переспросил:

— Что? Что ты сказал, Коля? — Так и не дождавшись ответа, Тюрин принялся звать своего мучителя. Он встал на колени и, вывернув голову, приложился губами к замочной скважине:

— Коля! Коля! — шептал Тюрин. — Ты же умный человек, Коля. Молодой, красивый парень. Зачем тебе это надо, Коля? Я же понимаю, это недоразумение. Несчастный случай. Неужели ты думаешь, что я тебя выдам? Да провалиться мне на этом месте! Что же, я враг себе, Коля? Тюрин долго и страстно выговаривал эти бесполезные заклинания, пока, наконец, не понял, что за дверью давно никого нет. Тогда он неуклюже выругался матом, тяжело поднялся с колен и, шатаясь, прошел в свою комнату.

В комнате Тюрин, наконец, позволил себе включить свет. То, что он увидел, не представляло собой ничего особенного. Это была его комната, в которой стояла та же мебель, но если несколько часов назад все находящееся здесь имущество объединяла одна единственная и естественная цель — служить хозяину, то сейчас Тюрин увидел нечто иное: в одночасье постаревшие вещи стояли на своих местах словно набычившись, с напряженными фасадами. Между ними больше не было ничего общего. Исчезло главное — полюбовный союз стен и вещей, который и создавал ощущение живого дома. Воздух в комнате будто пропитался страхом и ненавистью. Колченогие стулья разбежались по углам и сторонились стола, диван отвратительно съежился, как будто ему ненавистно было соседство изъеденного жучком, платяного шкафа, старый комод как-то разом сгорбился и сделался ниже, а глубокие тени лишь подчеркивали необъяснимое отчуждение между предметами. По-

раженный этим зрелищем, Тюрин ощутил глубочайшую тоску, словно его предал единственный человек, которому он безраздельно доверял. Растерянно взирая на мебель, Тюрин искал в ней хотя бы намек на прежние дружеские отношения. От этих вещей, среди которых он прожил большую часть жизни, от своего жилища, которое они представляли, он ждал сострадания и помощи. Только здесь он мог рассчитывать на настоящее понимание, но дом распадался на отдельные предметы, на безучастное, мертвое барахло, на котором можно было лишь спать, есть и не более того.

«Бежать, — подумал Тюрин, — в милицию. Рассказать все и остаться там до тех пор, пока не арестуют этого изувера. Да ведь он же услышит, — сам себе возразил Тюрин. — Он же сидит у себя в прихожей, прилипнув ухом к двери. Даст мне выйти из дома и кокнет под аркой или в переулке». Тюрин сомнамбулически бродил по предавшему его жилищу и безрезультатно пытался заставить себя изобрести хоть какой-нибудь выход. Он старался ступать как можно тише, постоянно выглядывал из комнаты и иногда надолго застывал напротив репродукции. Но австрийский канцлер все также смотрел поверх тюринского плеча и продолжал лукаво улыбаться, словно вся эта невероятная история развлекала его. «Да нельзя ведь в милицию!» — пошатнувшись от подступившей дурноты, подумал Тюрин. Он вспомнил слова Николая: «кореша в лапшу изрубят», — и тихо простонал:

— Только бежать, только бежать. Куда угодно. Да ведь не выйдешь отсюда. Караулит, сволочь! — Тюрин быстро проследовал в прихожую и приложился ухом к двери. В коридоре было по-ночному тихо, и это подлое безмолвие только подтвердило опасение Тюрина. «Не спит, — с отчаянием подумал он, — ведь я единственный свидетель. Не может он спать, пока я живой. Он же не успокоится теперь, тварь, трус. Будет сторожить». В разгоряченной голове Тюрина каруселью закружились пистолеты, бандитские финки, отмычки, кейсы с деньгами и соблазнительные сообщницы. Из всего этого хоровода преступной атрибутики он выбрал наиболее подходящее для его случая — отмычки. «У бандита не может не быть отмычек, — подумал он, — значит этот гад может в любое время сюда ворваться. Дождется, когда я усну, и войдет». От этой страшной мысли сердце Тюрина споткнулось и ненадолго остановилось, а затем принялось выстукивать что-то вроде азбуки Морзе, с большими леденящими паузами и бесконечными многоточиями.

— Только не спать, — прошептал Тюрин. — Нельзя спать!

Он вдруг сорвался с места и вскоре вернулся в прихожую, волоча за собой прикроватную тумбочку. К тумбочке он притащил стул, тяже-

ло повалился на него и схватился за сердце, словно ладонью можно было унять этот пугливый и такой уязвимый орган.

Просидел Тюрин недолго. Вспокоившись, он сбежал в комнату и вернулся оттуда с настольной ламой и удлинителем. Лампу он установил на тумбочке, а плафон приспособил так, чтобы свет бил прямо в глаза. После этого Тюрин снова сел и с каким-то злорадным удовлетворением подумал: «Вот теперь жди, когда я усну, мразь!»

Эта маленькая победа взбодрила Тюрина. Не отрываясь, он смотрел на раскалившуюся добела шестидесятиваттную спиральку словно слепой — не щурясь. Вначале свет лишь слепил Тюрина. Ему казалось, будто он видит собственные мозги, освещенные двумя тончайшими лучами. Но затем лучи начали распадаться на разноцветные нити и пятна. Из глаз потекли слезы, резкая боль заставила Тюрина зажмуриться, и он обрадовался этой боли. Пока Тюрин ощущал ее, ему не грозил никакой сон, а значит он был в безопасности.

К утру Тюрин страшно ослаб. Невыносимо яркий свет и бессонная ночь докончили его. Глаза щипало, слово туда плеснули кислотой, веки набухли, а в расплавленных мозгах лениво бродили неясные жуткие образы: огнедышащие пасти, вселенские пожары и океан кипящей магмы. Тюрин слышал, как в коридоре захлопали двери — соседи один за другим уходили на службу. От каждого такого стука он нервно вздрагивал, болезненно поживался и на несколько секунд приходил в себя от тяжелой сонной одури.

Неожиданно, в каком-то полусне-полуяви ему пришла в голову вполне трезвая мысль, что, мол, не станет Николай в это людное время ломиться к нему в квартиру. Струсит. Вслед за этим Тюрин подумал о побеге, о том, что такой случай может больше не представиться. Надо было лишь дождаться, когда из квартиры выйдет кто-нибудь из соседей, и вместе с ним выскочить на улицу, а там уж что бог пошлет.

Долго мысль о бегстве вызревала в утомленной голове Тюрина. Но именно из-за чрезмерной усталости чувство опасности несколько притупилось. Кроме того, от долгого ночного бдения у Тюрина сильно болела спина, хотелось лечь и уснуть, укрывшись одеялом по самую макушку.

Наконец, Тюрин покинул свой пост. Бесцельно пошатавшись по квартире, он опустился на краешек дивана, немного посидел и как куль повалился на бок. Старый диван охотно принял хозяина в свои объятия, и, сладострастно причмокивая, Тюрин вполз на середину и заполнил собой удобную мягкую выемку. В голове у него словно выключился свет, он начал стремительно погружаться в темную спасительную безд-

ну и вскоре уснул так крепко, как могут спать только вконец измученные люди.

Проснулся Тюрин от того, что кто-то не сильно, но настойчиво тряс его за плечо. Он так и не успел удивиться, сообразить, что в запертой квартире будить его некому, когда услышал над собой знакомый и почему-то невероятно страшный голос:

— Вставай, Макарыч. Хватит дрыхнуть. Поговорить надо.

После этих слов Тюрин мгновенно восстановил в памяти все, что с ним произошло прошлым вечером, вспомнил, кому принадлежит голос и чего можно ожидать от разбудившего его человека.

Не открывая глаз, Тюрин съежился до размеров десятилетнего ребенка, подтянул колени к подбородку, загородил сморщенное от страха лицо руками и тихонько заскулил:

— Не надо, Коля. Я ничего не видел. Я случайно. Тридцатку до полочки займы... Коля!

— Да не буду я тебя трогать, — услышал Тюрин. — Если бы хотел, сонного сделал. — Николай похлопал Тюрину по плечу и деловито добавил: — Что я, зверь что ли, своих-то? Соседи все-таки.

Последние слова подействовали на Тюрину как магическое заклинание. Он понял, что его срок еще не вышел, и судьба в виде страшного убийцы милостиво подарила ему жизнь. Осознав это, Тюрин почувствовал какой-то истерический восторг от того, что Николай оказался соседом, а не просто случайным душегубом. Он радовался и за себя, и за Николая, который несмотря на дьявольскую профессию сохранил в себе уважение к общечеловеческим традициям. Тюрин ликовал от того, что он «свой», и это жизнетворящее слово карамелькой каталось в его сознании. Ему вдруг открылся весь широчайший диапазон этого замечательного определения, его звучная мягкость и красота внутреннего смысла. Все, что до сих пор Тюрин считал своим, все, чем он владел — материальное и не материальное, не шло ни в какое сравнение с этим железным, дарящим жизнь, метафизическим тавром.

Еще некоторое время Тюрин не смел взглянуть на Николая. С закрытыми глазами как-то легче было верить в благополучный исход. Он боялся, что увидит над собой занесенный топор или колбасный тесак, страшился лица убийцы, а Николаю, видимо, надоело ждать или лицезреть окоченевшего от страха соседа. Во всяком случае, он нервничал, и Тюрин, как только открыл глаза, заметил это.

— Сядь-ка, Макарыч, — приказал Николай, — дело такое, а ты как баба...

Тюрин сразу ожил, засуетился, опустил ноги на пол и изобразил на лице живейший интерес, а Николай уселся верхом на стул в метре от дивана. Лицо у него было усталое, бледнее обычного, а покрасневшие, набрякшие веки говорили о том, что он, как и Тюрин, провел бессонную ночь.

— Не суетись, Макарыч. Лучше слушай и запоминай: ТЫ НИЧЕГО НЕ ВИДЕЛ, и все будет о'кей. Зачем тебе башку под топор ложить? Сам понимаешь. И мне лишняя кровь не нужна. Вот где она у меня. — Николай небрежно чиркнул ребром ладони по горлу, вымученно улыбнулся и потрепал Тюрина по щеке. — Ты хороший мужик, Макарыч. А этот, — он кивнул на стену, очевидно имея в виду свою жертву, — случайно. Я не мокрушник, Макарыч. Сам, придурок, полез... — Николай запнулся. — Все-то я рассказывать не буду. Тебе ни к чему. Только ты запомни, Макарыч, если что... — Николай внушительно помотал головой. — В общем, сам понимаешь. Не маленький.

— Да-да-да, Коля, — Тюрин отчаянно закивал, а Николай встал и перебил его:

— Да ты не кивай и не поддакивай. Лучше мотай на ус. — Он молча прогулялся по комнате, подошел к репродукции и щелкнул по ней пальцем. — Хорошая картинка. Где взял?

— Это давно, — забормотал Тюрин. — Трофейное, наверное...

— Антиквариат, — оценил Николай.

— Возьми себе, — почти выкрикнул Тюрин. Он соскочил с дивана и мгновенно очутился у стены. — Подарок. Я тебе ее дарю. Бери-бери.

— Не надо. Пусть у тебя висит. — Николай вытянул руку из кармана и пристроил за дубовой рамой перетянутый резинкой розовый брикет. — Это деньги, — пояснил он. — Пригодятся.

— Зачем? — испугался Тюрин и взмолился: — Я прошу тебя... Не надо...

— Надо, — спокойно оборвал его Николай. — Ты же ко мне за деньгами приходил. — Затем, ухмыльнувшись, он добавил: — Тридцатки нет. Вот, возьми, что есть. Чем богаты. Отдавать не надо. Это подарок.

— Коля, — жалобно запричитал Тюрин, — не надо мне денег. Честное слово, не надо. Я и так никому ничего не скажу.

— Дурак ты, Макарыч, — с какой-то неизбывной печалью проговорил сосед. — Тебе же все равно молчать. Так уж лучше за деньги, чем бесплатно. Смотри, Макарыч, береги себя. — Николай как-то совсем по-человечески, доверчиво потянулся и широко зевнул. — Пойду я, посплю. Значит, я надеюсь на тебя, Макарыч. Смотри, спать буду спокой-

но. — Он щелкнул австрийского канцлера по носу и усмехнулся: — Умели же, бля, жить. И ты учишь. Тогда все будет о'кей. Понял?

— Понял, — обреченно кивнул Тюрин.

3

На следующий день Тюрин пришел на работу раньше обычного. Ночь он провел отвратительно, все время вставал, пил воду и, проходя мимо репродукции, косился на пачку купюр толщиной в палец, которая так и осталась торчать из-за рамы. На душе у Тюрина было пусто, как после приступа рвоты. Всякую мысль о Николае и его жертве он гнал от себя и старался думать только о том, как сильно он устал. Страх покинул Тюрина, но осталось какое-то предощущение неотвратимой беды, животное предчувствие грядущей катастрофы.

Лежа на диване, Тюрин частенько трогал левую сторону груди, пытаясь на ощупь проверить работу сердца, а оно билось нормально, без перебоев, но словно у раскрытой форточки. От этого Тюрину казалось, что в комнате холодно и промозгло. Он натягивал на себя одеяло, ворочался и тяжело вздыхал.

После ухода Николая Тюрин так и не решился близко подойти к репродукции. Розовый цвет банкнот напоминал ему разбавленные водой кровавые капли на белой поверхности ванны. Эти капли почему-то особенно четко отпечатались в его памяти. Он даже видел их ночью в одном из кошмарных снов. Тяжелые как дробь, они фонтаном вылетали из черной безобразной раны и совокупившись со своими предшественницами, скатывались вниз, чтобы уступить место точно таким же.

Уже под утро Тюрин увидел сон, после которого он сразу поднялся и поспешил уйти на работу, забыв позавтракать и даже причесаться. По правдоподобию и яркости видение нисколько не уступало яви, и, очнувшись, Тюрин не мог с уверенностью сказать, видел он это в действительности или здесь поработало большое воображение. В очередной раз перевернувшись на другой бок, Тюрин услышал тихий бумажный шелест, будто сквозняк пошевелил на столе газету. Еще совсем недавно, до этой дикой истории, он не стал бы интересоваться, что там шуршит, но измученный страхом, он снова почувствовал свою полную незащитность перед вселенским злом, которое сейчас олицетворял для него сосед-мокрушник.

Скорее машинально, чем сознательно, желая только рассмотреть, в каком обличье пришла к нему безносия, Тюрин резко откинул одеяло и опустил ноги на пол. Вначале ему показалось, что в комнате никого

нет. Только приглядевшись, он заметил у противоположной стены черный силуэт высокого изящного человека.

В комнате было достаточно темно, и разглядеть гостя не представлялось никакой возможности. И в то же время видно было, как рассеянный в ночном пространстве свет отражается в тонком золотом орнаменте на длинном распахнутом камзоле. Где-то под подбородком непрошеного гостя, с периодичностью вдоха и выдоха, поблескивали контуры атласного банта, а немного выше едва заметно выделялись два белесых круглых пятнышка. Иногда на мгновение они исчезали, но тут же появлялись вновь, и Тюрин сразу, без разглядывания и гадания признал в них человеческие глаза.

— Кто вы? — одними губами прошептал Тюрин. Черная тень медленно отделилась от стены и так же медленно стала приближаться к хозяину квартиры. С каждым шагом черты лица непрошеного гостя и детали костюма становились все четче. Тюрин уже мог различить более темные впадины глаз, тень от носа и безвольный узкий подбородок. Он даже сумел разглядеть, что волосы, а вернее парик у незнакомца цвета старого серебра. Когда же между ними осталось не более полутора метров, Тюрин вдруг узнал этого человека, испугался до полусмерти и, вскрикнув: «Боже мой», откинулся на спинку дивана.

— Хватит тебе, — голосом Николая проговорил оживший австрияк. — Ты же не баба, а я не покойник. Что ты орешь? — Гость говорил тихо и внятно. Тюрин видел, как шевелятся его губы, как тускло мерцает свет в золотой оторочке канцлерского камзола. Видел и не верил своим глазам.

— Я к тебе вот по какому делу, — сказал ночной визитер. — Ты, пожалуйста, не обижай Николая, возьми деньги. Надо уметь использовать все, что происходит с тобой в жизни. Случилось, ну что ж, ты не виноват. От всего не убережешься. Знаешь поговорку: «дают — бери, бьют — беги»? — гость усмехнулся в усы. — Ты же трус, в милицию не пойдешь. Так что бери и все будет о'кей.

— Нет, — прошептал Тюрин, — не могу.

— Дурашка, — задушевым голосом продолжил гость, — возьмут Николая, он все равно скажет, что давал тебе деньги. Ты уже соучастник. От судьбы не уйдешь. Бери и радуйся, что остался жив, да еще заработал себе на приличные похороны.

— Нет, — в отчаянии прошептал Тюрин, — я пойду в милицию... Уеду из Москвы.

— Куда ты уедешь, милый? — посмеиваясь, спросил Кауниц. — От судьбы не уедешь. И Николай за тобой следит. Чуть что, пику в бок и

пишите письма. А его не будет, друзья с тобой разберутся. Ты же их даже в лицо не знаешь. Подойдет к тебе на улице человек, спросит время и отойдет, а ты потом собирай кишки по тротуару. А то прямо здесь, в твоей же квартире, как барана зарежут. Николай же к тебе вошел, как к себе домой. Замки эти ваши для таких как вы и существуют, чтоб спяну не перепутали квартиру. А для них все двери открыты. Так что, бери деньги, бери, дорогой. Пригодятся. Может, ты думаешь, он тебя в свою компанию потащит, работать заставит? Да на черта ты ему сдался такой. Молчал бы и ладно. В общем, бери и не выпендривайся, а я сейчас пойду к Николаю и скажу, что ты уже зашил деньги в подушку...

— Ох, боже мой, боже мой, — обхватив голову руками, забормотал Тюрин. — Бред какой-то. Этого не может быть. Это же сон. Этого не может быть никак. — Он поднял голову и посмотрел перед собой. В комнате стало немного светлей, и в предрассветном полумраке Тюрин разглядел на стене темный прямоугольник репродукции.

Неожиданно легкий щелчок заставил Тюрина вздрогнуть. А когда наконец он поднялся и включил свет, будильник показывал половину седьмого утра. Репродукция висела немного криво. Пачка сотенных банкнот выскользнула из-под рамы, и деньги веером разлетелись по всей комнате. Виновата, по всей видимости, была лопнувшая резинка, но Тюрин воспринял это как дурной знак, расшифровать который не стоило труда.

Осторожно переступая через купюры, словно пробираясь по минному полю, Тюрин выбрался в прихожую. В ванной он заметил, что у него сильно дрожат руки и колени, а в зеркале Тюрин увидел совершенно чужое лицо: бледное, с выпученными красными глазами и перекошенным слипшимся ртом.

Умылся Тюрин быстро. Он провел мокрой рукой по лицу и, позабыв вытереться, покинул ванную. В комнате он кое-как оделся, на ходу натянул пальто и выскочил из квартиры. Но едва Тюрин захлопнул за собой дверь, как в коридоре появился Николай.

— Доброе утро, Макарыч, — будничным сонным голосом поздоровался он. — Ты что это так рано?

Тюрин на некоторое время потерял дар речи и застыл в какой-то неестественной нелепой позе. Неожиданное появление страшного соседа пригвоздило его к месту. Он вдруг подумал, что его слишком ранний уход выглядит подозрительно, и чтобы развеять возможные сомнения Николая, Тюрин поспешно сообщил:

Что-то не спится, Коля. Я на работу. Пораньше решил.

В противоположном конце коридора хлопнула дверь, послышались неторопливые мужские шаги, и Николай громко рассмеялся.

— Ну, заходи после работы, пивка попьем, — сказал он. — Смотри, не забудь своего обещания, а то ведь по попке надаю. Все о'кей?

— О'кей, о'кей, — заторопился Тюрин. — Я все помню, Коля.

— Ну смотри, — с жутковатой, беспечной улыбкой повторил Николай и закрыл за собой дверь.

По дороге на службу Тюрин оборачивался каждые пять метров. Он внимательно, с жадностью вглядывался в лица прохожих, шарахался от молодых людей с сомнительной внешностью, а когда сообразил, что ведет себя глупо и подозрительно, выругался, как не ругался никогда в жизни, и почувствовал настоящее удовольствие и даже облегчение от заковыристого матерного словца.

Рабочий день пролетел для Тюрина совершенно незаметно. Он и раньше не особенно тяготился восьмью часами службы, поскольку по своему любил свою работу. Здесь из обычного гражданина он превращался в человека, преисполненного чувства собственной значимости. А сейчас Тюрин заметил, что кабинетик его стал как будто меньше. Мебель: канцелярский стол, сейф, шкаф и стеллаж сгрудились вокруг него плотным кольцом, словно взяли его под свою защиту. И Тюрин вдруг ощутил невыразимую благодарность к родному учреждению, которое сделалось для него единственным местом, где он может чувствовать себя в относительной безопасности.

Многие в тот день говорили инспектору отдела кадров, что он плохо выглядит. Тюрин бормотал в ответ что-то невразумительное, кисло улыбался и прятал глаза. Несколько раз он выходил на улицу подышать воздухом, затем запирался в туалете и рассматривал свое невыразительное лицо в тусклом облупившемся зеркале. Глядя на потрепавшееся отражение, Тюрин пытался отыскать в своем облике что-то такое, от чего можно было бы оттолкнуться: какую-нибудь жесткую вертикальную складку между бровей или хотя бы тень решительности в глазах, но ничего кроме разочарования это разглядывание ему не приносило. Вконец разуверившись в себе, Тюрин возвращался в свой зарешеченный бункер и в который раз брался за работу, но очень скоро забывал, зачем достал тот или иной документ. Он ни на минуту не переставал думать о Николае и деньгах, о милиции и своей преждевременной смерти. Тюрин с тоской размышлял о том, что нормальная жизнь для него закончилась, и отныне он будет жить ожиданием собственной кончины, готовиться к ней, ждать ее ежедневно и ежечасно, независимо от того, решится он или не решится пойти в милицию. Он

был уверен, что Николай все равно попытается избавиться от единственного свидетеля и лишь дожидается удобного случая, чтобы сделать это вне дома, где жил сам. Мысль эта приводила Тюрина в отчаяние, и тогда он вспоминал свой странный сон. Разговор с австрийским канцлером крепко засел у него в голове. Тюрин уже много раз представлял, как на улице к нему подходит незнакомый молодой человек, спрашивает «сколько времени?» и тут же отходит. От этой напасти не существовало никакой защиты.

Не раз Тюрин думал и о побеге из Москвы в какой-нибудь южный провинциальный городок в Крыму или на Кавказе, но затем появлялся все тот же незнакомый человек со своим подлым вопросом, и Тюрин снова ощущал полную безнадежность. Ни перемена места жительства, ни другая фамилия не давали ему никаких гарантий: безликий убийца с железным постоянством появлялся в конце каждой воображаемой картины.

Тюрин и не заметил, как рабочий день подошел к концу. Мысль о том, что надо возвращаться домой, застала его врасплох. Он вдруг понял, что лишился единственного, что у него было помимо службы — собственного дома. Это было уже не жилище, а камера смертника. Тюрьма, в которой Тюрин никогда не сидел, в сравнении с собственной квартирой показалась ему сейчас куда более уютным и безопасным местом.

Больше всего Тюрина напугало то, что потерю дома ничем нельзя было восполнить. Ему просто не было замены. Он с тоской подумал о родственниках, которых не знал, перебрал в уме немногочисленных знакомых и понял, что одинок настолько, насколько бывают одиноки только бездомные собаки. У Тюрина даже дух перехватило от этого открытия. Он начал вспоминать школьных друзей, бывших и нынешних соседей и снова вернулся к Николаю. Что-то сатанинское появилось в выражении глаз Тюрина, когда он вспомнил о своем истязателе. «А ведь он меня примет, — с несвойственным ему азартом подумал Тюрин. — Чем не друг?». Лицо его как-то сразу преобразилось, глаза налились свинцовой ненавистью. Казалось, покажи ему сейчас Николая, и Тюрин собственными руками сделал бы с ним то, о чем недавно не мог и подумать без содрогания. Это давно позабытое сильное чувство изнутри обожгло Тюрина, всколыхнуло все его существо. У него моментально созрел план действий, план, который он неоднократно прокручивал в уме, но не мог отважиться на него из-за страха. Тюрин решил сейчас же пойти в милицию и обо всем рассказать. Идея эта показалась ему такой простой и естественной, что он даже застонал от облег-

чения и удовольствия. Ему вдруг сделалось душно и тесно в этой обшарпанной пыльной каморке. Он ощутил себя свирепым хищником, способным на любой, даже самый рискованный поступок, и зверь этот безумствовал в нем, рвался с цепи и требовал крови. Незнакомое чувство свободы не умещалось в душе инспектора отдела кадров. Оно требовало немедленного выхода, решительных действий, и Тюрин, торопливо опечатав дверь своего кабинета, бросился в ближайшее отделение милиции.

Он и не заметил, как отмахал два квартала. Шел Тюрин широким шагом, энергично размахивал руками и вслух подбадривал себя сильными междометиями, которыми завершал каждую додуманную до конца фразу. Встречные прохожие испуганно уступали ему дорогу и оборачивались. Тем, кто шел с ним в одном направлении, он наступал на пятки, налетал на них то плечом, то всем корпусом и, не извинившись, обгонял, злясь, что на улице так много народу.

Перебежав через дорогу, Тюрин наконец увидел квадратную вывеску отделения милиции. Он сразу прибавил шагу, почти бегом одолел оставшиеся несколько метров и когда поставил ногу на единственную истертую ступеньку, когда он уже взялся за дверную ручку, кто-то тронул его за рукав и, извинившись, вежливо спросил:

— Вы не скажете, сколько времени?

— Что?! — страшным голосом закричал Тюрин и резко обернулся. Прохожий шархнул от него, как от чумного и изумленно пробормотал:

Извините. Время спросил.

Прохожий быстро смешался с толпой, а Тюрин, потрясенный дурацким вопросом, истерично крикнул ему вдогонку:

— Что?! Время тебе...?!

Внезапно глаза его потухли, а лицо сделалось пепельно-серым. Он схватился рукой за сердце и, сложившись как тряпичная кукла, повалился на тротуар. Последнее, что Тюрин запомнил, это ноги, с десятком разнокалиберных разнополых ног, обступивших его тесным полукругом.

4

Очнулся Тюрин в больничной палате на десять коек. О Николае он вспомнил, как только пришел в себя, и от этого воспоминания у него перехватило дыхание и закололо сердце, да так сильно, что соседям по палате пришлось срочно вызывать врача.

После третьего подобного приступа Тюрин дал себе слово думать только о чем-нибудь приятном. Перебирая в памяти дни, месяцы и годы, он постепенно дошел до выпускного вечера, а добравшись, грустно усмехнулся. На этом вечере, больше сорока лет тому назад, его первая любовь назвала Тюрина фискалом и дураком. Как ни обидно было извлекать из памяти подобные вещи, а все же Тюрин попытался восстановить образ девушки, ее лицо, голос и во что она была одета. Эти печальные воспоминания неожиданно растрогали Тюрина. Он давно уже мысленно простил девушку, имени которой не помнил, и чтобы чем-то заняться, принялся фантазировать: что было бы, если бы в тот вечер одноклассница ответила ему взаимностью. Эта незамысловатая игра занимала Тюрина целых три дня, а потом надоела до тошноты. Какое бы продолжение он не изобретал, получалось всегда одно и то же: дети, внуки и работа инспектором отдела кадров.

На четвертые сутки больного посетил Николай. Когда он вошел в палату, Тюрин спал и видел во сне австрийского канцлера. Тот колот Тюрина длинной острой иглой в самое сердце и, посмеиваясь в усы, говорил:

— Ты, Макарыч, очень скучно живешь. Тебе надо немного встряхнуться. Убей кого-нибудь, что ли. Вон, хотя бы Николая.

— Я не могу, — простонал Тюрин.

— Тогда возьми деньги и потрать. Сходи в ресторан, напейся, как свинья. Или купи новый костюм и женись. Найдешь себе крепкую старуху с железными зубами. Будете с ней целыми днями в подкидного резаться. А Николая мы одолеем. Напоишь его пьяным, а когда уснет, на вдохе всыплешь ему в раскрытый рот гречки. Пьяный не прокашляется. Верный способ.

— Да не могу я! — крикнул Тюрин и тут же услышал голос Николая:

— Макарыч. Слышь, Макарыч? Принимай гостей.

Тюрин открыл глаза, очумело посмотрел на своего инквизитора и, едва шевеля спекшимися губами, медленно произнес:

— Нашел?

— Нашел, — самодовольно подтвердил Николай. Он сидел на стуле рядом с кроватью и с ласковой укоризной на лице разглядывал Тюрина. — Да ты не бойся, Макарыч. — Николай легонько похлопал Тюрина по руке. — Гад ты, конечно. Пользуешься моим хорошим отношением. Знаешь, что не трону, и пользуешься.

— Я не пользуюсь, Коля, — кротко прошептал Тюрин. Он вдруг подумал, почему это Николай так смело говорит при соседях по палате, и скосил глаза к окну. — А где все? — поинтересовался он.

— Покурить пошли, — хохотнул Николай. — Да ты не бойся. Я, Макарыч, решил забрать тебя домой. С доктором я уже обо всем договорился. Нормальный мужик попался. Говорит, дня через четыре можно выписывать, а пока полежишь в отдельной палате, как белый человек.

— Не надо меня забирать, Коля, — с ужасом пролепетал Тюрин. — Дай полежать спокойно.

— Нет, Макарыч, — серьезно ответил Николай. — Я тебе как своему поверил, а ты сопли распустил. Где гробанулся, помнишь?

Лицо у Тюрина сделалось таким несчастным, что Николай, сменив гнев на милость, задушевно продолжил:

— Полежишь дома, поправишься. Да что ты, Макарыч, как баба. Все будет о'кей. Я тебя на хорошую работу устрою. Будешь у меня под крылышком, как у Христа за пазухой. Сколько ты у себя имеешь?

— Не надо меня устраивать, Коля, — всполошился Тюрин. — Мне до пенсии два года осталось.

— Дурак-человек, — искренне удивился Николай. — Я же тебя устрою так, что ты пенсию получишь ту, что надо. Ты меня слушай. Со мной не пропадешь. Скажи лучше, что умеешь делать?

— Я инспектором по кадрам работаю, — после некоторой паузы ответил Тюрин.

— Да? — обрадовался Николай. — Ну, молодец! Будешь нам кадры подыскивать. Положим тебе три твоих нынешних зарплаты. Хватит?

— Ой, Коля, не надо мне ничего, — взмолился Тюрин. — Дай спокойно доработать. А хочешь, я уеду из Москвы? Хоть на Колыму или Сахалин? Молчать буду как рыба. Не увидишь и не услышишь меня никогда.

— А вот этого не надо, — ответил Николай. — Я потому и пришел, чтобы увидеть и услышать тебя. Запомни, Макарыч, я своих не бросаю. — Николай с тоской в глазах осмотрел палату, перевел взгляд на Тюрина и со вздохом пожаловался. — Навязался ты на мою голову. — После этого он встал и негромко свистнул. Дверь открылась почти сразу, и в палату вошли два дюжих санитаров. Один из них толкал перед собой каталку для лежачих больных. — Поедем в отдельную палату, — совершенно другим тоном проговорил Николай, и санитары ловко переложили обессиленного больного на тележку. Все это произошло так неожиданно и быстро, что Тюрин не успел ни воспротивиться, ни возразить. Его выкатили из палаты, провезли по пустому коридору и через не-

сколько секунд он оказался в небольшой комнате с закрашенными до половины окнами.

Первое, что Тюрину бросилось в глаза, это большая репродукция в дубовой раме, укрепленная над прикроватной тумбочкой. Николай перехватил изумленный взгляд Тюрина и с гордостью сообщил:

— Это я захватил, чтобы тебе веселее было. Врачи говорят, что домашняя обстановка помогает выздоравливать. — Николай подошел к тумбочке, и пока Тюрина сгружали на приготовленную больничную койку, открыл дверцу. — Здесь гостинцев немного: окорочок, балычок, коньячок. В общем, все, что нужно. Надо будет колбаску порезать — вот кнопка. Работает. Нажмешь — придет медсестра. Я договорился. Ты, Макарыч, будешь здесь лежать как король. А если надо будет что посерьезнее, вот к нему обращайся. — Николай хлопнул по плечу одного из санитаров. — Я его проинструктировал. Так что, давай, лежи спокойно.

Тюрин перевел мученический взгляд на санитаря, и тот обещающе улыбнулся, а затем подтвердил:

— Все будет о'кей, батя.

Санитары исчезли так же быстро, как и появились, а Николай, уходя, обернулся в дверях и сказал:

— Да, тебе могут бабки понадобится. Мало ли на что. Всякое бывает. — Он достал из кармана пачку сотенных, шагнул к Тюрину, а тот из последних сил вдруг как-то по-кошачьи мяукнул и торопливо забормотал:

— Нет-нет-нет, Коля. Не надо! Не надо мне денег. Все есть. Ну, зачем мне здесь деньги?

— Да ладно тебе, — сказал Николай. — Ты, главное, выздоравливай. — Он сунул пачку Тюрину под подушку, по-приятельски улыбнулся и начал прощаться. — Пока, Макарыч. Смотри, чтоб все нормально было. Обращайся к мужикам, не стесняйся. За все ухлопано. — Николай кивнул и, наконец, закрыл за собой дверь.

Оставшись один, Тюрин вконец расстроился. Он в который раз подумал о побеге, но вспомнил двух могучих санитаров и застонал. Стон получился слишком громким, и Тюрин испугался, что его услышат.

— Пропадите вы все пропадом! — прошептал он. После этого Тюрин отвернулся к стене, закрыл глаза и от пережитых волнений и усталости быстро уснул.

После посещения Николая и переезда в отдельную палату Тюрин вдруг сделался угрюмым и неразговорчивым. По ночам, во сне к нему по-прежнему являлся владелец венского дворца, но теперь он выгля-

дел каким-то бледным и чахлым, словно кажущаяся плотность канцлера целиком и полностью зависела от состояния Тюрина. Кауниц скромно садился на самый краешек кровати, тяжело вздыхал и с таинственным видом, голосом Николая шептал:

— Или он тебя, или ты его. Он — сильный, ты — хитрый. Напоишь его пьяным и на вдохе в рот ему водки. Пьяный не прокашляется.

В очередной раз услышав этот совет, Тюрин не испугался и не возмутился. Он даже пробормотал:

— Посмотрим. Посмотрим, — затем ногой спихнул вельможу с кровати, и тот, бледнея и теряя очертания, неслышно проследовал мимо Тюрина в свой двухмерный, идеально прописанный мир.

На третий день Николай снова навести Тюрина. Он пришел веселый, гладко выбритый, в безукоризненно белом щегольском халате. Халат так ладно сидел на Николае, будто он сшил его на заказ и только сегодня получил: новенький, накрахмаленный, с большими карманами для стетоскопов и прочих гуманных инструментов врачебной практики. Николай вошел, тихонько прикрыл за собой дверь и прямо с порога начал:

— Здорово, Макарыч. Ну, ты даешь. Я думал, ты лежишь помираешь, а у тебя рожка, как у мясника. Молодец. Так и надо. — Николай подошел к кровати, протянул Тюрину руку. Когда тот собрался было пожать ее, он разжал пальцы, и с ладони на грудь Тюрину прыгнула какая-то пакость. Сердце у больного как будто споткнулось и заныло, а Николай громко рассмеялся. — Это тебе, Макарыч, подарок. Чтоб не скучно было лежать. Игрушка что надо. У нас таких не делают. — Он взял маленькую пластмассовую лягушку и повертел ее перед носом у Тюрина, а тот, оправившись от испуга, капризно проговорил:

— У меня же сердце, Коля. Что же ты меня так пугаешь?

— Да, тебя испугаешь, — ответил Николай и подмигнул. — Это ты меня напугал, Макарыч. Это я должен валяться на твоём месте, процедуры принимать, а ты, вон бугай какой, лежишь, как в санатории, и в ус не дуешь. А я — крутись. Ну, ничего, — мечтательно проговорил Николай, — уволишься с работы, поедем с тобой на юг, отдохнем как люди. Море, телки, только успевай карман разевай. — Николай рассмеялся и с любовью посмотрел на Тюрина. — Ты как здесь, ничего, не балуешься? — спросил он.

— Ну, ты что, Коля, — морщась от сердечной боли, жалобно ответил Тюрин. — Здесь и поговорить-то не с кем. Лежу тихо, помираю. — Неожиданно Тюрин вспомнил о репродукции, кивнул на нее и попр-

сил: — Забрал бы ты ее. А то этот канцлер по ночам спать не дает, во сне приходит.

— Нормально, Макарыч, — ответил Николай, — тебе нужна домашняя обстановка. Пусть висит. Да и осталось-то всего один день. Завтра я заберу тебя. Будешь дома целыми днями телевизор смотреть, да в потолок поплевывать. Какие у тебя заботы? Даже завидно. Эх, хорошо, наверное, вот так прожить всю жизнь, как ты... — Николай посмотрел на Тюрина и вдруг расхохотался. — Да ведь со скуки можно подохнуть. А? И денег мало платят. — Он протянул руку к стене, нажал на кнопку и спросил: — Сколько ты у себя получаешь?

— Немного, Коля, но мне хватает, — впервые застенявшись своей зарплатой, проговорил Тюрин.

— На хлеб и помидоры? — усмехнулся Николай.

— Не только. Я неплохо питаюсь, Коля, — ответил Тюрин и для веса приврал: — Даже откладываю...

— Ладно врать-то, — перебил его Николай и посмотрел на часы. В это время в дверь постучали, и в палату вошла строгая дородная сестра. При виде Николая выражение лица у нее изменилось. Она вежливо, с кокетливой улыбкой поздоровалась, а затем спросила:

— Вам что-нибудь надо?

— Кофе, лапуль. Две чашечки кофе, — ответил Николай. — Ты как, Макарыч?

— У меня же сердце, Коля, — обиделся Тюрин.

— Тогда одну, — сказал Николай медсестре. — Покрепче и ложечку сахара. а ты, Макарыч, будешь что-нибудь? Что там у вас есть? — обратился он к медсестре.

— Кефир, — ответила та, но Тюрин быстро проговорил:

— Да не надо мне ничего. Мне лучше что-нибудь от сердца. Разболелось как...

Николай не дал ему договорить.

— Кофе и сердечное, — сказал он.

Едва за сестрой закрылась дверь, Николай открыл тумбочку, по-хозяйски порылся в ней и достал принесенный им же коньяк.

— Так ты его даже не раскупоривал? — удивился он. — Ты что, Макарыч, не пьешь совсем?

— Я же болею, Коля, — ответил Тюрин. — Да я и раньше никогда не увлекался. Не привык. Отец у меня сильно закладывал. Может, поэтому.

— Отец — это хорошо, — рассеянно сказал Николай. — Значит, гены есть.

Что такое гены, знаешь небось?

— Знаю, — ответил Тюрин. Он хотел было объяснить, что гены здесь ни при чем, что не пил он потому, что не было у него такой потребности, но Николай не дал ему договорить. Он наклонился к Тюрину и, серьезно, глядя ему прямо в глаза, тихо спросил:

— А что ты тогда видел, Макарыч? В тот день, когда зашел ко мне за тридцаткой? — Этот страшный вопрос прозвучал настолько неожиданно и не к месту, что Тюрин конвульсивно глотнул воздуха, захлопнул рот и вытаращился на Николая так, словно тот приставил ему ко лбу ствол пистолета. — Говори, не бойся, — наблюдая за метаморфозами тюринского лица, сказал Николай.

— Я ничего не видел, — наконец выдавил из себя Тюрин. — Я денег спросить... до полочки, а тут дверь открыта. — Тюрин замолчал, а Николай громко и каким-то противным начальственным тоном потребовал:

— Ну, давай, рожай. Дверь открыта... Дальше что?

— Ну, что же ты, Коля, дверь не закрываешь? — умоляюще проговорил Тюрин. — Это хорошо, что я зашел, а если бы не я, если бы кто-нибудь другой?

Эта фраза необыкновенно понравилась Тюрину. Он вдруг снова ощутил себя «своим», совершенно «своим». Другом, родственником, соучастником, ангелом-хранителем Николая. Он почувствовал, что накрепко связан с этим дьявольским и могущественным человеком, и что связывающие их нити уже ничем не разорвать. Может быть, впервые в жизни Тюрина посетило творческое вдохновение, и он мысленно увидел себя кроликом под брюхом у льва. Прямо над ним жаркой бездонной дырой зияла пасть, способная проглотить его целиком. По обеим сторонам вверх уходили две колоссальные мускулистые лапы, каждая из которых играючи могла превратить его в лепешку. И хотя лев был ужасен и непостижим для Тюрина, это все же был «свой» лев.

Впервые в жизни Тюрин ощутил удовольствие от страха. Он щекотал его усохшее самолюбие, кружил голову, словно крепкое вино. Тюрин почувствовал себя шерстинкой, когтем, клыком исполинского животного. Ему вдруг захотелось, чтоб кто-нибудь узнал об этом, увидел, как он запросто разговаривает с кровожадным зверем, пусть и не гладит по гриве, а всего лишь украдкой трогает пальцем кончик его хвоста, по-своему жмет к нему и слизывает кровавые брызги с его усов. Тюрину и впрямь захотелось сообщить Николаю что-нибудь эдакое, интимно-секретное, доказать свою бесконечную преданность и любовь, рассыпаться в благодарности за то, что он живой, а не лежит в ванне с

перерезанным горлом. За то, что допущен к страшной тайне, что Николай, этот невообразимый человек рискнул, дал поддержать ему, кролику, свою жизнь, пожонглировать ею в свое отсутствие. Это почти невыносимое по остроте чувство на какое-то время захлестнуло Тюрина, из глаз его потекли слезы и, едва справившись с собой, он торжественно выдохнул из себя:

— Коля, тебе нечего бояться! Я все видел, но тебе нечего бояться!
— А дальше Тюрина понесло в философию. Объявив, что жизнь — штука сложная, он принялся оправдывать Николая в его же собственных глазах. Николай слушал рассеянно и недолго. Видимо, все, что ему хотелось узнать, он выяснил, и после того, как Тюрин назвал увиденное в квартире — трагической ошибкой, Николай резко оборвал его. Он вдруг засмеялся, хлопнул Тюрина по животу, да так сильно, что тот захлебнулся на полуслове.

— Ну, ты даешь! Молодец! — с удовольствием похвалил он. — Тебе, Макарыч, с трибуны надо выступать. Я люблю разговорчивых.

В это время в палату вошла медсестра с чашкой горячего кофе на общепитовском подносе. Довольная своей расторопностью, она понюхала воздух над чашкой, похвалила кофе и подошла к кровати. Но Николай быстро поднялся и начал прощаться.

— Спешу-спешу-спешу, — заторопился он. — Кофе вот Макарыч выпьет, с коньячком. А у меня дел полно.

— Ну-у, — огорчилась медсестра, — а я-то старалась.

— Это хорошо, что старалась, — похвалил Николай и посмотрел на Тюрина, а тот, дождавшись этого взгляда, расплылся в широкой улыбке, сцепил пальцы в замок и помахал двуручным кулаком над головой.

— Все будет нормально, Коля, — твердо пообещал он.

— Смотри, не балуй, — шуливо погрозил пальцем Николай. — Завтра домой.

5

Когда Николай покинул палату, и у Тюрина выветрился из головы верноподданнический восторг, он вдруг ощутил стыд и бессильную ненависть к этому человеку. Подобное чувство Тюрин испытывал в своей жизни несколько раз, когда приходилось выбирать между позорной капитуляцией и побоями. Получалось, что Тюрин всегда выбирал унижения. В подобные моменты фантазия его разыгрывалась до предела: в каждом пьяном, во всяком ханыге он видел своего палача. Тюрин очень живо мог представить, каким образом его убьет тот или иной субъект. И хотя подобные вещи с ним приключались нечасто, каждый

случай он запоминал до мельчайших деталей. Вначале его терзал страх быть убитым или зверски избитым, затем наступало отрезвление, и в Тюрине просыпалась ненависть к обидчику, а уже потом, после спокойного анализа, наваливался мучительный стыд. Мысленно Тюрин разглядывал себя со стороны во время позорного инцидента, вспоминал все сказанное им, представлял выражение собственного лица, жесты, и после каждой такой экзекуции он подолгу испытывал к себе отвращение.

— Заберите это, — сказал Тюрин поскучневшей медсестре и кивнул на чашку дымящегося кофе. — Я не буду.

— Дело ваше, — равнодушно ответила медсестра.

Оставшись один, Тюрин перевернулся на бок, накрыл голову подушкой и жалобно застонал. Он бормотал проклятья в адрес Николая и даже немножко всплакнул. В такие минуты, когда Тюрин особенно остро ощущал собственную ничтожность, на какое-то время он вдруг становился храбрым до безрассудства. Сколько раз в мечтах Тюрин расправлялся с самыми отпетыми головорезами: бил их ногами, разрезал ножом, сдавал в милицию, но с Николаем он ничего не мог сделать даже в этих бредовых фантазиях. Его мучитель был непобедим. Николай не брали воображаемые пули, виртуальные ножи ломались о него, как спички, воображаемая дубина просто отскакивала от головы Николая, и даже милиция, как воображаемая, так и реальная, ничем не могла помочь Тюрину.

Оставшиеся сутки Тюрин проспал. Изредка он просыпался, вспоминал о своем позоре и снова засыпал. А когда Николай снова появился в палате, он облегченно вздохнул и даже обрадовался его приходу. Думать о справедливом возмездии рядом с этим чудовищем было невозможно, и не имело смысла. Тюрин вновь почувствовал себя щепкой посреди широкой реки и с облегчением отдался этому чувству. Совесть больше не мучила его в этот день. Тюрину было не до нее. Наоборот, ему нравился тот переполох, который поднялся из-за его отъезда. Тюрину и раньше приходилось выписываться из больниц, но тогда все выглядело очень буднично. Зато сейчас две молоденькие практикантки, щепеча, помогли ему одеться. Старшая сестра каждую минуту забежала в палату и справлялась, как идут дела. Затем Тюрина уложили на носилки, и важный доктор минут десять консультировал его, как надлежит питаться и какой соблюдать режим.

До машины Тюрина несли все те же здоровенные санитары. В это время две медсестры поправляли на нем отутюженный пиджак, а гуляющие больные смотрели ему след, и Тюрин прочитал на их лицах

уважительный вопрос: «Что это за птица? Не иначе как народный избранник районного масштаба. А то и областного».

«Скорая» действительно оказалась скорой. До дома доехали почти мгновенно, с эффектным завыванием сирены. И когда Тюрина внесли в его квартиру, он уже не удивился тому, что комната была прибрана, постель разобрана, а на неведомо откуда появившемся журнальном столике стояла большая ваза с фруктами и несколько пузырьков с лекарствами.

Помогая себя раздевать, Тюрин думал о том, как все-таки приятно побыть иногда всеми уважаемым человеком, или хозяином, или... Дальше Тюрин не пошел, не желая портить себе настроение.

Тюрина аккуратно положили на диван, накрыли одеялом и пожелали спокойного выздоровления. А когда Николай, наконец, проводил санитаров, и они остались вдвоем, Тюрин растроганно сказал:

— Спасибо, Коля. Честное слово, спасибо. Я, знаешь ли, человек маленький. Мне всякое внимание приятно. А откуда у нас внимание к таким как я? Нас много. Всех разве уважишь. А ты вот уважил. Спасибо тебе. — Последние слова Тюрин произнес с дрожью в голосе. Николай, довольный произведенным эффектом, стоял посреди комнаты и цокал языком.

— Что же ты, Макарыч, опять сопли распустил? Какой-то ты не мужик, ей-богу. Чуть что — раскисаешь. Уважать себя надо. Силу воли тренировать. От силы, Макарыч, кайф сильнее, чем от водки. Водка — ерунда. Сильный человек пьет для радости, слабый — от страха. Я, Макарыч, раньше тоже боялся: отца, учителей, начальство, а потом понял, что бояться надо только одного: что кто-то окажется сильнее тебя. Ну, а как доперло до меня, так все и пошло, как надо. — Поучая Тюрина, Николай подошел к репродукции, которая каким-то образом уже оказалась на прежнем месте, потрогал пальцем старое темное дерево, затем вернулся к дивану и присел на краешек. — Силу, Макарыч, и показывать не надо, ее и так видно. А на людях храбрятся только слабаки, слявки. Я вот позавчера в гостях был. Так там один фраер полез на меня, рубаху до пупа разодрал. Это на людях-то. Я ему на ухо: пойдем, мол, фраерок, здесь неудобно. В подъезде хоть портки на себе раздирай. Что ты здесь-то ерепенишься? Испугался, гад.. Думал глоткой меня взять. — Слушая Николая, Тюрин краем глаза заметил на белом пододеяльнике какое-то движение. Он повернул голову и увидел небольшую змейку с желтыми пятнышками на шее. Сердце у Тюрина пару раз выстрелило, он сипло хрюкнул горлом и потерял сознание.

Очнулся Тюрин от пощечин и резкого запаха спиртного. Едва к нему вернулось сознание, как он услышал голос Николая:

— Макарыч, Макарыч, ну слава Богу, жив. Что же ты так испугался? Это ж я тебе ужа принес, чтоб не скучал. Домашнее животное. Вместо собаки, Макарыч.

Тюрин вполуха слушал Николая и мучился от сердечной боли. Боль эта не давала ему дышать. В груди было холодно, как на северном полюсе, перед глазами плавали темные пятна, а голос Николая, казалось, доносился откуда-то из-за стены или из глубокого колодца. «Ужа-ужа-ужа», — жужжало в голове у Тюрина, и сквозь это жужжание слышно было:

— Макарыч, сейчас я тебе коньячку налью. Что же ты такой пугливый-то?

— Не надо коньяку, — едва выговорил Тюрин, — от сердца... что-нибудь.

— Как это не надо коньяку? — удивился Николай. — Коньячок — первое средство от сердца. Сто грамм и все как рукой снимет. Сейчас я тебе накапаю.

Немного погодя Тюрин почувствовал, как в губы ему ткнулось что-то холодное и твердое, и в рот, обжигая язык и десны, потекло непривычно крепкое пойло. Чтобы не захлебнуться, Тюрин судорожно глотнул, закашлялся и, едва не теряя сознание от боли, закудахтал, заклокотал горлом. Он чувствовал, как горячая струя несется по пищеводу. Слышал, как на бегу она рассасывается, словно вода в сыпучем грунте, расходится по многочисленным кровеносным сосудам и вместе с кровью бежит дальше: в живот, ноги и руки, возвращается к голове, и здесь, достигнув, наконец, мозга, превращается в шум водопада, морского прибоя или лиственного леса на сильном ветру.

— Ну вот, ожил, — услышал Тюрин довольный голос Николая. — А ты говоришь — не надо. Я лучше знаю, что тебе надо, а чего не надо.

Тюрин открыл глаза, и понял, что катастрофически пьянеет. Его, словно звездную галактику, закручивало в спираль, растаскивало в стороны, а рядом с неподдельным любопытством на лице и улыбкой на губах медленно вращался Николай с бутылкой в одной руке и стопкой в другой.

— Убери эту гадость, Коля, — прошептал Тюрин. — Убери. Я очень боюсь змей.

— Да я убрал давно, — весело ответил Николай. — Я же не знал, что ты боишься этих червяков. Ладно, Макарыч, прости. Честное слово, не знал. Завтра принесу тебе кого-нибудь другого.

— Не надо, Коля, — пьяным голосом попросил Тюрин. — Ты меня убить, наверное, хочешь?

— Ну, ты даешь, Макарыч, — возмутился Николай. — Я же тебя с того света вытащил. Да если бы я хотел, то давно бы оприходовал. Я же говорил, что своих не трогаю. Давай-ка еще стопочку, а то ты мелешь сам не знаешь что. — Николай налил коньяку и, не дав Тюрину возразить, влил спиртное ему в рот.

Тюрин сделал большой глоток, попытался отвернуться к стене, но Николай опередил его. Свободной рукой он взял Тюрина за подбородок, повернул к себе и заставил допить коньяк.

Через минуту Тюрин сделался совершенно пьяным, а еще через какое-то время Николай заставил его выпить третью стопку. Последнее, что Тюрин видел, это то, что Николай вытирает бутылку носовым платком. Вскоре после этого Тюрин забылся пьяным сном, и на этот раз ему не снилось абсолютно ничего.

Пробуждение Тюрина было не просто тяжелым. Проснулся он от ощущения близкой смерти. Он слышал, как она подбирается к нему, видел ее темные пустые глазницы и отблеск уличного света на отполированном лезвии косы. Обливаясь горячим потом, Тюрин открыл глаза и понял, что на дворе глубокая ночь. В комнате было темно и тихо, как в могильном склепе: молчала улица, молчал давно остановившийся будильник, спали соседи снизу и сверху, слева и справа, и только в груди у Тюрина как-то растерянно, по-слепому в ребра тыкалось сердце. Казалось, что из последних сил оно пытается найти выход из своего темного убежища, глотнуть немного свежего воздуха и освободиться от надоевшей тяжести тюринского тела. Тюрин попытался набрать в легкие побольше воздуха, но не сумел — тяжелая, сковывающая боль вспыхнула одновременно в двух местах: в груди и в голове. Он подумал, что умирает, и эта мысль почему-то нисколько не напугала его.

«Вот и все, — равнодушно подумал Тюрин, — скучно как-то подышать в темноте. Если бы не Коля, я бы еще пожил лет десять, а может и больше». Он вспомнил механическую лягушку, живую змею на пододеляльнике, коньяк и почти догадался, для чего все это было нужно Николаю. Он даже слегка оживился, зашевелил пальцами и посмотрел на стол. Со стороны окна стеклянные предметы едва-едва светились тонким голубоватым абрисом.

«Сволочь, — подумал Тюрин, — как он хитро решил меня в могилу отправить. И это за то, что я не выдал его».

Обида придала Тюрину силы. Он попытался подняться и после нескольких неудачных попыток ему удалось сесть.

— Я же еще жив, тварь, — дрожа от слабости, прошептал Тюрин, — я еще успею. — Со стоном он дотянулся рукой до бутылки, взял ее за горлышко и постучал в стену. Немного подождав, он постучал еще раз, а затем еще и еще. После этого Тюрин поставил бутылку на место и повалился на подушку. Ему вдруг стало очень холодно, так холодно, что зубы начали выбивать дрожь, а все тело оцетинилось гусиными прыщами. Тюрин потянул на себя одеяло и тут услышал, как в коридоре открылась и закрылась соседская дверь. Почти сразу после этого к нему в квартиру постучали, и он понял, что его партнер по домино услышал призыв.

— Сейчас, Василь Петрович, сейчас, — забормотал Тюрин.

Стук повторился. На этот раз сосед постучал сильнее, и Тюрин услышал его голос:

— Макарыч, ты чего? Макарыч?

— Иду, иду, — задыхаясь от боли, крикнул Тюрин. Он довольно ловко сполз с дивана и, держась одной рукой за сердце, а другой за стелу, причитая, побрел к двери.

— Макарыч, — беспокоился за дверь сосед, — отзовись хотя бы. Помер что ли?

— Иду, иду, — повторил Тюрин. Он уцепился за дверную ручку, навалился на дверь всем телом и свободной рукой быстро справился с замком. Сосед пролез в образовавшуюся щель, пошарил рукой по стене и включил в прихожей свет.

— Что случилось, Макарыч? — спросил он, с тревогой оглядывая Тюрину. — Плохо что ли? Давай-ка я тебя до постели доведу.

— Плохо, Василь Петрович, — тяжело дыша, ответил Тюрин. Он стоял, держась за ручку двери, похожий на привидение, а сосед, коренастый мужик того же возраста, ухватил Тюрину за талию и аккуратно повел в комнату.

— Извини, Василь Петрович, — забормотал Тюрин на ходу. — Сказать кое-что надо. А то боюсь не успею.

— Да ладно, чего уж там, — ответил сосед. По пути он включил свет в комнате, затем усадил Тюрину на диван и помог ему лечь.

— Ты присаживайся, Василь Петрович, — хватая ртом воздух, прошептал Тюрин. — Страшно такое рассказывать, но не могу я больше молчать. Помру, и никто не узнает.

— Так уж и страшно, — не поверил сосед. — Да и умирать тебе рановато. Что это ты раскис, Макарыч? — Он подтянул пижамные штаны, подошел к противоположной стене и ткнул кургузым пальцем в репродукцию.

— Хорош генерал, а?! Продай за бутылку.
— Бери, бери, Василь Петрович, — торопился Тюрин. — Бери так.
— Да ну? — удивился сосед.
— Я же сказал, бери, — сквозь зубы процедил Тюрин. — Дай мне сказать...

— Да ты говори, говори, я слушаю, — ответил сосед и недоверчиво добавил: — Что, правда что ли отдаешь?

— Да возьми ты его ради Бога, Василь Петрович, и иди сядь. Тяжело мне через всю комнату, — умоляюще проговорил Тюрин.

— Ну, спасибо, — снимая репродукцию со стены, поблагодарил сосед. — Ты не бойся, я в долгу не останусь. — Он прислонил раму к платяному шкафу, подошел к дивану и сел рядом с Тюриным. — Ну, что там у тебя такое страшное? Недостача, что ли?

— Я не бухгалтер, с деньгами дела не имею, — ответил Тюрин и перешел на шепот. — Ты Николая знаешь? Из пятьдесят первой квартиры?

— Ну, знаю, — ответил сосед.

— Убийца он, — холодея от ужаса, сообщил Тюрин, — я сам видел, как он труп с перерезанным горлом в ванной полоскал. Так вот, теперь он меня хочет на тот свет отправить.

— Да ну?! — не поверил сосед.

— Честное слово, Василь Петрович. Что, я тебе врать что ли буду? Зачем мне на человека такую напраслину возводить? Сам посуди, это же не кошелек из кармана стырить. — Тюрин уже не шептал, а астматически сипел. Голова его слегка подергивалась, глаза были вытарашчены, как у морского окуня, а хилая грудь как-то рывками, с разными промежутками поднималась и опускалась под тонким одеялом.

Соседа окончательно убедил вид Тюрина. Трудно было даже предположить, что человек в таком состоянии может рассказывать небывлицы.

— И что теперь? — испуганно спросил Василий Петрович.

— Он не знает, что я тебе рассказал, — торопился Тюрин. — Напишешь анонимку в милицию...

В это время в прихожей негромко скрипнула дверь и в комнату, естественно зевая и почесываясь, вошел Николай. Увидев его, Тюрин издал крик раненой птицы, сердце у него два раза бухнуло и затихло. Тело сразу как-то обмякло, а нижняя челюсть медленно отвалилась на грудь. Николай перевел взгляд с Тюрина на Василия Петровича. Тот сидел бледный и с таким отчаянием в глазах, что даже последний дурак догадался бы, о чем говорили эти два человека минуту назад.

— Понятно, — по-деловому сказал Николай. — Ты бутылку трогал?

— Нет, — глядя прямо в глаза Николаю, выдохнул Василий Петрович. — Ничего не трогал. — Затем он спохватился, выкинул вперед руку и показал на репродукцию. — Вот! Картина! Он мне сам ее подарил! Честное слово!

— Ну, подарил и подарил, — миролюбиво произнес Николай. — Повесишь дома на стену. Будет память об этом... — Николай кивнул в сторону Тюрина и продолжил, — ...болтуне. Видишь, Петрович, до чего язык может довести? Окочурился мужик, а мог бы еще жить. Ты-то, надеюсь, не такой?

— Нет, нет, не такой, — очень убедительно заверил его Василий Петрович.

— Ну и молодец, — сказал Николай. — Он тебя сам позвал?

— Да, — закивал Василий Петрович.

— Вызовешь сейчас «Скорую», расскажешь, как он тебя позвал, как за сердце хватался. В общем, все расскажешь, кроме одного.

— Да, я понимаю, Коля. Что же ты меня дураком что ли считаешь? Понимаю.

Николай подошел к Василию Петровичу, выдержал минутную паузу, от которой у того похолодело в груди, и зловеще проговорил:

— Слабость у меня одна есть. На своих рука не поднимается. Ты цени это, Петрович.

— Ну, что ты, Коля, — дернулся Василий Петрович. — Я ценю... Я тебя очень уважаю. — Чтобы не встречаться взглядом с этим страшным человеком, Василий Петрович испуганно смотрел на репродукцию, как будто пытался разглядеть что-то на горизонте, за пределами незнакомого города. Он всматривался в едва заметные крыши пригорода Вены, затем взгляд его заскользил по напудренному парику и плечам канцлера, обозревающего свои владения.

— Правильно, — Николай подошел к шкафу, не глядя, снял сверху пачку червонцев и протянул ее Василию Петровичу. — Тебе за труды. А теперь беги звонить. Только помни: я погорю, без меня не проживешь и дня. Помрешь с горя.

Николай еще раз посмотрел на Тюрина. Тот лежал с полуприкрытыми глазами, оскалив зубы в какой-то потусторонней сумасшедшей улыбке.

— Смеется, падла, — беззлобно усмехнулся Николай. — Ну, беги, беги, Петрович. Утро скоро.

Игорь Бэзрук

г. Иваново

БЛУДНЫЙ СЫН

Читатель, я мукам был подвержен, занявшись этой повестью, провел множество тягостных дней и бессонных ночей, размышляя над судьбой каждого, даже самого незначительного персонажа. Помучься вместе со мной.

«Был человек в земле Уц».

Иов. 1, 1

1

Выпроводив жену и дочь из квартиры (короткий чмок в щеку жены, легкое похлопывание по хрупкому плечу дочери), Коломольцев вернулся в свой «кабинет», вернее, в закуток, который он после длительных препираний супруги выделил себе в спальней комнате. Где же еще: гостиная — для общих посиделок и приема гостей; третья комнатка — светелка дочери, только спальня и остается, — на кабинет, в будущем бесспорно признанному ученому, как он себя считал, пока не разжились.

Лера категорически запретила ему размещать свои книги у дочери, вот он и соорудил себе нечто вроде кабинета, отгородив часть спальни высоким (до потолка) книжным стеллажом, фронтальной частью повернутым к боку письменного стола, тылом — внутрь спальни.

Оклеив заднюю стенку стеллажа такими же обоями, какими они оклеили стены спальни, Коломольцев нашел (и жена согласилась с ним), что спальня ничуть не потеряла своего прежнего вида, даже, может, приобрела бóльшую интимность.

Впрочем, небольшое изменение размеров спальни за счет создания своеобразной ниши для его повседневных и досуговых дел совсем почти не отразилось на величине спального места: супружеская кровать два на метр шестьдесят, изголовьем придвинутая к стеллажу, в ногах оставляла еще место для платяного шкафа с проходом к нему и комода с зеркалом, по-соседски прислоненным к шкафу левым боком.

Возникло, правда, одно неудобство (на которое с самого начала перепланировки сетовала жена): нехватка естественного освещения. Окно было хоть и широкое, но единственное, на две трети скрытое ныне

стеллажом кабинетной зоны. Вечером с таким положением еще можно было мириться, но днем Лера удрученно бродила среди скученной мебели и чувствовала себя не совсем уютно, немного жалея, что пошла у мужа на поводу.

— Мне даже теперь отдохнуть в спальне нормально нельзя, — говорила она не то с сожалением, не то с упреком, на что Коломольцев сразу парировал:

— Но ты спокойно можешь лечь в гостиной — там роскошный угловой диван, огромный настенный телевизор, летом всегда прохладней, чем здесь... — сказал и тут же подкрепил весомым аргументом:

— Ну, не перебираться же мне туда для работы?

— Тебя с твоими папками только в гостиной не хватало, забудь! Ты и так, помнится, в доме матери все комнаты книгами завалил, никому проходу не было. Дай хоть тут свободно подышать!

Спорить не приходилось: их прежнее жилье в доме его матери Раисы, где они ютились до этого, было до того тесно (две комнатухи, в одной из которых размещалась мать, кухонка — не развернешься — и чуланчик), что масса книг его просто теснилась в углах, дремала под кроватями, пылилась в кладовке и даже на чердаке на самодельных дощатых полках, в мешках и архаичных чемоданах.

Новая квартира, которую они купили большей частью за счет денег родителей Леры и кредита, погашенного впоследствии продажей дома бабушки Раи после ее отъезда на Украину к сестре, позволяла выставить некоторые из книг (от не особо нужных Коломольцев по жесткому настоянию жены все-таки избавился), что тешило, ибо даже праздное созерцание их, немножко подзабытых, читанных в детстве и юности, насыщало его до сих пор.

Обустроенная как кабинет ниша Коломольцева по ширине получилась в аккурат размером с письменный стол, столешница позволяла разместить на ней ноутбук, три в одном-центр (печать, скан и ксерокс), а также вертикальный лоток для дежурных папок справа от МФУ. У стены, нисколько не мешая, небрежно разместились пластмассовые подставки для перекидного календаря, канцелярских принадлежностей и бумажных блоков для заметок; передвижное офисное кресло на колесиках позволяло легко отъехать от стола и дотянуться до любой из нужных книг на стеллаже.

Как давно он мечтал о собственном кабинете! Пусть и в таком — скукоженном — варианте. Он теперь не будет, как раньше, писать на кухне или на коленке, задерживаться на кафедре, где он преподавал и

оставался немного дольше только из необходимости, из-за того, что дома у него не было своего полноценного рабочего места.

Сегодня ему к двум, у него всего две пары лекций и один семинар, с утра можно без суеты покопаться в бумагах и папках, выудить наконец из коробок нужные, расставить их по полкам, чтобы в дальнейшем они всегда были под рукой, чего он никак не мог сделать после переезда, случившегося всего год назад.

Лера наконец-то забрала из ремонта машину, отвезет Дашу в школу, а он спокойно разберется с бумагами, пообедаст и после обеда отправится в вуз.

Как он любил эти небольшие неспешные часы досуга, когда мог остаться наедине с собой и своими мыслями в окружении мыслей других! Хоть они и были упакованы в обложки, скрыты от глаз, все равно всегда находились рядом, насыщали, подпитывали.

Коломольцев опустился на колени, одной рукой приподнял деревянную кровать, а другой вытащил из-под нее очередную не разобранный картонную коробку. Поднявшись на ноги, подхватил ее и понес на стол, где раскрыл и стал перебирать папки и бумаги, решая сразу, куда их разместить.

Недолго покопавшись, он с сожалением нашел всего лишь несколько необходимых ему в ближайшее время папок, остальные за ненужностью можно было вернуть на место.

Черкнув сбоку черным маркером размашистое с наклоном «архив», Коломольцев попытался вспомнить, что там еще могло находиться под кроватью (совсем не помнил), вернулся, запихнул просмотренную коробку обратно, а наружу вытащил другую, не менее объемнее и увесистей предыдущей.

Как всегда бывает при переезде, набив мешки, коробки и чемоданы, долго потом вспоминаешь, если сразу не подписал или не раскрыл, каким добром ты их наполнил. Вот и сейчас, раскупорив клеенную скотчем следующую коробку, Коломольцев обнаружил в ней свои старые альбомы с фотографиями (отроческий, армейский, студенческий, фото от первого брака в большом бумажном конверте), письма из армии к первой жене Тамаре, которые он как всякий дотошный архивист так и не решился выбросить, юношеские заметки, общие тетрадки с песнями и гитарными аккордами. Аккорды он точно бог знает когда позабыл, так как практиковаться больше было не на чем (на его гитару в общаге как-то сел, не заметив, полупьяный приятель, а новую купить он отчего-то так и не удосужился). И как обычно, обнаружив что-то давно, казалось, выпавшее из памяти, но близкое, Коломольцев, оста-

вив всё, стал тут же на полу перелистывать альбомы, рассматривать фотографии, вспоминать «дела давно минувших дней». И хотя, упиваясь прежними чувствами детства и молодости, альбомы он мог листать до бесконечности, взгляд его то и дело косился на бумажный конверт с фотографиями первого брака, от которого, на удивление, у него не осталось никаких светлых воспоминаний: только что-то натужное, неуютное, происходившее по обязанности, не по его натуре.

После развода он даже удивлялся, как вообще они с Тamarой сошлись, да еще и жили вместе, и зачали сына, как две капли воды похожего на него самого, хотя он до последнего себе в этом не признавался, считая, что она подгуляла мальчика на стороне, когда он тянул лямку в армии. И все же чем-то при знакомстве она его зацепила, чем-то заинтересовала («Тебя всегда тянуло на малолеток», — любила иногда подначить его Лера). Тем интереснее снова взглянуть, каким он был тогда, какой она, та, про которую он больше не хотел вспоминать. Было и прошло, стерто и забыто...

Коломольцев взял в руки конверт с фотографиями от первого брака, вытряхнул их на колени. Фотографии веером рассыпались перед ним, открывая пропасть знакомых лиц, множество его обликов до женьбы и после.

Он только кончил школу, поступил в вуз, зашел как-то по старой памяти в школьный спортзал, узнав, что на выходные там будут проводиться городские соревнования по волейболу, который он всегда обожал.

Некоторых из играющих он еще помнил: они были всего на год или два младше его. Среди зрителей заметил худощавую школьницу с косами до середины спины и черными, пронзительными глазами, живо болеющую за родную сборную.

Коломольцев стал расспрашивать знакомых, что за девочки стоят неподалеку от них. «Так это старшеклассницы», — ответили ему. Не всех, оказывается, сохранила память.

Он остановил курносую девчонку, которая знала его и только отделилась от заинтересовавшей его группки.

— Что за чернявая с косами с вами стоит, не подскажешь?

— С косами? Так это ж Томка Сермяжная, забыл, что ли?

— Запомнишь вас, как же — вы за каникулы из утят в настоящих гагарочек превращаетесь, а тут сколько времени прошло!

— Пряма таки в гагарочек! — сверкнула улыбкой курносая и выскочила из спортивного зала.

Коломольцев до конца матча глаз не мог оторвать от Тамары. Еще год назад он бы и не взглянул на нее, но школьницы младших классов так быстро взрослеют, что порой удивляешься: еще вчера что-то на переменах путалось под ногами, а сегодня мимо него не пройдешь — гадкий утенок превратился в белого лебедя.

Курносая, вернувшись, весь их беглый разговор, видно, передала потом ей, потому что Тамара тоже, как он заметил, изредка нет-нет, да и бросала на Коломольцева любопытные взгляды.

После матча он сразу же напросился проводить ее. Они стали встречаться, несмотря разницу в возрасте. Но ведь в следующем году она закончит школу! Он подождет, он упрямый. Лишь бы она не разочаровалась в нем...

Коломольцев вытащил фотографию Тамары того времени. Те самые насмешливо-блестящие глаза, чувственный рот, высокий лоб, длинные косы с бантами. Ей всего семнадцать, но им так хорошо вместе. И плевать, что о них подумают — Гумилев закрутил с Ахматовой, когда ей было всего четырнадцать...

Но вскоре его призвали в армию — был недобор, и вуз не отмазал.

Коломольцев нашел себя с Тамарой на проводах. На желтом, поблекшем снимке он длинный, костлявый, с худой шеей и несоразмерной головой. Она тоже какая-то несуразная, скуластая, с тяжелым подбородком и черными кругами под глазами. Но он смотрит в даль гоголем, с уверенностью в свое будущее (армия его нисколько не пугает), она растерянно, словно мир для нее рухнул в одночасье. Он не понимал подобных вспышек, никогда не хотел воспринимать ее такой потерянной, не считал себя виновником ее нередких, особенно в последние годы их совместной жизни, подавленных состояний.

К концу первого года службы он узнал, что у него родился сын, которого Тамара назвала Павлом. Вот зараза! Подобного поворота он точно не ожидал. Как и не был готов к нему, считая, что только наука являлась приоритетом его жизни, его будущим.

Служивцы подначивали, мол, не может этот сосунок быть твоим сыном, наверняка зазноба нагуляла его на стороне, а тебе лапши на уши вешает.

Такое мнение кому угодно могло вынести мозг, потому что подобных случаев было полно не только в их полку, но и во всей армии. Однако когда Коломольцев вернулся домой, нечего было и тест на отцовство проводить: малыш оказался точной его копией: глаза, губы, уши, длинный нос с горбинкой, завитки черных волос.

Его мать давно и безоговорочно приняла вчерашнюю выпускницу школы (а теперь сноху) с младенцем. Коломольцеву осталось только узаконить отношения и жить со своей семьей дальше. Что он благоразумно и сделал. Только нормальной жизни, как выяснилось впоследствии, у молодых супругов совсем не получилось. Всё сразу после его возвращения из армии как-то пошло наперекосяк: Тамара оказалась не его половинкой, не его мечтой о супруге-друге, супруге-товарище, супруге-соратнице. В мечтах его супруга стояла на одной ступени с ним, понимала его с полуслова, думала его категориями и дефинициями и вместе с тем если не боготворила, то восхищалась им, жизнь свою, выражаясь фигурально, положив на алтарь исключительно его будущего. Она, однако, закомуристая эта жизнь, всё расставила на свои места: Тамара не оправдала его надежд. Не приблизилась к ним, как он иногда сетовал, и Лера, но с Лерой всё сложилось совершенно по-другому; она как-то, посчитал он, смогла его понять, оценить и притереться к его честолобивой натуре, — поначалу он даже не понял как. Сам угодил в ловко расставленные сети, но угодив, неожиданно обнаружил, что ему в них достаточно комфортно, и удовлетворился этим. Может, пообтерся, или повзрослел, со временем набрался ума или стал более снисходительным? Сам для себя эти вопросы решить он так и не смог.

Коломольцев вздохнул, словно стряхнул с себя бремя тягостных воспоминаний. Некогда нюни разводить: это было так давно, что и в сердце ничего не сохранилось. Бывает так: проживешь с человеком несколько лет, расстанешься с ним, а потом и тени от него не обнаружишь, только какая-то дымка, призрак, изредка врывающийся кошмаром в настоящее...

Коломольцев сгреб в руки пачку, стал ровнять края фотографий, чтобы запихнуть обратно в узкий конверт, но несколько снимков выскользнули, а с ними выпал и небольшой клочок бумаги в клеточку с номером какого-то сотового. Странно, он вроде никакого телефона не записывал, но на клочке рядом с номером стояло знакомое имя: Павел, имя данное его сыну при рождении. Он так и подумал. Другого Павла он не знал.

Кто засунул в пачку фотографий эту записку? Кто продиктовал телефон? Кому?

Коломольцев не помнил, чтобы его писал. Может, мать? Или Лера? С ней связывалась Тамара? — чего представить было невозможно, потому что Лера слишком болезненно воспринимала всё, что касалось его прошлого (он и сам неохотно вспоминал о нем). Но даже если и так, если Тамара все-таки каким-то образом связалась с ней, почему Лера

ничего не сказала об этом? Не хотела, чтобы он как-то отреагировал на сообщение? Но, так или иначе, записка перед ним и она заставила его заколебаться.

Последний раз, как ему казалось, он видел сына лет шесть назад, случайно столкнулся на улице. Они гуляли с Лерой и маленькой Дашей в парке на Харинке. Было солнечно, листья только начинали желтеть, птицы гомонили еще по-летнему, сосны гасили кронами ветер, и тот, в некоторых местах прорываясь сквозь их плотный заслон, веял прежним теплом и свежестью. Душа еще не чувствовала наступления осени, Лера улыбалась, он сам весь лучился, глядя на нее и маленькую (всего два года) дочку Дашу в коляске.

Они шли по тротуару, а неподалеку, в стороне, у одной из парковых скамеек, гомонила стайка, пять или шесть юнцов, среди которых выделялся один, рослый, худой, нескладный, с черными кудрявыми волосами и длинными, чуть ли не до колен, руками.

Коломольцев мельком глянув на юношу, поначалу решил, что тот напоминает ему кого-то родного, знакомого, близкого (ёкнуло где-то под ложечкой), но он и мысли тогда не допустил, что высокорослый подросток его сын. Теперь, посмотрев несколько фотографий, уже не был так твердо уверен. А тогда, врезалось, он внезапно чего-то испугался: а вдруг подросток на самом деле окажется его сыном, а если это его сын, как он его представит своей новой семье, что скажет? Даже думать о том не хотелось! Поэтому, он, не дойдя нескольких метров до злополучной скамейки, резко свернул на другую тропу, а на удивленное лицо жены отозвался сымпровизированным: «Налево пошли, налево. Пройдем вдоль берега реки, а обратно вернемся по центральной аллее».

Впрочем, ему можно было не опасаться стать непонятым: Лера давно привыкла к подобным чудачествам мужа, и этот эпизод отнесла к той же опере. Даже, как уверил себя Коломольцев, и не заметила тогда его растерянности и замешательства, свернула, как он хотел, напрямиком к реке.

Коломольцев еще несколько раз скосил взгляд в сторону скамейки с юнцами и больше не оборачивался — ему показалось, что юноша (Павел это был или не Павел) ни на секунду не отрывал своего взгляда от него и его окружения.

«Нет, не может быть, это не он», — несколько раз убеждал себя впоследствии Коломольцев, хотя на все сто не мог быть уверенным. Теперь эта записка. Чего судьба от него хочет? Чтобы он отреагировал на находку? Надо ли? Ну, наберет он этот злополучный номер, дозвонится

кому-нибудь (не факт, что это будет Павел, тот самый Павел, его сын). А хоть и Павел? Что он скажет ему: здравствуй, Паша, это я, твой пропавший, бросивший тебя когда-то отец?

Коломольцев смутно помнил свой первый брак. От Тамары сохранилось тягостное впечатление, вся их супружеская жизнь вспоминалась только в блеклом свете. Тамара постоянно переваривала все в себе, ходила темнее тучи, вечно была какая-то болезненная, мнительная, несмотря на молодость, даже его шутки ее не смешили, ни одной улыбки от нее не сохранилось. Не то нынешняя жена, Лера: ей, кажется, палец покажи, она тут же рассмеется, защебечет звонко, а ему это по сердцу, любо. Веселая жена, как говорится, — и жизнь весела, но, может, так потому, что Лера гораздо младше его, чем была Тамара, простодушнее, душа ее более открыта. Да и встретил он ее, когда ему было за тридцать, а ей едва исполнилось семнадцать, — совсем еще девушка, в жизнь, можно сказать, только вступала, да и родителями-учителями была обласкана в границах старых понятий о воспитании. Не то Тамара: и росла без отца, и с мужем не прижилась. Что он теперь знает о ней? Может, она давно живет с кем, еще детей наплодила, — ему ведь не докладывали... Хотя это давно уже его не касается. Другой мир, параллельная реальность...

Коломольцев еще раз посмотрел на записку. И где-то в сердце все-таки кольнуло. Предательски. Надо бы, наверное, все же набрать номер, спросить хотя бы, как живет сын, чем занимается...

Мать, которая не прерывала связи с внуком, в свое время рассказывала, что Павел с трудом учился в школе. Но и ему школьные предметы давались нелегко. И тем не менее, школу он окончил, поступил в вуз... Год Павел провел рядовым в армии. Это хорошо. Он сам два года отбарабанил в стройбате, не понаслышке знает, по чем фунт лиха в войсках, какова на вкус гороховая и ячневая каша... Нет, все-таки надо позвонить и, может даже, пригласить на ужин, познакомить со своей нынешней семьей, с родной сестрой, пусть и от другой матери, — разве ему не будет интересно? (Коломольцев воодушевился.) Найдется им о чем поговорить: о той же армии, об учебе. Наверняка Павлу захочется пойти дальше и, как ему в свое время, заняться науками? Он сможет ему что-то подсказать, посоветовать.

«Только с чего начать разговор? Как все-таки представиться? — рассуждал Коломольцев. — Отец или папа? Папа, кажется, мягко, не солидно; отец, несомненно, — самое то. И его, наверное, не Пашей надо звать, а по-взрослому — Павлом, раз прошел армию, возмужал»...

«Какого же он года?» — спохватился Коломольцев. Совсем не помнит. Сейчас должно быть чуть за двадцать: двадцать один или двадцать два, если он не ошибается. Лере двадцать шесть, они с Павлом почти ровесники, значит, тоже смогут найти точки соприкосновения, хотя необычно, конечно, иметь мачеху почти себе ровесницей, однако вместе им не жить, тут и говорить нечего, познакомились и разбежались, — делов-то!

Коломольцев в который раз посмотрел на листок с номером. А с другой стороны: нужно ли ему вообще встречаться с сыном? Столько лет прошло...

В свое время он запретил матери даже упоминать о прежнем браке, заткнул ее несколько раз, когда она пыталась затеять об этом разговор в присутствии внушки. И все-таки...

«Это же мой сын!» — снова резануло Коломольцева, он набрался смелости и позвонил.

Ответили не сразу. Коломольцев было подумал, что записанный номер совсем не Павла, но вскоре в трубке что-то зашуршало, зашевелилось, раздался глухой невыразительный голос:

— Да.

— Паша? — спросил Коломольцев. — Павел?

— Да, — ответили с другого конца.

— Это отец, здравствуй, — сказал Коломольцев.

— Здрасьте, — сухо, как показалось Коломольцеву, и совсем без выражения ответил Павел.

— Нашел твой номер, решил позвонить. Ты не против, сын? — все же с оживлением выпалил Коломольцев.

— Нет, не против.

— Вот и хорошо. Как живешь? Чем занимаешься? Как мать? (Не слишком ли много вопросов для начала?)

— Мама умерла, — так же сдержанно произнес сын.

Коломольцев опешил. Может, не надо было вообще упоминать о ней?

— Очень жаль. Я не знал. Давно? — после небольшой паузы выдавил он из себя.

— Шесть лет назад.

Шесть лет?! Вот, черт! А он ни слухом ни духом. Мать, наверное, знала, но ему ничего не сказала. Но если Лера еще слышала о его первом браке и сыне от этого брака (как же утаить?), то Даше они никогда не рассказывали о существовании брата — будет ей сюрприз.

Коломольцев стряхнул остатки смущения и пробормотал в трубку:

— Мне жаль.

На том конце трубки никто не ответил.

— А ты? — спросил Коломольцев, не затягивая паузы, — не хотел, чтобы жалость дошла до самого сердца. — Ты — как? — И сразу: — Слушай, знаешь, — вдруг загорелся он, — а давай мы как-нибудь встретимся. Лучше у нас. Ты сможешь, скажем, на выходные подъехать к нам в гости? Выкроишь часик?

— Ладно, — сказал отстраненно Павел — он до сих пор никак не мог собраться с мыслями.

— Тогда давай еще созвонимся, ближе к выходным. Решено?

— Как скажете, только я работаю посменно, сторожем. В воскресенье утром только сменяюсь.

— Не страшно. Пусть на воскресенье, часа, скажем, на три-четыре. Успеешь вернуться после работы, отдохнуть, потом добраться до нас. Ты так с бабушкой Люсей и живешь?

— Да, — также без всяких эмоций сказал Павел.

— Хорошо, договорились. Выедешь, сделай мне дозвон, я встречу тебя на остановке.

— Ладно.

— Тогда до воскресенья?

— До воскресенья.

Коломольцев выключил сотовый. В голове зазвучала бравурная мелодия. Под нее он даже забарабанил длинными пальцами по столешнице, устремил взгляд в окно выше крыш приземистых домов частного сектора, за горизонт. Он всё правильно сделал. Давно должен был это сделать. Это, как ни крути, его сын, его кровь, — нельзя оставлять мальчишку без внимания, нельзя позволять тому чувствовать себя одиноким, пусть знает, что у него все-таки есть отец, родной отец, ближе которого после смерти матери никого нет.

Коломольцев, довольный собой, продолжая напевать веселенький мотивчик, стал собираться на работу.

Сейчас не будет, а вечером обязательно скажет жене, что пригласил сына в гости. Лера, скорее всего, его поймет. Постарается хотя бы понять, он же делает это из самых благих побуждений. Она ведь сама всегда требовала от него достойных поступков, а этот поступок можно ли назвать иным? И потом, в конце концов, Павел его сын, как же его не познакомить со своей родней, пусть и прошло столько времени? Как-то это нечестно, неправильно.

Павел, выключив телефон, растерянно посмотрел вокруг. Недопитый стакан молока перед ним, как прозрачное стекло. Отец. Неожиданно как-то... Никогда вообще не отзывался, а тут вдруг появился неизвестно откуда и сразу же — давай встретимся, как будто расстались только на днях.

Из своей комнатки отозвалась баба Люся, собиравшаяся к сестре на похороны по телеграмме:

— Кто звонил?

— Отец, — негромко, но внятно произнес Павел.

Баба Люся, бросив укладывать вещи, выросла в проеме двери большой комнаты, где он обитал.

— Ой ли! Сто лет в обед! Чего ему от тебя вдруг понадобилось?

Она не скрывала своей нелюбви к бывшему зятю, Павлу это было как никому известно.

— Пригласил меня к себе в воскресенье.

— Совесть, что ли, замучила? Двенадцать лет не отзывался — и на тебе! А ты что? — спросила, не уходя, буравя его своими колючими глазами.

— Схожу, наверное, — тихо произнес Павел, хотя еще не был уверен, поедет ли вообще. Надо ли?

Но баба Люся была категорична:

— Сходи, сходи, умоешься, может. Думаешь, за столько лет его отношение к тебе изменилось? Не разевай роток. Ему как было на тебя наплевать, так и осталось. На твоём месте я бы вообще не ходила — чего ты там не видел? Лишний раз убедишься, что никому, кроме меня, не нужен, и вернешься не солоно хлебавши...

Баба Люся вернулась обратно в свою комнатушку.

Павел проводил ее долгим задумчивым взглядом. Опять это бормотание и недовольство! Ну почему надо сразу воспринимать всё в штыки? Может, отец на самом деле хочет увидиться. Ему, может, надо в чем-то помочь. Кто ж первый поможет, как не сын? И почему бы ему не позвонить, он ведь все-таки ему отец, хотя и возникал на горизонте раз в три или четыре года и то по обращению матери, а скорее по настоянию бабы Люси.

«Не будь дурой, позвони своему бывшему, пусть даст денег ребенку на школьную форму. Пусть хоть раз разорится, алименты все одно не платит!» (Это в девять лет.) «Оторви задницу от дивана, набери его — у ребенка совсем прохудились зимние сапоги, и куртку сколько можно штопать?» (В тринадцать.) Но мать не всегда звонила, не хотела

лишний раз тревожить отца, а уж на алименты подавать — не приставай, сама сына подниму, сама поставлю на ноги! Но разве одна поднимешь пацана на зарплату уборщицы?

«Опустилась ниже плинтуса, а все потому, что с детства меня не слушала, чем только думала!» — заводилась пуще прежнего бабушка.

Павел с детства слышал бабушкины упреки, но мальцом не понимал еще, в чем она упрекает мать. Да и семья для Павла всегда была мать и бабушка. Бабушка сама дедушку потеряла в молодости и больше замуж не выходила. Мама после развода тоже больше никого не искала и об отце вспоминала редко, даже когда приходила в гости бабушка Рая, мать отца.

Бабушка Рая всегда была добра к нему, обязательно гостинцев каких-нибудь принесет, конфет или печенья, игрушку подарит на день рождения. Но баба Люся и на нее фыркала, а в последнее время, перед отъездом бабы Раи на Украину, при ее появлении и вовсе или просто уходила из дома или скрывалась в своей комнате, оставляя наедине маму, бабушку Раю и маленького Павлика. Но это было так давно, что образ бабушки Раи уже почти стерся, остался какой-то размытый образ сердобольной женщины, глядящей на Павлика, с наслаждением уплетающего принесенные ею конфеты, с бледной потерянной улыбкой...

Конечно, было бы лучше, если бы отец отозвался, когда умерла мама или потом, когда он учился в школе, а потом долго не мог найти работу и сам напросился в армию, хотя ему как сироте было предоставлено освобождение. И после армии, может, помог бы где-нибудь устроиться, — наверняка у отца полно знакомых в разных отраслях, чего-нибудь присмотрели бы. Но тогда отца не было, и работу ему пришлось искать самому. Не имея никакой специальности и образования, кроме того, что освоил в армии, не так-то легко это сделать в наше время, когда каждый сам за себя и по части собственной жизни и трудоустройства отпущен на все четыре стороны без гарантии и обязательств. Потом уже его пристроил к себе на фирму сосед по коммуналке Иван Егорыч, который всегда, даже имея собственного взрослого сына, относился к нему по-отцовски, с большим вниманием, чем другие.

Иван Егорыч Павлу нравился. Фамилия ему была Золотов. Обличьем он один в один походил на известного голливудского актера Томми Ли Джонса.

Поначалу он был схож с матерым террористом из классического «Захвата»; постепенно, по мере старения, превратился в персонажа последних фильмов «Людей в черном»: те же крепкие скулы, те же

чуть утопленные маленькие глаза и однобокая улыбка, особенно, когда Иван Егорыч иронизировал или язвил, препираясь с бабой Люсей.

Язвил Иван Егорыч бабе Люсе довольно часто. Ни он, ни она не могли, завидев, чем-нибудь не задеть друг друга. А так как по-соседски они виделись неоднократно, ехидный вариант общения постепенно перерос у них в своеобразные приветствия.

К слову сказать, уже давно, незаметно как, баба Люся перестала звать Иван Егорыча по имени-отчеству. Когда была в хорошем настроении, звала соседом, а если что не по ней, тут уж Иван Егорыч выступал у нее то холерой, то бандитской рожей, то домовым. Незлобно, правда, по-соседски.

Особенно участились подобные прозвища после смерти жены Ивана Егорыча, не особенно горевавшего о том событии, так как всю жизнь с супругой они прожили как кошка с собакой и всю жизнь она ревновала его ко всякой юбке. Что говорить про их полдома, где из мужиков остались только Иван Егорыч и Павел, а баб трое: жена Ивана Егорыча, баба Люся и мать Павла, Тамара, вернувшаяся к своей матери после развода.

К последней жена Ивана Егорыча ревновала больше всех, хотя Тамара Сермяжная годилась ему в дочери и была ровесницей их сына. Но даже и в пятьдесят, и в шестьдесят, и теперь, почти под семьдесят, Иван Егорыч бодрости духа и оптимизма не терял, ходил бодрячком, частенько что-то напевал про себя даже в туалете. Балагур, весельчак, он умел рассмешить, когда хотел, кого угодно (мать постоянно смеялась от его сальных шуток, баба Люся стыдила, недовольно качая маленькой головой). Анекдотов Иван Егорыч знал — не счесть какую уйму, но не разбрасывался ими по пустякам, они всегда возникали у него по делу, при подходящем случае. Остролов, хохмач, Иван Егорыч тонко подначивал окружающих, но те на него никак не обижались, потому что знали, что Егорыч многое умеет и ни в чем никогда никому не отказывает: хоть сантехнику посмотреть, хоть в электрике разобраться, на улице водителям что-нибудь толковое подсказать, ведь до пенсии почти всю свою сознательную жизнь он просидел за баранкой рейсового автобуса, хорошо разбирался в автомобилях и до сих пор держит у себя «проверенную» «четверку», мотаясь на ней с работы на работу или по каким-нибудь хозяйственным делам; иногда к сыну в соседний город.

С отцовской теплотой и заботой относился Иван Егорыч и к Павлу, и ему привил любовь к машинам, научил водить, разбираться в различных мелких мужских премудростях: пайке, чинке бытовых приборов,

слесарных и немножко в столярных делах. И именно Иван Егорыч, видя, что юноша пытается стать на ноги, не дает себе опуститься, хватается за все, что угодно, — когда освободилось место, уговорил директора фирмы, где сам работал сторожем, взять Павла к себе сменщиком.

— Мальчишка толковый, — сказал он директору, — я за него ручаюсь. И отвечать за него буду, как за собственного сына.

Директор дал добро. Иван Егорыч обрадовал парня. Только мог ли он полностью поручиться за него, обладая существенным недостатком: как всякий мастеровой русский мужик Иван Егорыч крепко дружил с бутылкой?

Конечно, это намного лучше, чем если бы он был какой-нибудь маргинал или бывший ээк, а так всего лишь тихий пьяница, «труженник», по определению Набокова, который предпочитал пить один или, по-соседски, с бабой Люсей или мамой, никогда не буянил и не водил к себе посторонних.

Со смертью жены, казалось, он одумается, перестанет так много и часто пить, но все равно, частенько от него несло дешевым вином, которое помогало ему расслабиться или забыться.

В последнее время, раз в полгода, Иван Егорыч уходил, что называется, в запой, потом недельку лежал на капельнице, выхаживался, поправлялся и продолжал радоваться жизни.

Сейчас пошел четвертый день его «отдыха» в «санатории». Если баба Люся уедет, Павел останется совсем один. Однако его это нисколько не пугало: он давно стал самостоятельным, сумеет и сготовить себе, если надо чего-нибудь, и не проспать утром на работу.

Жили они в одноэтажном почерневшем от времени бревенчатом приземистом бараче тридцатых годов прошлого века. Вытянутый вдоль улицы барак на четыре семьи разделялся на две половины с двумя независимыми выходами во двор. Павел с бабой Люсей в двух отдельных комнатухах с прихожей, и Иван Егорыч в однушке — занимали левое крыло барака. У них были совместный коридор, общая кухня, санузел.

Жильцам двор нравился: широкий, просторный, много зелени; деревья — несколько остролистных кленов, пара-другая берез и роскошная липа — прятались за кособокими сараями, окружали барак с торцов. В бараче было по-семейному уютно, с комфортом и в согласии жили и они в своей половине.

Тамара, мать Павла, когда еще была жива, не скрывала своей благодарности Ивану Егорычу, ведь Павел, даже после армии, жил так, как

будто был чужой в этом мире: замкнуто, отрешенно, что былинка на ветру.

Она и сама в какой-то мере была такой: могла шинковать капусту и внезапно замереть на несколько секунд, уставившись в окно, задумавшись, словно в трансе; могла собраться в магазин, выйти в общий коридор, чтобы обуться, и там услышать от Ивана Егорыча, что она не сняла фартук и идет, словно за водой на колонку, по-домашнему.

Таким же — немного рассеянным и забывчивым — вырос и Павел, хотя, чем-нибудь увлекшись, становился необычайно сосредоточенным и дотошным, как никто другой. Иван Егорыч видел в этом только положительное.

В этом году Павлу исполнилось двадцать два — вся жизнь была у него, казалось, впереди.

— Главное — не суетись, — наставлял его как всегда Иван Егорыч. — Жизнь не терпит суеты. Оглянись вокруг, приглядишься к себе, профессия сама тебя найдет, — говорил он как обычно с улыбкой, но уже без иронии. — Посмотри хоть на нашу фирму, сейчас ты посторожишь немного, а там познакомишься с техникой, освоишь. Чай не глупый, школу более-менее закончил, армию прошел, потенциал, как говорится, имеешь. Надумаешь, поговорим с директором и определим тебя в ученики к монтажникам, а это уже целая профессия.

Павел слушал Иван Егорыча и верил ему, но до конца не понимал, почему никак не налаживается его жизнь, не везет как-то: определенной профессии нет, — соответственно нет и хорошей работы, денег. В бараке вдвоем с бабушкой они еще кое-как сводят концы с концами, но что дальше будет — одному богу известно.

«Вот, может, отец чем поможет», — мелькнуло в который раз, как всполох, у Павла, — он все еще надеялся на лучшее.

На его мысль бабушка только покачала головой:

— Не знаю, чего от тебя он хочет, но если бы захотел, связался с тобой раньше, раньше бы похлопотал о твоей судьбе. А то — он может! Что может-то? Сам, помню, нигде долго удержаться не мог: неуживчивый больно с людьми, чересчур много о себе мнит. «Уче-ный» — едрит-Мадрид! Видали мы эту его ученость — дутость одна да болтовня!

Павел, услышав такое мнение об отце, даже несколько возмутился:

— Ты совсем не знаешь, как он теперь живет, зачем наговариваешь на него?

— Я знаю, какой он есть, вряд ли что в его натуре поменялось! Черного кобеля не отмоешь добела!

Павел не согласился с ней, ее мнение для него понятно: она до сих пор не могла простить бывшему зятю развод, который подкосил ее дочь и оставил родного внука без отца. Но так в жизни случается у многих: сблизятся по молодости, женятся, потом в какую-то минуту понимают, что не сошлись характерами, разочаровались друг в друге, перестали находить общие скрепы. Что ж им тогда — всю жизнь и дальше маяться, как маялись их родители, а до этого родители родителей? Сейчас другие времена: сегодня разводы происходят легче, чем раньше, а многие, особенно молодежь, вообще живут, не расписываясь, потом расстаются без упреков и сожалений.

— Ну, это у тебя какие-то надуманные представления, — ворчала свое баба Люся. — Как это можно, прожив несколько лет вместе, расстаться потом, ничего в душе не нарушив? Все равно что-то да остается: горечь, боль, разочарование, даже, может быть, какие-никакие ошметки счастья. Ты слишком хорошо думаешь о людях, совсем их не знаешь.

Павел не стал спорить с ней и остался при своем мнении: если между супругами больше ничего нет, жить вместе дальше — только губить себя и детей, которые появляются в таком браке. Хотя соглашался в другом: если бы он рос с отцом, был бы, наверное, совершенно другим, гораздо более удачливым, счастливым, что ли.

— ...И раз родной отец не дал тебе такой возможности, как вообще его можно называть родным отцом? Не понимаю, — закончила, как всякий раз заканчивала баба Люся.

— И что мне теперь? Не ехать к нему? — спросил Павел.

— Отчего не ехать? Поедь, посмотри, раз надумал. Ты уже достаточно взрослый, сам все можешь решить. Но я, зная твоего отца как облупленного, сильно сомневаюсь, что из этого выйдет что-нибудь толковое — одно расстройство будет, вот увидишь.

Павел ушел к себе. Не хотелось, чтобы бабушкина обида довлела над ним. Отец мог вообще не позвонить, как не звонил до этого, но он вспомнил о нем, значит, не такой уж и плохой, зря бабушка так думает.

И все же какие-то мелкие зерна сомнения она зародила в нем. Может, все-таки не ехать никуда, не встречаться с отцом и его семьей? Надо это ему? Жил ведь как-то до этого, никто душу не тревожил...

Павел, как воду, допил свое молоко, прилег на кровать. Пружины натужно скрипнули, потолок словно придавил своей тяжестью.

Как тяжело делать выбор. Подсказал бы кто незаинтересованный. Баба Люся, как ни крути, тянет одеяло на себя. На его стороне вообще

никого нет. Был бы дома хоть Егорыч, может, поддержал, посоветовал бы что-нибудь.

Павел повернулся набок, устался в стену, но видеть не видел ее.

Наведаться к Егорычу, что ли? Наверняка он оклемался немного, найдет минутку выйти, поговорить. С ним он наверняка найдет нужный язык.

Баба Люся уезжала почти на неделю: полтора дня туда, полтора обратно, и там после похорон надо будет с родственниками посидеть: тоже года четыре не была, тяжело теперь стало по электричкам да поездам старушке ездить.

Павлу на смену послезавтра. После того, как Егорыч слег в больницу, им со сменщиком пришлось его сутки делить между собой. Договорились, что будут дежурить два по два, тем более фирму в связи с *COVIDOM* на неопределенное время прикрыли, ни работяг, ни дальнбойщиков еще долго не будет, сильно не перетрудишься, — знай себе, лежи на топчане, телек смотри или читай, а краем глаза поглядывай на мониторы охраны. При таком положении и бродить по территории часто не нужно: все заперто, опечатано, верные друзья и помощники охранника — собаки — всегда предупредят о появлении незнакомца, тот не успеет даже к забору приблизиться.

Баба Люся оставила Павлу большую кастрюлю борща, нажарила сковородку котлет. Картошки или макарон сам сумеет отварить, — дело нехитрое, а для человека, прошедшего армию, так и вообще плевое, — он, когда, бывало, в наряде по кухне, целыми ваннами картошку чистил, почти на весь взвод.

Баба Рая говорила как-то, что у отца в новом браке родилась дочь, значит, у него есть сестра, но он не видел ее никогда и представить себе не мог. Спроси его, он даже не скажет, сколько ей лет, ходит ли она в сад или доросла до школы. Было бы любопытно на нее взглянуть и может даже подружиться, — все в наших руках.

3

Подобная бабе Люсе реакция случилась вечером у Леры.

Когда Коломольцев рассказал ей о своем звонке и о предложении встретиться у них воскресным днем за чашкой чая, Лера вспыхнула, резко хлопнула шумовкой по столу:

— Ты почему никогда со мной не советуешься? — она стояла у мойки, где собиралась мыть посуду. Глаза ее в мгновение налились кровью. Такой Коломольцев давно ее не видел. Даже Даша заглянула на кухню:

— Мам, что случилось? — спросила испуганно.

— Ничего, дорогая, иди занимайся, мы с папой разговариваем.

Даша ушла. Лера закрыла дверь на кухню, вернулась к мойке, стала яростно намыливать посуду, не поворачивая головы. Пряди волнистых волос сбились на ее влажном лбу, и так острые, как у кошки, черты лица еще больше обострились.

Коломольцев неуклюже приблизился к ней, попытался обнять, но она хрупким плечом сдернула его руки.

— Тебе обязательно каждый раз доводить меня до белого каления? Мы сколько раз говорили о твоём сыне. Встречайся с ним, сколько хочешь. Пожалуйста. Только не в моем доме.

— В твоём доме? — ухмыльнулся Коломольцев.

— Да, в моем доме, в моей квартире, купленной на мои деньги и деньги моих родителей; квартире, которая останется, надеюсь, только нашей дочери... Я не хочу, чтобы кто-то еще претендовал на это жилье.

— О чем ты говоришь, у меня и в мыслях такого не было!

— Ты никогда ни о чем не думаешь! — снова вспыхнула Лера. — Иногда складывается впечатление, что в этой семье обо всем думаю только я.

— Почему только ты? Все время ты! — завелся и Коломольцев. Он всегда легко заводился, буквально, с полуоборота.

— Да потому что тех грошей, которые ты получаешь, едва хватает на прожитье, разве не так?

— Опять за свое! А деньги, которые мы выручили от продажи моего родительского дома, — куда они делись, не сюда же вложены?

— От дома? Ты сказал от дома? Может, от халупы, которая продвинулась семью ветрами? Тех денег, если ты помнишь, едва хватило бы на однушку в хрущевке, а остальное откуда взялось? Мы ведь в трешке живем, как видишь? А машину на что купили?!

— Ну, знаешь! — буркнул Коломольцев, опрометью вылетел из кухни и громко хлопнул дверью. Метнувшись в спальню, он и дверь спальни плотно закрыл за собой.

Даша растерянно стояла посреди своей комнаты, прислушиваясь к происходящему на кухне. Не в первый раз она была свидетелем ссоры родителей, но никак не могла к ним привыкнуть. И теперь ей было неловко, больно и обидно за всех: что же они так?

Когда отец скрылся в родительской спальне, Даша прошла на кухню, стала на пороге.

— Мам, что случилось?

Лера вставила в решетку над мойкой очередную вымытую тарелку, повернула голову к дочери:

— Ничего, родная, не волнуйся, папа опять чудит. Первый раз, что ли? Ты все уроки сделала?

— Осталась только математика. Но я не знаю... Может, ты мне поможешь? Посмотрим вместе?

— Конечно посмотрим, только домою все.

— Я могу помочь тебе чашки помыть.

— Хорошо, иди помой, а я пока с папой договорю.

Даша взялась мыть чашки и блюдца. Лера вытерла руки о висящее рядом с мойкой небольшое вафельное полотенце и прошла к мужу.

Коломольцев отрешенно сидел перед раскрытым конспектом и пытался сосредоточиться, но в голову ничего не лезло. Лера стала спиной к окну, оперлась на подоконник, сложила руки на груди. Раздражение ее никак не уходило, она сверлила мужа пристальным взглядом. Он не поднимал головы, пытался не обращать на нее внимания. Лера давно привыкла к подобной форме выражения. Он часто к ней прибегал, когда был недоволен. В свете ночника черты лица его казались особо тусклыми, как будто ему было не сорок с хвостиком, а намного больше, но Лера за время их супружеской жизни видела уже не один десяток его лиц.

— И чего ты убежал? Вспыхнул, как порох, и умчался. Что не так? Ты же знаешь, как я отношусь к подобным сюрпризам. И потом, вспомни, как доставала нас твоя первая жена, приходила стекла в доме бить. Я тогда испугалась дальше некуда, думала, молоко в груди пропадет. Слава богу, не случилось. Забыл уже? А у меня осадок на всю жизнь. Но разговор не об этом. Чего взбеленился, чуть из себя не вышел? От моего недовольства? Но сколько раз говорили: решать подобные вопросы мы должны исключительно вместе. Тебе это так трудно?

— Не трудно, — Коломольцев повернул голову. — Но я не думал, что мое приглашение так тебя заведет. Прости, не злись, пожалуйста, — попытался примириться он. — Ну, хочешь, я встречу с ним где-нибудь на стороне, в кафе или в городе?

Лера опять насупила выщипанные брови, сжала тонкие губы.

— Ты хочешь, чтобы меня потом все принимали за монстра? Ты хоть слышишь, о чем я говорю? Я возмущена не тем, что ты пригласил своего сына в гости, а тем, что прежде всего не посоветовался со мной.

— Но это было совершенно спонтанное решение. Не знаю, что на меня нашло. Ну, прости меня, родная, прости, прости, прости, — залепетал Коломольцев, нескладно поднялся, приблизился к жене. Она от-

вернулась к окну, но Коломольцев знал, она уже остывает, — он давно научился чутко распознавать ее настроение. Он обнял жену двумя руками, крепко прижался к ней, губами коснулся тонкой синей жилки на шее, которую он так обожал целовать. Леру прошиб легкий озноб, она передернула хрупкими плечами и снова вскинула на мужа глаза, но во взгляде ее больше не было негодования.

— Так, прекрати немедленно, сядь за стол, не беси меня! — уже деланно бросила она.

— Не буду, не буду, лапуля, смотри, я уже за столом, — как обезьяна, отпрыгнул от нее Коломольцев, юркнул за стол и принял позу готового к ответу школьника за партой, сложив перед собой руки.

Лера искоса взглянула на него, дурашливо задравшего подбородок (и это взрослый мужчина, без пяти минут профессор), усмехнулась краем губ, почувствовав прежнюю власть над ним, потом сказала:

— Надо будет купить чего-нибудь вкусенького.

— Да, моя радость, как скажешь, — не выходя из роли, продолжал гаерничать Коломольцев.

— Салатов каких-нибудь приготовить. Может, торт взять.

— Все возьмем. Сходим вдвоем в магазин, сама выберешь, чего твоя душенька пожелает.

— И чтобы это было в последний раз: не надо мне больше никаких сюрпризов!

— Больше никаких сюрпризов!

Коломольцев светился. Как и не было никаких вспышек до этого.

— Смотри у меня!

Удовлетворенная (все стало на свои места), Лера покинула спальню — она совсем не любила подобных неожиданностей. Возле кухни встретила с дочерью.

— Ну что, ты все закончила?

— Все помыла.

— Умница. Тогда пойдем посмотрим, что тебе не ясно, — увлекла она дочь в ее комнату.

Коломольцев остался один. Тишина заполнила небольшое пространство. Тени преломились. Раздражение исчезло. Как будто его и не было. Как будто Лера сняла, вытянула из него черную слизь, унесла с собой и выбросила на помойку. Как это ей удавалось? Успокоить его, снять негатив, придать бодрости, хорошего настроения? Может, ее молодость так на него действует? Все-таки пятнадцать лет разницы... А может, она обладает какой-то защитной оболочкой от всей этой грязи,

от его внезапных вспышек, его неудовлетворенности окружающим, которое так или иначе отражается и на ней?

За предыдущей женой Тамарой такой способности он не замечал, предыдущая жена была почти его ровесницей, но он совсем ее не распознал. После знакомства сразу ушел в армию, два года не видел, вернулся, — она, казалось, превратилась совершенно в другую женщину. И только сын на первых порах был скрепой их жизни, где заново пришлось привыкать друг к другу, заново учиться жить вместе. Не то Лера. С самого начала знакомства и по сей день она всегда была вместе с ним. Если и менялась, то менялась на глазах, он мог под нее как-то подладиться. С Тамарой и притереться не получалось. Та была, как камень, упорно не хотела принимать его таким, как есть, со всеми его недостатками. Раздражала и она его многим, он часто, бывало, выйдя из себя, посылал ее подальше. Чего ей не хватало? Говорила, что тяжело с ним. А ему? С Лерой сразу стало всё по-другому. С Лерой пришла к нему какая-то необычайная легкость, наполненность, радость. Эта порхающая стрекоза — никто его не переубедит — на своих ажурных хрустальных крылышках принесла ему счастье. Наверняка наладится все и у Павла. Теперь он будет рядом с ним, сможет, если понадобится, помочь. По крайней мере, постарается, — все-таки это его сын, его гены, его кровь.

4

На следующий день, проведив бабу Люсю, Павел все-таки решил поначалу поговорить с Санькой Скворцовым, своим близким другом еще по школе, бывшим одноклассником, с которым он и до сих пор не потерял связи, а уж потом съездить к Иван Егорычу в больницу.

Санька как чувствовал его звонок.

— Ты дома?

— Пока дома. Первую пару заколол.

Санька учился в промышленном колледже на программиста, хотя любого препода мог за пояс в этом деле заткнуть, так как с детства был помешан на компах, но чтобы двигаться дальше («Гребаная бюрократия», — возмущался он), нужна была соответствующая бумажка. Пришлось уступить матери (Санька тоже рос без родителя) и отнести документы хотя бы в колледж.

— Загляну?

— Давай, только не тяни, а то не застанешь.

Павлу что было собираться: куртку поверх спортивного костюма, ноги в кроссовки, — и готов. Два шага, — и он уже у Скворцова.

— Привет, проходи, — впустил он Павла. — Что-то случилось?

— С чего ты взял?

Санька улыбнулся:

— Да я тебя как облупленного знаю, колись, просто так не пришел бы.

— Иногда лень задницу от дивана оторвать, ты прав.

— Что ж в этот раз?

Скворцов упал в высокое черное кожаное кресло перед включенным компьютером, смахнул со столешницы джойстик, воткнулся в экран, где взад-вперед по ночному мегаполису мотался его герой, фактурой больше похожий на Павла — длинный, сухощавый, — чем на него самого, коротышку с намечающимся брюшком — следствием фастфуда.

— Да тут возникла одна фигня, не знаю, как на нее реагировать.

— Что за фигня?

Скворцов рьяно защелкал кнопками джойстика: его герой полез в рукопашную.

— Батяня вдруг объявился, зовет встретиться.

— Ох ни! А ты чё?

— Вчера вроде хотел, сегодня уже засомневался.

— Сомневаешься, — забей. Ты ему что-то должен?

— Ничего вроде, но неловко как-то.

— Тогда в чем проблема? Хочешь — езжай, не хочешь, не едь.

— Я думал, ты мне что посоветуешь.

— А что я тебе посоветую: ты со своим хоть несколько лет прожил, а я своего и знать не знаю. Хотя, если бы он объявился, я бы, наверное, спросил его о чем-нибудь.

— Например?

— Ну, чё ему вдруг от меня понадобилось?

— Думаешь, моему от меня чего-то нужно?

— Не знаю. Чё ж не спросил? Я б у своего поинтересовался. Наверное.

Павел задумался. Может, Санька и прав: надо было узнать, когда еще по телефону говорили. Только ответил бы отец так сразу?

— Ладно, проехали. Ну а у тебя что с распределением, есть ли какие предложения, как ты говорил. Рванешь куда?

— Да какие предложения? Сам с усам. Ищите самостоятельно, сказали.

— А ты?

— Еще не решил. Да особо пока и не парюсь, — не найду ничего, рвану, может, на Донбасс, вступлю в ополчение. Сколько их там уже, лет шесть долбят без передышки?

— Думаешь, там будет лучше?

— Не знаю. Не поедешь, не узнаешь.

— У меня там баба Рая. Уехала, сказали, когда у отца появилась другая семья и он надумал продать дом, в котором мы жили сначала.

— Вот, можем рвануть вместе, будет, где остановиться.

— Наговоришь тоже. Обратно можешь и в цинке вернуться или вообще без вести пропасть.

— Ты так этого боишься?

— Не знаю, не задумывался как-то.

— Но вот ты говоришь, у тебя там баба Рая, — как-то она там живет, если сюда не возвращается?

— Не знаю, может, ее уже и в живых нет. Можно спросить у отца.

— Видишь, выходит, у тебя масса поводов, чтобы встретиться с родком.

— Может, и так. Хотя бы ради этого вопроса: зачем?

— Вот-вот.

— Тогда давай, я пошел.

— Покедова. Хлопнешь дверью? — Санька так и не оторвал взгляда от монитора.

Павел спустился вниз, вышел из подъезда пятиэтажки Скворцова. Вроде, все прояснилось, а вроде, и нет. По большому счету, ничем ему старый друг не помог, добавил только сомнений. И с Донбассом Саньку как перемкнуло. Совсем, что ли, заняться нечем? Но с отцом... Наверное, все-таки придется съездить к Егорычу, может, тот с высоты своего житейского опыта еще что подскажет?

Павел свернул к продуктовому, в магазине купил несколько яблок, апельсинового сока, — как же проведывать человека с пустыми руками? Так научила его баба Рая. Она и к нему всегда приезжала с кулечком гостинцев, как и положено всякой нормальной бабушке. Была бы она рядом, наверняка он обратился бы к ней. Она была добра по натуре, хоть и малоулыбчивая. Так на нее подействовала ее непримечательная жизнь матери-одиночки (отец ведь, как и Санька Скворцов, совсем не знал своего родителя). Сознательное затворничество в конце концов привело ее в один из ближайших храмов, где она, как говорится, нашла себя, став одной из работниц, и все у нее всегда было в полном порядке: к богослужениям и таинствам нужное подготовлено вовремя, иконы протерты, подсвечники начищены, полы вымыты. Даже в

комнатке ее в прежнем доме, он помнит, всегда пахло ладаном и травами, висело много разных икон, с которых на Павла в дрожащем пламени свечи глядели безмятежные бледные лики. Потом уже, когда отец развелся с матерью, баба Рая сама ездила его проведывать, так как новая жена отца ни в какую не желала видеть отпрыска мужа от первого брака. Никто не понимал подобной неприязни мачехи к Павлу, может, ее просто страшила разница в возрасте, ведь когда отец привел в дом матери свою вторую новоиспеченную жену, ей недавно только стукнуло восемнадцать, она закончила первый курс университета, а Павлу к тому времени уже исполнилось тринадцать. Они скорее почувствовали бы себя братом и сестрой, чем пасынком и мачехой. Как бы то ни было, до настоящего времени Павел не особо задумывался об этом — мир отца не был больше его миром, и бабушка Рая, когда появлялась, возникала будто из ниоткуда, была как бы сама по себе, из пространства, никак теперь не связанного с отцом, а потом и вовсе канула в неизвестность...

Маршрутка миновала промышленную зону, за поворотом нужно было встать и еще минут пять пройти прямо к лесной зоне, на окраине которой среди мачтовых сосен и высоких лип ютилась небольшая двухэтажная больница в виде буквы «П», в которой ныне и выхаживали Иван Егорыча.

После прохладного марта солнце прямо радовало, даже слепило, отражаясь в подтаявших лужах, согревало душу.

В небольшом холле Павла заставили надеть на лицо медицинскую маску (возьми в коробочке возле окошка регистратуры) и попросили немного подождать, пока Иван Егорычу не передадут о его визите.

Павел сел на одну из кожаных скамеек у стены и стал терпеливо дожидаться соседа. Вскоре тот и сам появился в высоких двустворчатых дверях.

— Это ты... — немного разочаровано протянул он для пожатия свою вялую старческую руку. — Я думал, сын.

— А это я. Привет! — горячим рукопожатием ответил Павел. — Я вам тут гостинцев привез. Как вы?

— Нормально, не впервой поди. Ты чего приехал? Случилось что?

Павел не стал тянуть резину, рассказал обо всем сразу, без обиняков: и про указ Президента о нерабочем месяце, и о закрытии на карантин фирмы, и главное, о неожиданном звонке отца.

Егорыч выслушал внимательно, насколько мог: после утренних процедур он еще чувствовал слабость.

— Ну, указ Президента... Их было столько... Кабы все исполнялись. Тут скорее подфартило монтажникам, — сиди дома, в ус не дуй, зарплата капает, а нам, сторожам, от этого указа никакого проку: территорию и имущество все одно кому-то охранять надо, не то разворуют, черти, как пить дать. Известное дело — Русь-матушка. Что касается твоего отца... Понимаю твои сомнения. Сам удивлен не меньше. Сто лет, можно сказать, не виделись, и на тебе — явился не запылится... Но что тебе сказать? Признаться честно, в этом вопросе я плохой советчик. Иногда задумываешься: времена какие-то стали непонятные, всё как будто с ног на голову перевернулось. Раньше, вроде, дети родителям всегда помогали, а теперь чадо выросло, а все одно в рот составившемуся родителю заглядывает. У тебя немножко другое, ты больше сам с детства, но не знаю...

Егорыч посмотрел в окно, задумался. Павел не стал его теребить, Егорыч сам продолжил:

— Не знаю... У вас, наверное, всяко было: не лучшее по себе он оставил, но каким бы ни был, — он остается твоим родным отцом. Понимаешь меня? Как ни крути. Поэтому, думаю, если можешь лишний раз увидеться с ним, — не упускай возможности. В жизни ведь многое меняется; чем черт не шутит, может, вы когда-нибудь и жить будете вместе, воссоединитесь, так сказать, условно говоря.

Павел словно только этих слов и ждал, и хотя про воссоединение с отцом верилось с трудом и отчасти, как показалось Павлу, Егорыч говорил о себе, о своих отношениях с сыном, на душе снова просветлело, и сомнения окончательно оставили его.

Они проболтали еще с четверть часа о том о сем, но Егорычу нужно было на очередные процедуры, и Павел попрощался с ним.

— Надеюсь, вы скоро выйдете.

— Да как обычно. Пройду курс, и выгонят, тут больно не залежишься, не надейся.

Павел возвращался домой, не чуя под собой ног, как будто перед ним в жизни развернулась новая дорога, которую открыл ему отец.

В голове закрутилась одна из его обожаемых мелодий, чуть не толкнувшая в пляс. Грудь распирало. И он бы, наверное, так и заплясал, если бы навстречу ему не попадались прохожие. Но и то, пропустив мимо себя какую-нибудь старушку, он тут же ребячливо выделявал какое-нибудь па. А если та ненароком оборачивалась и окидывала его недовольным взглядом, мол, юноша, ты дурачок или как, он кивал ей: чего не так — и шел дальше, пританцовывая в такт звучащей в голове

песне. Ему уже не терпелось поскорее увидаться с отцом. Когда уже наконец наступит воскресенье!

5

Фирма, в которую Иван Егорыч в свое время пристроил Павла и в которой он теперь работал, находилась в одной из промышленных зон на окраине города. От дома Павла минут пятьдесят неторопливым шагом, нога за ногу, с возможностью поглазеть на частные дома вокруг, полуразрушенные строения бывшего машзавода, на совсем недавно заполонившие промзону небольшие частные магазинчики с яркими, бросающимися в глаза рекламами.

Предприятие (а точнее филиал одной из московских частных фирм) занималось протяжкой высоковольтных кабелей, монтажом линий электропередач, установкой и подключением ТП небольших мощностей.

На фирме числилось десятка полтора постоянных работников, исполнительный директор Сергей Степанович Белолобов — низкорослый, пузатый, с кустистыми бровями, главбух Амалия Львовна — человек-невидимка, доступная только по телефону и то в редких случаях, механик — бледный отголосок советского высшего образования; секретарь (чуть постарше самого Павла, немножко потрепанная жизнью, но еще хорошенькая Лили), два водителя, три охранника (осталось два) и Роман Петрович, так называемый начальник охраны, который, как Павлу по секрету поведал Иван Егорыч, на самом деле был одним из «смотрящих», который приглядывал за фирмой со стороны блатного мира (как же без этих пиявок на Руси?) и улаживал спорные вопросы с инстанциями различного рода.

За высоким, с витками колючей проволоки по верху, бетонным забором с северной стороны вплоть до самого леса раскинулись дачные коробки шестисотников кооператива «Новые липки». Летом домушки утопали в густой зелени, зимой щетинились окружением голых стволов и ветвей. К дачам выходила и задняя решетчатая калитка забора с небольшим навесным замком, которую Павел или его напарники регулярно открывали в семь утра и запирали в восемь вечера, когда двор покидал последний рабочий или водитель, оставлявший на открытой стоянке предприятия свой грузовик до следующего рейса.

Через эту калитку, закончив свое дежурство, обычно уходил и теперешний сменщик Павла — Миха Стополь, сухощавый сорокалетний франтик с амбициями, в прошлом — несостоявшийся инженер-механик.

В делянках «Новых липок» у него тоже была обитая выцветшей вагонкой хибарка.

Павел был как-то у него в гостях на даче по случаю, заглянул после своей смены (тот иногда по доброте души подгонял ему сочных яблок белого налива, слив, иногда зелени: петрушки и укропа). Внутри, как оказалось, дачная лачуга Михаила ничем почти не отличалась от их будки охраны: три на три, однотумбовый стол у окна, топчан на одного полувысохшего чела, платяной шкаф с облупленным зеркалом на двери и голая лампа на потолке — точь в точь ихнее логово, только окон у них было поболее и справа от стола громоздилась еще масляная батарея из крашенных в зеленое железных труб, которую они включали для обогрева ночью, в межсезонье и зимой. Дачки же «Новых липок» на зиму запирались, отапливать их никто не собирался.

Главный въезд на фирму с двухэтажной будкой охраны располагался на противоположной стороне. Из центрального окна будки (а их было целых три: на улицу, во двор и на ворота) охранники следили за массивной выдвигной железной створкой. Кнопкой из будки автоматически открывали, кнопкой закрывали (как и калитку рядом), а когда двигатель ломался, они, бурча и чертыхаясь, выползали наружу и выдвигали массивную воротину вручную: до самого конца — если сунулась фура, до середины — если истерично визжала легковушка какого-нибудь работника, пыхтел кроссовер директора или издавал короткий гуд маленький «танчик» — «бэха» начальника охраны.

По большому счету, охранники чаще всего только открывали-закрывали воротину, чем ходили и осматривали территорию. Иногда для обычного прохода они оставляли небольшую щель, так как автоматическая калитка справа от ворот не всегда открывалась — частенько электронный замок барахлил, а поменять его начальству было лень (или жаль денег).

В будке охраны, на столе перед Павлом — чуть сбоку, не посередине, — иссеченный четырьмя квадратами монитор видеонаблюдения.

Роман Петрович обещал в дальнейшем превратить этот глаз гигантской охранной мухи в восемь, а то и в двенадцать квадратов, но «Батя», как все его здесь называли, отец Сергея Степановича, основатель фирмы, головной, которая в Москве, денег на закупку камер, хоть и обещал, так и не выделил. «Пусть охранники больше по территории ходят, — бросил недовольно в свой очередной приезд, — а то привыкли только спать и на дармовщинку деньги получать». (Иногда, раз-два в полгода, Батя лично объезжал с инспекцией свои филиалы, чтобы быть в курсе всех дел.)

Сергей Степанович соглашался с ним (как не согласиться с отцом и вышестоящим начальством по совместительству?), и пока средства на добавочные камеры не выделены (босс, как поговаривали, скорее всего сейчас где-нибудь на одной из своих дач в Подмоскovie, в Сочи или на Байкале, и на фирму в Иванове вряд ли заглянет, ведь тут, пишут, очередной всплеск смертности от ковида (от чего ж еще!)), — зачем ему рисковать), в общем, пока средств на всякую херню нет, охранникам приходится брать, как говорится, ноги в руки и дополнительно по несколько раз выбираться из своей берлоги на свежий воздух, чтобы обойти периметр вечером перед сном или утром по пробуждении.

Ночью, как правило, они смотрели седьмые сны, но там уже выручали верные собаки — щенячий патруль в четыре-пять голов, голосащих на всю округу когда надо и не надо, если кто-то подходил к воротам или даже проходил мимо.

Роман Петрович завел себе привычку просматривать недельные записи видеокamер, на которых четко фиксировалось все происходящее: кто куда пошел, что взял, когда и на чем выехал. В них Павел, как правая голливудская звезда, в шесть утра сдобной булкой кормил собак, в обед подливал им в плошку воды, дергал в восемь вечера ручки дверей конторы, склада и раздевалки рабочих, — не оставил ли кто их ненароком незапертыми (бывали случаи).

Сторожа быстро освоились с камерами охраны и уже по инерции проходили именно в тех местах, где их хорошо видно, мол, они полны бдительности и заботы о сохранности вверенного им имущества, оборудования и транспорта их родного предприятия.

Все эти «Мазы» и «Камазы», разбитые «Волги» и «УАЗы», массивные бухты с многокилометровыми кабелями и металлические опоры, сваленные вдоль забора, им и на дух не нужны, но они и вокруг них, как положено по должностной, обойдут и на них для приличия поглазят, а заодно, если приспичит, в местах, где нет обзора, и нужду справят (а что, — толчок только в конторе или в раздевалке рабочих, которые на ночь или на выходные закрыты и опечатаны).

Раньше Павел иногда, когда никого нет, погоняет консервную банку вместо футбольного мяча (по приколу — шуму на всю округу!). Собачий молодец присоединится к нему, тоже поносится в радость, полает, чтобы он сыграл с ними во что-нибудь и для них удобоваримое, тогда Павел пожонглирует палкой, метнет ее метров на двадцать, — палка в одно мгновение возвращается.

В детстве Павел очень любил играть в подвижные игры: в городки, выбивание водруженных друг на друга пустых консервных банок, в ме-

тание камней на дальность и точность. Жаль, что у матери не было возможности отдать его в какую-нибудь секцию, а к тому времени, когда он подрос и окреп, интерес к спорту у него совсем пропал. Зато Павел стал ненасытно поглощать книги (беспорядочно, впрочем, и без разбора). Аристотель сменялся у него Брэмом, Светоний — математическими или физическими головоломками Перельмана, Покрышкин и Кожедуб — Бокаччо, Швейцер — Артуром Шницлером. В общем, все, что он находил на книжных полках матери, Ивана Егорыча, школьных товарищей или в библиотеках.

Хорошо, что у него сохранилась страсть к чтению, иногда ловил себя на мысли Павел, пусть и разнообразному, потому что теперь в будке охраны он не скучает, так как покидать ее во время работы предприятия (такая установка) им никак нельзя: почти раз за разом в ворота въезжали, из ворот выезжали, что-нибудь вывозили, что-то привозили, пополняя склад или загромождая металлическим профилем стоянку.

Сторожа должны были находиться или в домике охраны, или неподалеку от ворот, подметая асфальт и краем глаза наблюдая, как грузятся машины (ворота склада хорошо просматривались с этого места).

Бывало, правда, напротив склада водители копаются в чревах своих машин, охранник подойдет к ним, не выпуская из виду ворот, и чем-нибудь поможет: поддержит уголок, подаст гаечный ключ, подложит доску, а то и просто поболтает — это не возбранялось, лишь бы ворота были в поле зрения. Ну, а на выходные на территории делай, что хочешь (если нет авральных работ), все в распоряжении сторожей, и то, если монтажники вышли в субботу, пошатываются для вида до обеда — и разбегаются, и ты снова один, как пень, сохнешь от тоски и скуки.

Сергей Степанович на выходные тоже редко когда заглядывал, разве что взять что-нибудь из конторы или заправиться, если не успел сделать это накануне (у фирмы был свой топливозаправочный пункт).

Теперь же, когда всех отправили на карантин, никого, кроме охранников, на базе и близко нет. Хочешь, читай, хочешь, смотри телевизор или слушай радио; надоело, ляг и спи, — бдительные собаки предупредят, если кто подъедет. Чем не лафа! Раздолье! Денежки на счет охранников все равно текут, вкалывают монтажники или дома сидят, — базу так или иначе, а охранять надо. И не только у нас. Натура такая бесовская у человека: что плохо или без охраны лежит — обязательно надо прихватизировать (прихватить, по-простому).

В общем, карантин охраннику только впрок. Не то было до карантина. Там директор мог и не доплатить чего-то в месяц. Как жаловался

Миха, по целому кварталу мог не возвращать долгов. А теперь? Попробовал бы не заплатить — сам бы сторожил, делаварь!

Как всегда в начале восьмого утра Павел уложил в небольшой рюкзак банки с едой, бутерброды, сваренный бабушкой компот, несколько яблок, укутал плотнее шею мохеровым шарфом (к сожалению, носоглотка была одним из самых уязвимых его мест), закрыл входную дверь барака и отправился на работу.

С рассветом апрельский холодный ветер крепчал (по старому календарю еще март), щеки горели, идти приходилось чуть согнувшись.

До промышленного района нужно было миновать открытое поле, а уж там ветер терялся в проулках, застревал в подворотнях, разбивался о высокие кирпичные заборы и металлические ворота. Но уже недолго до настоящей весны, за ней, не заметишь как, и лето придет. Летом сторожить вообще в кайф, особенно на выходные: успеешь и позагорать, и выспаться, телик поглядеть или почитать без дерготни, не отвлекаясь каждый раз на постороннее.

Сегодня пятница, послезавтра Павел встречается с отцом.

«Интересно, как бы отреагировала на это мама, — подумал Павел, переходя рельсы железной дороги. — Что сказала бы ему? Одобрила ли его решение?» Хотя под конец жизни она была, как ему казалось, ко всему безразлична. Одно беспокоило больше всего: чтобы рюмка ее не оставалась пустой. Питье и сгубило. Слава богу, хоть не тянула за собой домой приبلудных алкашей.

Баба Люся пару раз отчихвостила ее за это, да Иван Егорыч вытолкал взащей нескольких особо наглых репейников. Но это Павел был еще мал. Потом мать остепенилась, перестала приводить в дом чужаков, пила втихаря, пока в конце концов не спилась.

Павел навсегда запомнил ее последний день. Он как обычно часа в два вернулся из школы, прошел общим коридором (на кухне никого не было), вошел в квартиру. Тишина. Значит, мать с бабушкой, куда-то ушли, но почему тогда не заперли входную дверь? Странно. Выходит, они у Егорыча или где-то во дворе и скоро появятся.

Павел разулся и прошел в свою комнату (когда была жива мама, он спал в маленькой комнате, где теперь обитает баба Люся). Все-таки здорово иметь свою отдельную комнату, вдобавок с запирающейся дверью. Не многие его одноклассники могли этим похвастаться, некоторые ютились в гостиных со старшими или младшими сестрами или братьями. А у Васьки Демичева вообще была одна комната, огромная, правда, но — отец, мать, он и бабушка в придачу под одной крышей. Какое тут уединение, не говоря уже о личном пространстве? Поэтому Демичев

все больше и пропадал на улице — загнать его домой было целое дело. Не то у Павла: захотел — почитал, захотел — в планшете по сайтам прошвырнулся.

Планшетник ему на день рождения купила мать, на четырнадцать лет, уж очень просил, выклянчил. Мать с бабушкой сложились и обрадовали его. Интернет Павел ловил по беспроводной сети (вай-фаю) от соседа. Иван Егорыч дал свой пароль без колебаний. Теперь Павел мог не только в игры, которые одноклассники нахваливают, поиграть, но и в запретную зону забраться, полюбоваться голыми девками, когда дома не было матери и бабушки.

Павел бросил портфель на стул, опять прислушался. Тишина стояла непривычная. Ну и ладно, пока мама с бабушкой вернутся, он может поиграть во что-нибудь на планшете, не хотелось ни уроки делать, ни на улицу идти. Можно было бы чего-нибудь грызнуть. Павел поплелся в большую комнату, но только переступил ее порог — обомлел. На сложенном диване, запрокинув голову, с раскрытым ртом, неподвижно полусидела мать. Перед ней на табурете стояла недопитая чекушка водки и лежало несколько бутербродов на блюде, один из которых был слегка надкусан.

Павел ничуть не удивился такому зрелищу. Он частенько заставал мать в подобном состоянии. Когда она отрубалась, рот ее так же был широко раскрыт, а халат на коленях нараспашку...

Павел смахнул с блюда бутерброд, откусил кусок, стал пережевывать. Снова посмотрел на мать. Вроде все как всегда, но чего-то не то. Лицо ее как будто никогда не было таким бледным: как восковое, кукольное, глаза закатились куда-то под веки, зрачки совсем исчезли, — жуть!

Павел запихнул остатки бутерброда в рот, слегка онемевший подошел к дивану, тронул мать за руку. Рука оказалась холоднее льда.

— Ма-а-м, — сказал растерянно, не понимая, что произошло. — Ма-м, — затряс мать за плечо, но она не очнулась, голова ее клюнула набок, а тело тяжело сползло на диван.

От страха и недоумения Павел заревел, но продолжил трясти мать.

— Мам, мам!

Но мать все равно не отзывалась. Павел не знал, что делать. Продолжая хлюпать носом, как сомнамбула, вышел в коридор, толкнул дверь в комнату соседа.

Иван Егорыч, увидев заплаканное, обескровленное лицо Павла, сразу же поднялся с кресла:

— Ты чего, сынок? Тебя кто-то обидел?

— Там... — рыдал Павел. — Там... Мама...
— Что? — Иван Егорыч не понимал. — Что «мама»?
— Там, — не мог ничего объяснить Павел.

Иван Егорыч поспешил в квартиру Сермяжных.

— Ну нихрена себе, — пробормотал, остолбенев. — Не смотри, не смотри, сынок, — стал тут же выталкивать Павла вон, — пойди лучше ко мне, телевизор погляди, а я тут разберусь.

Он силой увел мальчишку в свою комнату, посадил в кресло перед телевизором и сразу же бросился вызывать скорую, хотя догадывался, что скорой, скорее всего, делать тут будет нечего. Скорой быстрее пришлось откачивать бабу Люсю, которая вернулась из пенсионного чуть раньше ее приезда. Тамаре больше никто не мог помочь.

— Преставилась, представилась, — забормотала баба Люся, когда немного отошла от вколотого лекарства. — Господи, я так и думала, что этим все закончится.

Павел проревел в подушку всю ночь и неделю ходил как потерянный. Теперь вспоминать тошно, а тогда у него было настоящее потрясение...

Павел прошел мимо продуктового ларька, до его базы осталось совсем немного. Ветер дул в лицо, студил грудь. Сейчас самый разгул вирусов, тут еще и ковид гребаный. Не заболеть бы. Павел с детства был склонен к простудам.

Непонятно, думал он, отчего ему вдруг вспомнилась смерть матери. И стоит ли об этом подробно рассказывать отцу? Будет ли тому интересно? Павел и так не помнил между родителями особой теплоты, а уж со дня смерти столько лет прошло...

Но вот и база. Перед воротами грязи с подтаявшим снегом чуть ли не по щиколотку. Миха расчистку, видно, оставил ему, — он всегда перекладывал возникшие проблемы на других — слишком хитровыделанный.

Павел нажал кнопку звонка на калитке. Замок щелкнул, калитка открылась. Павел протопал на базу, доводчик вернул калитку на место.

Навстречу выскочило несколько собак, завияли хвостами. Павел потрепал некоторых по загривку. Гаркнул из клетки, приветствуя его, пес Лапиф. Его выпускали по особым случаям; в основном, когда на территории никого не было (что было редкость), потому что он стал слишком дурным, ожидать от него в любую минуту можно было чего угодно.

— Сейчас покормлю вас, погодите, — кинул Павел, — освобожусь только.

В будке охраны Миха уже стоял в полностью застегнутом полушубке, — готов был уходить.

— Привет, — сказал Павел, распуская шарф. — Как прошло дежурство?

— Да как оно могло пройти, когда никто не работает, а ночью вокруг хоть глаз выколи? У соседей опять потухли фонари на столбах. За кроешь за мной?

Павел кивнул. Оставив свой рюкзак, вышел за сменщиком во двор. Увидев, что и тропинка к задней калитке занесена, спросил:

— Ты и тропинку не чистил? Как домой пойдешь?

— Как-нибудь проберусь, — бросил он. — Не сегодня-завтра всё растает, на следующей неделе обещали вообще до четырнадцати.

— Во-та! И все же шел бы лучше промзоной, там хоть бульдозер прошел.

— Мне сюда надо, — буркнул Миха.

— Как знаешь.

Павел выпустил его через заднюю калитку и запер ее на замок. Двое суток он будет один, сюда можно и не заглядывать. Со стороны дач никто не сунется. Уж там точно снега по самое колено. Чего Миха поперся той степью, одному богу известно. Хотя Павел мог и догадаться: Миха частенько шастал по соседним дворам дачников, прибирая железо и все, что неправильно лежит, потому что в такую пору никакой хозяин на дачу не сунется.

Павел вернулся в будку охраны, скинул куртку, шарф, повесил их в платяной шкаф, затем выложил из рюкзака банки с едой, бутерброды, бутылку молока и убрал все в небольшой старенький холодильник, который привез сюда Иван Егорыч, когда купил себе новый (зимой и осенью на базе без него еще можно было обойтись, а вот летом он здорово выручал). Добавив в сваренную дома и еще не остывшую похлебку для собак белого и черного хлеба, натянув общую для всех сторожей телогрейку, отправился кормить своих помощников, без которых сторожить было бы не так, наверное, и беззаботно. Да и собак он любил, не отнимешь. Может, в будущем, когда у него появится семья и дети, он и сам заведет себе собаку, — животные в доме всегда должны быть. Дело осталось за малым...

Быстро ссыпав в алюминиевую миску баланду, Павел направился в клетке с Лапифом.

Лапиф, твердолобый американский бандог с купированными ушами, — особая статья. Люди так зыбки, непостоянны; совсем другое дело животные. Иные — преданнее собаки...

«Вот умора!» — Павел усмехнулся про себя: он про собаку подумал, что нет ее преданнее, чем собака. Но тут даже не в преданности дело. Иным животным глянешь в глаза — тигру в зоопарке или слону в стойле; проходя мимо березы, заметишь острый глаз пристально глядящего на тебя черного ворона, — и подумаешь: а не скрывается ли под их оболочкой чья-то (в прошлой жизни) душа человечья, — уж так бывает осмыслен взгляд животного, так похож на человеческий, особенно, когда животное умирает, как умирал когда-то их старый кот, по человеческим меркам дотянувший почти до восьмидесяти. Сколько печали было в его взгляде, сколько уныния, жажды жизни! А все говорят: животное...

Лапиф не был псом Павла, он не растил его со щенячества; то был пес Роман Петровича, начальника охраны, верный пес, несший службу рьяно и покладисто, состарившийся на своем боевом посту, одряхлевший и от этого ставший совсем непредсказуемым, ну, прямо как какая-нибудь ветхая, выжившая из ума старушка, ушедшая в лютый холод на рынок в одном халате и комнатных тапочках. Пес, ставший неадекватным после того, как у Роман Петровича появилась новая жена (с прежней он ладил безусловно), а вслед за тем и маленькая дочь. Лапиф не принял ни одну, ни другую: постоянно скалился на молодую жену, а однажды чуть ли не до смерти напугал едва ставшую на ноги малышку. Это стало пределом терпения новой супруги Роман Петровича. После этого он и привез Лапифа на фирму, — все-таки жалко было усыплять старого друга, но и оставлять такого непредсказуемого приятеля дома нельзя, как и выпускать одного бродить по базе — мало чего пережмет у обиженного дряхлого зверя в голове, — а то, что его обидели, лишив дома и семьи и посадив под замок, ни у кого не вызывало сомнений.

Специально для Лапифа сварганили железную клетку, вольер, в аккрат напротив будки охраны, прямо на въезде, справа от ворот. Загрызть никого не загрызет, а лаем своим, рыком отпугнет любого чужака. Лаял Лапиф не как бестолковая шавка: лишь бы полаять да напомнить о себе; лаял отрывисто, гулко, когда чувствовал пришельца или кто-то ему не нравился; незнакомец не мог так просто пройти мимо его клетки. Обычно охранники успокаивали пса: — Лапиф, нельзя! — чтобы какой-нибудь туполобый, направляясь в контору, не наложил в штаны. Но он редко их слушал.

Рычал Лапиф грозно и на приблизившуюся случайно к его клетке дворнягу, коих на каждой базе развелось тьма-тьмущая и которые сбивались в стаи, чтобы утром подкрепиться у одной сторожки, а ночь перекантовать возле другой.

До Лапифа таких пришельцев было четверо, любили они полаяться с дружками из соседних баз, где тьякнет одна, тут же заворит ей другая; на краю промзоны подхватит третья, потом все дальше идет по кругу, пока само по себе, как ветер в густой чаще, не утихнет.

Лапифу, видно, в конце концов надоело слушать братьев-пустобрехов. Когда на их базе псы подключались к общей переключке, он неторопливо поднимался на ноги, подходил к решетке и, зарывав, угрожающе выплескивал пару гневных лаев на расходившихся дворняг. Те сразу же умолкали и больше не отвечали на посторонние звуки.

Было удивительно на это глядеть. Что Лапиф мог им сделать — из воьера его не выпускали ни ночью, ни днем? Но, думалось, выпусти, он разорвет всю эту снующую без дела по базе ораву в клочья. Да не только этих, а и любого, кто ему окажется не по нраву.

Он и Павла сперва не воспринимал, как и любого охранника, впрочем. Поначалу Роман Петрович сам подавал своему псу плошку с едой, подсовывал под прутья решетки (так специально сварили ее, как в зоопарке, чтобы не открывать каждый раз дверцу). Но постепенно он стал приезжать реже, Лапифу волей-неволей пришлось обывкаться и принимать еду от других, но и в этом случае только от тех, кого он выбрал сам.

Первые дни, как только Павел подходил на два-три шага к клетке, Лапиф поднимался на ноги, супил брови, скалил зубы, приглушенно рычал. Павел отступал, но не сдавался, стал заговаривать с ним издали, хотя где это «издали» — между будкой охраны и клеткой Лапифа чуть больше ширины въездных ворот.

Павел выйдет из будки охраны, уловит его пристальный взгляд и что-нибудь буркнет. Приходит на работу — обязательно, как ритуал, «Привет, Лапиф» или «Лапиф, как дела? Как прошла ночка?»

В конце концов грозный пес перестал на него рычать, но еще не отвечал, только провожал взглядом. Но Павел все свое, по-прежнему пытается войти в доверие.

Миху Лапиф так и не принял, хотя уже и не реагировал на него агрессивно, когда тот выходил наружу и шел осматривать территорию. Но к клетке — ни-ни, не подходи, — Миху он отчего-то сразу невзлюбил.

Павел поначалу тоже осторожничал, не сразу добрался до клетки. Когда Лапиф привык к его обращениям, стал выносить из будки охраны табурет и садиться напротив; на первых порах — на удалении. Только после третьей недели приблизился к клетке до трех шагов. Рык, но уже лежа, — достижение. И опять долгие беседы, точнее, монологи, чтобы пес окончательно привык к Павлу и его голосу.

Чтобы как можно больше узнать о Лапифе, Павел, едва заметив Роман Петровича, приставал к нему с одними и теми же вопросами: чему еще обучен Лапиф, какие команды может исполнять, как с ним найти общий язык и прочее в том же духе. Через месяц-полтора Павел уже садился боком к клетке и снова говорил, не позволяя себе пока глядеть Лапифу прямо в глаза. И вот в один из дней он впервые просунул плоску с едой под прутья.

Как Павел был доволен, что ему удалось это сделать! И хотя Лапиф никак не отреагировал на плоску, даже, кажется, бровью не повел, но на ноги не вскочил, не зарычал, значит, принял его, значит, все хорошо, ладно.

К концу третьего месяца (а время — сутки через трое — летит вихрем) Павел вовсе пялился в его глаза, подсыпал в плоску еды и больше не находил своего сердца в пятках.

Так, раз за разом Павел стал ему ближе и родней других. Уже и начальник охраны вынужден был отступить.

В один из своих приездов (в смену Павла), Роман Петрович, чуть подшофе, по старой памяти, по-свойски, непринужденно приблизился к клетке бывшего питомца с плоской отборных костей в руке, но был остановлен угрожающим рыком злобного зверя, выгнувшегося дугой и чуть не проломившего пол своими мощными конечностями.

Роман Петрович очумел.

— Да ты что, Лапиф? Ты что? Это же я, твой папа, Лапиф!

Лапиф еще агрессивнее. Глаза — что металл в раскаленном горне.

— Лапиф, гаденыш! — Роман Петрович не переваривал, когда ему перечили, шли против него. — Убью, заразу! Ты что!

Он сам по-звериному оскалился, набычился, заиграл желваками. И кто кого?

Казалось, будь сейчас у него в руках винтовка, он, не сходя с места, пристрелил бы своего любимца. Но Лапифа тоже не так-то просто взять: от подобной реакции бывшего хозяина он завелся еще пуще: оскалился, бросился мощной грудью на клетку, залаял что есть мочи.

Роман Петрович шарахнулся, ничего не понимая:

— Ты что, Лапиф, сучий сын!

Тогда к клетке приблизился Павел.

— Лапиф, фу, — сказал, даже не повысив голоса. — Нельзя. Иди к себе.

Лапиф глянул на Павла осмысленными, хоть еще и расширенными зрачками, вновь перевел хмурый взгляд на Роман Петровича, и снова, но уже тише, зарычал, показывая белые, крепкие еще клыки.

— Лапиф, к себе! — уже тверже повторил Павел, и пес отступил.

Теперь Роман Петрович взглянул с удивлением на Павла.

— Не понял: ты чего, малец? Чего это? Типа, ты его укротил?

Павел поплелся к будке охраны.

— Вам лучше к нему сейчас не подходить, не злить. У него и так крышу сносит. Не видите разве?

— Но я же его вырастил, я же его с малолетства... Нет, ты как это, малец? Тебя он слушается, а меня нет?

— Не знаю, — Павел безразлично пожал плечами. — Он зверь, выбирает сам.

— Ну ты даешь.

Роман Петрович, поникнув, побрел в сторону конторы. Несколько раз, озадаченный, оборачивался, что-то бормотал; обратно из конторы шел онемевший, но уже без злобы в глазах, скорее с недоумением: как так, родной пес больше не считает его своим хозяином! Так и уехал не солоно хлебавши.

Признаться честно, Павлу и самому было невдомек, почему Лапиф из всех вокруг для общения выбрал именно его. Павел льстил себе: скорее всего оттого, что Лапиф и он чем-то похожи, в чем-то близки: оба брошены отцами (в случае с Лапифом — хозяином), оба изгой, оба живут как в клетке (Лапиф — натурально, он — образно говоря); оба озлоблены на мир (Лапиф не скажет, а Павел так уж точно), оба не сложились (ну разве участь Лапифа на старости лет подышать оставленным хозяином, в мерзком вольере, а Павла — быть тупым охранником?). Но факт остается фактом: Лапиф теперь подчинялся только ему, только он один мог его как успокоить, так и с полуоборота завести. И вот как-то настал день, когда Павел выпустил Лапифа из клетки, не боясь, что тот на него набросится. А хоть и набросится!

— Пойдем со мной, — сказал он ему. — Осмотрим территорию.

Это был вечер его смены; дворняги ночевали на других базах, а две оставшиеся шавки забились в свои будки (Иван Егорыч в свое время слепил их у склада) и не показывались, поэтому Лапифу и не надо было лаять и рычать, он мирно брел рядом с Павлом, краем уха прислушивался к его болтовне и звукам вокруг и скидывался только, ко-

гда что-нибудь шуршало или скрипело на краю базы, где был свален металлолом и остовы разбитых автомобилей.

Павел сам с интересом вглядывался в недра железного свала и изредка бросал приятелю:

— Лапиф, ну-ка погляди.

И пес трусил покорно, шарил глазами пристально, втягивал носом воздух, лаял отрывисто, если чуял что-то подозрительное, пусть хоть кошка там шуршала, хоть крыса.

С каждым днем Павел все больше был доволен Лапифом, и тот отвечал взаимностью. Павел не стремился стать его хозяином, но стал, как ему показалось, другом. Близким другом. А это дорогого стоило.

6

Разбросав грязный снег у воротины и за ней на дорогу (обещали до девяти тепла), Павел вернулся в будку охраны и, решив попить чаю, включил электрический чайник, скинул с себя телогрейку и сел возле стола передохнуть.

Отец. Павел снова и снова мысленно возвращался к нему. Что осталось в его памяти об отце? Яркие, светлые моменты не всплывали точно. Но ведь их не могло не быть! Наверняка, он вспомнит о таких, если поднатужится. Но вот так сразу на ум ничего не приходило, только туман да мрак серого мутного дня, почти такого же, как сегодня перед рассветом, без солнца. Но, может, он надумывает?

Чайник щелкнул, огонек на его выключателе погас. Павел поднялся, снял чайник с подставки, налил в чашку кипяченой воды, опустил в нее пакетик с чаем.

Интересно, узнает ли он отца при встрече, ведь, по сути, от него сохранилась только одна фотография — девять на двенадцать, — на которую он случайно наткнулся в одном из семейных альбомов?

Изредка Павел доставал ее и долго рассматривал, стоя перед зеркалом и сравнивая себя, подрастающего, с отцом на фото, с каждым разом находя все больше и больше сходства в разрезе глаз, форме носа, оттопыренности ушей, заостренности подбородка. Даже улыбка его и та казалась отцовской: слегка ироничной, насмешливой...

Сказать, что он сравнивал себя с отцом часто, было бы не совсем верно. Последний раз он извлекал на свет фото отца года четыре назад, может, чуть раньше — он уже не помнил в точности, но определенно до армии. А впервые сравнил еще при жизни матери, когда в очередной раз баба Люся отчитывала его в какой-то провинности и вскользь обронила, мол, она с каждым днем убеждается, что Пашка все

более становится похожим на своего лоботряса-отца. В чём, хотелось бы спросить бабушку? И почему лоботряса? Но разве он смел тогда вмешиваться в разговоры старших, тем более, вслед за этим услышал раздраженный ответ матери: «Ты снова за свое, мама, сколько можно! Когда уже прекратишь? Надоело!» Но бабушкина фраза про его сходство с отцом толкнула его к семейному альбому и единственной сохранившейся фотографии отца. Может, их было и больше, наверняка должно было быть. И где он, и где они вдвоем, втроем с мамой, — как же без этого, они ведь прожили столько лет! Но почему-то осталась одна единственная карточка. Смешалась с другими, которым не нашлось места на альбомной странице, или была нарочно запихнута в пачку, которую редко когда извлекают на свет, в пачку, засунутую в давно пожелтевший, закрытый, законсервированный конверт, который нужно было забыть. А остальные, где также был запечатлен отец? Изорваны в клочья в порыве гнева матерью или нарочно выброшены на помойку бабой Люсей, когда они с Павлом вернулись к ней? — неизвестно. Да суть, может быть, и не в этом, хотя и прояснило бы кой-какие отношения матери с отцом или бабушки с зятем. Но Павлу тогда еще не приходило в голову это выяснять, он просто вытаскивал из альбома сохранившуюся фотографию отца, глядел на нее, потом на себя в зеркале и соглашался с бабушкой лишь в одном: с годами он на самом деле чертами все более становился похож на родителя. Однако как же иначе, если человек на снимке был его настоящим, генетическим отцом?

Раздался низкий гуд. Павел оторвался от размышлений, выглянул в окно. Внизу у ворот черным глянцем блестела «бэха» начальника охраны.

Павел нажал кнопку пульта, открыл большую воротину. Чего ему еще нужно? Всех же разогнали...

Поднялся, вышел из будки, спустился по ступеням вниз.

— Приветствую, Петрович, — сказал, со ступенек заглядывая в открытый багажник автомобиля начальника охраны.

— Здорово! Давай подмогни малёхо.

Роман Петрович уже вытащил одну бухту с многожильным проводом в упаковке, передал ее Павлу.

— Батя все-таки услышал мои просьбы, выделил денег на аппаратуру. Тащи наверх, найди там где-нибудь место.

Павел подхватил небольшую бухту в полиэтиленовой упаковке и поднялся в будку охраны. Бросив ее под стол, вернулся за следующей. Петрович выуживал из багажника картонные коробки с оборудованием.

— Это тоже наверх. У тебя всё нормально?

— Нормально.

— Тогда, значит, расклад такой, — выдохнул мощной грудью Петрович. — За всё это отвечаешь головой, а завтра я приеду со спецами, кинем, как и говорил, дополнительно по территории камеры. Если б не чертовый ковид, не видали бы мы этого добра. Спецы будут работать несколько дней, список их я тебе дам, откроешь им подсобку возле раздевалки. Работать будут с утра до восьми вечера, тянуть нечего. Тебя кто меняет? Михаил? Почему Михаил? А Егорыч где? Опять на капельнице? Ну, хмырь! Ладно, разберусь с ним позже. Вы как решили? Два по два? Добро, тут все равно всё закупорено. Но ты смотри, если что, звони мне сразу. Хоть днем, хоть ночью. Даже если камеры стоять будут. Третьего дня неподалеку очистили один склад, сторожа связали. Слава богу, тому хватило ума не брыкаться. Ты и сам, смотри, не дуркуй, неизвестно на кого нарвешься. Но мы с ребятами подьем по первому звонку. Не думал на ночь Лапифа выпускать? Может, цепь ему длинную купить?

— Да нет, разберемся.

— Ну, добро. Давай тогда до завтра.

Роман Петрович закрыл багажник, сел за руль, сдал назад, за территорией развернулся, выжал газ. Павел закрыл воротину, поднял наверх оставшиеся коробки и снова включил чайник.

Всплыло, как в первый день его дежурства Роман Петрович приехал на него посмотреть. И хотя Егорыч за него поручился, Петрович предпочел лично переговорить с новым сотрудником. Однако Павел, предупрежденный соседом, страха перед этой грудой мышц и каменной физиономией, буравящей его насквозь, совсем не испытал. С чего он должен был его бояться? Оттого, что тот, будучи начальником охраны, связан с криминальным миром? Так у нас это сплошь и всюду. Рома Харя... Да пусть он хоть десять раз сидел, Павел ему ничего не должен и тянуть из фирмы ничего не собирается — это его меньше всего интересовало, поэтому даже на самые каверзные вопросы Павел отвечал не принужденно и расслабленно.

Петрович, как показалось, уехал от него вполне удовлетворенный. «Ладно, — сказал, спустившись вниз, Егорычу, — пусть пацан пока работает, а там глянем». Что он еще мог сказать? Только Павлу было все равно, что тот о нем подумает, — не взяли бы его на работу, ну и черт с ней, с этой работой, нашел бы себе другую, терять ему особо было нечего, он давно уже плыл по течению, особо не заморачиваясь. И вот прошло уже полгода, как он здесь, а оглянуться — будто один день...

Ночь Павел провел спокойно, воспоминания об отце больше не тревожили, а утром снова появился Роман Петрович, теперь уже с установщиками видеокамер, и дело завертелось. Павел только бродил по территории руки в брюки и смотрел, где вешались камеры. После их установки не останется, наверное, ни метра неохваченной наблюдением площади, заскулят тогда, выйдя на работу, монтажники: уж теперь ни через забор ничего не перекинешь, ни под забором не протащишь. Но им, охранникам, дополнительные камеры только впрок: на мониторе охраны будет просматриваться весь периметр, а это значит, меньше придется ходить, особенно в проливной дождь или жуткие морозы.

Второй день дежурства из-за установок видеокамер пролетел как один миг, Павел был даже рад этому — ему не терпелось встретиться с отцом и его новой семьей. Может, все-таки она станет и его семьей тоже. Хотелось бы в это верить.

7

На удивление, на следующее утро Миха явился на работу вовремя, но Павел не стал при пересменке, как обычно, задерживаться и точить с ним лясы — фирма все равно не работала, все помещения были под замком и опечатаны, никаких фур не ожидалось.

— Собак я с утра кормил, сухого корма для Лапифа хватит дня на три, а там Петрович еще подвезет, — почти на одном дыхании выпалил он. — Вчера устанавливали дополнительные камеры, может, сегодня тоже приедут налаживать, но с ними будет сам Петрович, он тебе обо всем и расскажет. Короче, я побежал.

Миха ослабил свои буро-желтые от табака шербатые зубы:

— Свиданка, что ли, наклевывается?

— Да есть дела. — Павел не особо хотел вдаваться в подробности. — Пока!

Миха проводил его до калитки.

— Давай, давай! — бросил вдогонку. — Оторвись там по полной.

Павел не стал оборачиваться, прибавил только шагу.

Почву слегка прихватило. Кое-где на прогалинах блестела изморозь, слегка пощипывало нос, но, слава богу, было не зябко.

Павел еще вчера решил: отдохнет немного, пообедает, а там рванет к отцу. На маршрутке, если нет пробок, минут двадцать ходу. И Павел надеялся, что долго у отца не задержится, — не хотелось быть обузой ему и его семье. Он вообще никому не хотел быть обузой в жизни, никого не хотел обременять. Взять хотя бы эту ситуацию: отец сам позвонил, сам предложил встретиться, Павел ему не навязывался, пони-

мая, что у отца своя семья и он будет в ней лишним, поэтому, решил, заберет только обещанные фото и исчезнет из его жизни на неопределенный срок вместе со своими воспоминаниями. Так, наверное, будет правильно, так будет, наверное, лучше всего. Да он и сам привык жить сам по себе, даже баба Люся давно его не теребила, предоставляя жизни самой расставить все по своим местам. Пыталась она как-то после смерти матери учить Павла уму-разуму, но быстро поняла, что бесполезно: ему в одно ухо влетало, из другого вылетало. Он вроде бы и соглашался с ней, кивая, но выходил из комнаты и тут же забывал обо всех наставлениях. «Хоть кол на голове теши!» — возмущалась поначалу баба Люся, но потом махнула на внука рукой: горбатого только могила исправит. Павел жил своей жизнью, неторопливой, несуетной, будто плыл по вялому течению реки, не удосуживаясь даже повернуть головы. Несет тебя река и несет, — что еще безмятежному человеку надо? Даже улица и армия ничуть, казалось, не изменили его характера. Он и там умудрился не попасть в водоворот, не свернуть в сторону стремнины, миновать пороги. Такая жизнь пришлась ему по душе, ничего другого больше и не хотелось. Он жил как птичка божья: о будущем не задумывался, будущее мало его беспокоило. Солнце встало, солнце зашло. За зимой всегда приходила весна, за весной лето... Так было из века в век — стоило ли что-либо менять?

— Нет, все-таки здорово, что мы нашлись. Через столько лет...

От остановки на проспекте Строителей до поворота на Хлебникова, где находился дом отца, они шли вдоль аллеи с пожарной техникой. Автолестница и гусеничные тягачи, различные пожарные установки и БТР-ы растянулись вдоль аллеи, как на параде. Павел давно не был в этом районе и столько пожарной техники в жизни не встречал. Появилось много новых машин, поэтому ему было интересно и любопытно. Вместе с тем он не хотел пропустить ни слова отца, который летел вперед как на крыльях, нисколько не обращая внимания ни на тяжелые, набухшие тучи над головой, ни на выставленные экспонаты, — он проходил мимо них каждый день, для него они были только фоном, пейзажем, таким же, как аллея с березами, осинами и остролистыми кленами вдоль тротуара, с крошечными ларьками и небольшими магазинчиками вдоль дороги.

Отец был в восторге, захлебывался волнением. Восторг его естественно передался и сыну, Павел тоже неподдельно радовался этому бытию, этой встрече.

... — И здорово, что ты объявился именно сейчас, когда я хоть как-то определился, устроился, могу тебе чем-нибудь помочь, — продолжал отец, шагая пружинящей походкой.

Павел всё впитывал и невольно сравнивал себя с родителем. Когда он куда-нибудь спешил, то шел так же пружиняще, на полусогнутых, — ясно теперь в кого. Такой же долговязый, ноги-ходули, руки почти до колен. И такой же чернявый, с длинным, с горбинкой, носом и черными выразительными глазами. Поставь рядом — не отличишь. Только у отца в волосы уже закралась седина, уголки губ сползли, глаза потускнели, а так всё то же: слегка сутулится, до лоска не выбривается, улыбается одной половиной лица...

Даже забавно, что они так детально схожи, совсем как близнецы, только разведенные во времени.

Павел шел за отцом, стараясь попасть с ним ногу, и чувство легкости во всем теле ни на секунду не покидало его. Они двигались, словно спаянные друг с другом, будто в одной упряжке, и это тоже радовало.

Было бы чудесно вот так иногда встречаться им, бродить по городу или парку, разговаривать, что-нибудь обсуждать, — разве не нашлись бы у них общие темы для бесед?

Отец, как иногда вспоминала мать, всю жизнь интересовался историей, Павлу она тоже любопытна, а в одной только истории такая уйма тем, разбираться с которыми можно хоть всю жизнь.

У Павла интерес к мировому прошлому еще не пропал, наверняка и отец к нему еще не охладел.

Павел представил, как они с отцом бредут по осеннему парку (неприменно осеннему, чтобы бабье лето и яркие — на контрасте — краски, и пьянящий запах чуть подопревшей листвы), все вокруг усыпано листьями, которые шелестят под ногами при ходьбе; деревья стоят не шелохнувшись, небо чистое до голубизны, а они с отцом обсуждают, скажем, переход Суворова через Альпы или предательство Мазепы...

Отец будто уловил ход его мыслей и снова произнес:

— Нет, так здорово! Теперь, когда мы вновь, можно сказать, обрели друг друга, нам непременно надо встречаться чаще, не находишь? — он неожиданно остановился и в упор посмотрел на сына.

«Да-да», — медным звонким колокольчиком отозвалось сердце Павла, и он улыбнулся, словно почувствовал себя ребенком рядом с большим, сильным отцом, который всегда подскажет, поможет, защитит.

— Вот закончится вся эта белиберда с ковидом и Донбассом...

Отец пошел дальше.

— Кстати, как ты себя чувствуешь в этих условиях? В смысле, в сложившихся обстоятельствах, в эпицентре обострившейся пандемии?

Павел пожал плечами:

— Не знаю, не задумывался как-то. Наверное, нормально: меня никто не беспокоит, на работу я хожу, деньги перечисляют...

— А я вот не понимаю. Как можно при таких ограничениях и запретах чувствовать себя нормально? Ты не можешь выйти из дома, не опасаясь подхватить какую-нибудь заразу, тебя дергают на улице, в общественных местах без маски штрафуют без зазрения совести; ты не можешь покинуть пределы области, а если выбрался, — не факт, что пустят обратно, оставят на карантине, а кончится отпуск, легко можешь потерять работу. Масса всяческих нюансов!

Павел пожал плечами:

— Может быть, но от меня все это так далеко: я никуда практически не езжу, на работу добираюсь дворами-помойками, со мной книги, работает интернет. Я не отрезан от мира, да и потерял не так чтобы много, больше, наверное, приобрел: некоторый комфорт, безмятежность... Я, может быть, только сейчас начинаю жить.

— Ты прям философ. Хорошо, когда так себя чувствуешь. А я вот никак не подстроюсь. Может, потом попривыкну. Хотя все это не по мне. Не знаю, — как-то сник отец, но потом снова засиял: — А вот и наша пятиэтажка. Не эта, где магазин, а следующая, в прямоугольниках. Мы живем на втором этаже, но окна выходят на обе стороны.

Это хорошо, подумал Павел. Значит, их пока не видно и еще немного они побудут вместе, пусть даже и поднялся сильный ветер и стало слегка моросить. Все-таки там, впереди, за бетонными стенами их встретит совершенно незнакомый Павлу человек — жена отца, будет ли ему легко с ней так же, как сейчас с отцом? Ему бы проще, наверное, несмотря на непогоду, еще квартал прошагать с родной душой, чем оказаться на пороге неизвестности.

Но вот и пришли. Кодовый замок в подъезде оказался сломан, отец выругался:

— Который раз ломают черти. Никакого сладу с ними нет.

Поднялись на второй этаж, отец замер на секунду у двери.

— Ну что, готов? Познакомишься наконец со своей новой семьей, увидишь сестру.

Он нажал кнопку звонка, из-за двери донеслась мелодичная трель. Сердце Павла напомнило о себе, но он не понимал, почему так разволновался, как будто ему предстояла встреча с близкими, давно не виденными людьми. Нынешнюю жену отца (как-то не ассоциировалась

она у него с мачехой) Павел совсем не знал, а сестра... Сестра только понятием определялась родной, в его душе места для нее еще не находилось.

— А вот и мы, — громко сказал Коломольцев, переступая порог квартиры. — Заходи, заходи, не стесняйся, — засуетился он, взмахнул длинной рукой, закруглил ее, втягивая Павла в образовавшуюся воронку. — Проходи, проходи, я закрою.

Отец подтолкнул сына в прихожую, щелкнул замком.

— Ну вот, — обернулся к выглянувшей жене, — знакомьтесь: это Паша, мой сын. А это Лера, моя жена. Прошу, как говорится, любить и жаловать, — блеснул он неестественно белозубым ртом. — А где Даша? Дашенька, Дашуня, лапочка моя, подь, родная сюда, познакомься со своим старшим братом!

Павел нерешительно замер у порога, вскользь глянул на Леру и тут же отвел взгляд, смутившись, — на вид ей было не больше тридцати, а может, и того меньше.

К слову сказать, Павел никогда не задумывался, какая новая жена у отца, должно быть, не моложе матери, но увидеть еще достаточно молодую женщину, почти его возраста, было для него несколько неожиданно. Но Лера, казалось, совсем не обратила внимания на эту разницу и сразу повела себя с ним, как ровесница отца, мать. Она улыбнулась:

— Ну, разуйайся, не стесняйся, проходи, все давно стынет, — и к отцу: — Дорогой, несущ картошку.

— Да погоди пока с картошкой, дай пусть дети сначала познакомятся.

— Знаешь что, хватит командовать, — урезонила она мужа. — Паша, может, проголодался. Правда, Паш? А ты его сказками потчуйешь.

— Да нет, — снова смутившись, пролепетал Павел. — Я не голодный.

— Даша, Дашуня, ты где, родная? — отец снова громко крикнул дочь. — Поди познакомься с братом!

Из боковой комнаты вышла невысокая веснушчатая девочка лет восьми в фланелевом бледно-фиолетовом платье. Глянув на Павла так же, как он перед этим на Леру — вскользь, — она потупилась.

— Ну, пошли, дорогой на кухню, не будем детям мешать, сами разберутся, — Лера подтолкнула мужа на кухню. Коломольцев, перехватив растерянный взгляд сына, бросил:

— Знакомьтесь, знакомьтесь, что же вы.

Павел окинул девочку с головы до тонких ног. «Сестра», — возникло у него. Больше ничего не приходило — затмевало вскользь брошенное Лерой «детям», — какой я ей, к чертям собачьим, ребенок, она на самом деле видит во мне ребенка?

Даша продолжала изучать разноцветные квадраты плитки на полу.

— Я Павел, Паша, — наконец сказал он неловко. — А ты Даша?

Даша, не поднимая головы, кивнула.

Павел не знал больше, что сказать.

— Ну, здравствуй, — выдавил спустя несколько секунд.

— Здрасьте, — сказала Даша.

— Ну что, познакомились? Замечательно, — с тарелкой парящей картошки вышел из кухни отец. — Тогда двигаемся мало-помалу к столу и продолжаем знакомство.

Вышедшая за ним Лера поддержала его:

— Ну, молодежь, чего застыли? Все готово. Даша, будь умницей, проводи своего брата в ванную, покажи, где помыть руки, и вымой потом сама, глянь, даже на запястьях осталась краска, а потом без задержек за стол, пока ничего не остыло.

Она скрылась вслед за мужем в гостиной. Даша прошла вперед по направлению к кухне. Ванная комната — с левой стороны. Даша открыла ее, включила свет. Павел пустил воду, взял в руки мыло.

— Правая — горячая, — подсказала Даша.

— Да ничего, я так, — сказал Павел.

— Можешь вытереться этим, — Даша показала на висящее слева на крючке небольшое махровое полотенце.

— Хорошо, — сказал Павел и подумал: «Еще одна командирша. Они тут все такие?»

— Пойдем? — спросил, когда Даша тоже вымыла и вытерла руки. Даша кивнула.

Он пока еще не понял, на кого она похожа, да и присматриваться совсем не было времени.

В гостиной накрыли на журнальном столике возле углового дивана, меньшая часть которого приютилась прямо под окном, выходящем на застекленный балкон. Даша села за один стол со всеми. Павла снова резануло. Из прошлого, будто со сквозняком, принеслось: ему отец категорически запрещал делать это, а если он ненароком забывался, выдергивал из-за стола, где сидели гости, и силой выталкивал, рыдающего, в другую комнату: «Нечего тебе делать за столом со взрослыми!» Несомненно, тот человек и этот были одним и тем же лицом, но, мо-

жет, со временем в характере отца что-то поменялось в лучшую сторону и он уже не так придирчив к детям, как раньше?

Последняя мысль, однако, не прибавила Павлу настроения. В противоположном углу комнаты осьминожьими щупальцами в разные стороны стало расплзаться чернильное пятно, Павел сник, что не укрылось от взгляда Леры.

— Паша, ты что приуныл? Давай я наложу тебе картошки.

— Дорогая, учитывай, что Павел только утром вернулся с работы, — сказал отец. — Вряд ли он нормально отдохнул. Правда, сын?

Павел кивнул и протянул мачехе свою тарелку.

На столе особых изысканностей не наблюдалось, — Лера, надо сказать, не больно любила возиться на кухне, предпочитая купить готовое и не особо заморачиваться. Иногда, правда, могла отваритьпельменей или сварить какой-нибудь каши. Раз в две-три недели, по просьбе мужа, жарила картошку, — и то, если он ее начистит. Сегодня она натюшила картошки с мясом. Салаты — один морской, другой, традиционный для гостей — оливье — приобрела в кулинарии. Небольшой торт к чаю и фрукты купил накануне глава семейства. Стол был сервирован серебром, но скорее всего только ради его визита.

— Да, не удивляйся (словно прочитал его мысли отец), так получилось, что недавно Лера заглянула в антикварный и наткнулась на набор старинных серебряных приборов, — как же их не опробовать по такому случаю? Кстати, канделябр, который над нами, я увидел в том же антикварном. Знаешь, на склоне лет как-то начинает тянуть к изысканному, — с каким-то одушевлением вымолвил отец. — И еще я думаю, по этому поводу, если не возражаешь, мы откроем настоящее французское вино. Я даже пыль с бутылки не стирал, чтобы не походило на современное, пусть будет, как в настоящих винных погребах. Я приобрел его с оказией, когда был на одном из европейских симпозиумов.

Лера повернула к мужу голову:

— Ты же говорил, дорогой, что тебе его подарили? Вряд ли бы твоих командировочных хватило на такое вино.

— Ну да, я хотел сказать, что подарили, французские коллеги, но сути это не меняет, — улыбнулся отец. — Но — чего говорить, давайте наконец попробуем, посмакуем, — стал откупоривать он бутылку. — Настоящее бордо, — произнес с пафосом, разливая по бокалам. — Пить надо всегда натуральное вино, один раз в жизни живем. Правда, лапуля? — кинул он жене. Она улыбнулась, глаза ее залучились, выказывая одобрение, лицо просветлело. Это оторвало Павла от внезапно

налетевшего грустного воспоминания, темное пятно в углу растворилось, вернув обоям прежний вид.

Коломольцев чуть взболтал в своем бокале вино, поглядел на цвет, потом поднес бокал к ноздрям:

— Вдохни. А? Чувствуешь аромат? Вначале надо обязательно ощутить аромат, потом только пробовать.

Пригубил.

— Эх, — песня! Пробуй. Как тебе? — не отрывая взгляда от лица сына, ждал его реакции Коломольцев.

Павел тоже пригубил.

— Ну как? Чувствуешь аромат густых виноградников Бургундии?

Бургундии Павел не почувствовал, да и вино показалось ему слегка кисловатым, он больше любил полусладкие вина. Впрочем, гурманом винных напитков он себя никогда не считал, а может, чего-то недопонимал.

— Винопитие — это, я скажу тебе, брат, настоящее искусство. Ин вино веритас — истина в вине, как говорил великий Вергилий.

«Не Плиний ли Старший?» — мелькнуло у Павла, но он не стал поправлять воодушевленного родителя — «Почитай отца твоего...»

— Теперь выпьем, дорогие мои, за прекрасный наш союз!

Чокнулись, Павел и Лера пригубили, отец выпил полностью, жадно набросился на еду, в процессе трапезы и поглощения вина не забывая задавать Павлу вопросы: чем тот занимается, как работает, учится ли, чем увлекается в свободное время. При этом каждый свой вопрос между очередными возлияниями отец назидательно, как показалось Павлу, заканчивал какой-нибудь сентенцией:

— «Ничто в жизни не достается без большого труда».

— «Учиться никогда не поздно».

— «Досуг — время формирования себя, ему надо посвящать большую часть своей жизни, возвращать себя духовно».

— Ладно тебе, Андрей, — притормаживала его Лера. — Павел достаточно взрослый молодой человек, сам, наверное, давно разобрался, что ему важно, а что нет.

Павел вздрогнул — теперь он для нее уже взрослый.

— Ну, тут ты, дорогая, не совсем права, — Коломольцев оторвался от еды. — Молодежь надо наставлять, направлять и воспитывать, а то ее знаешь, куда может занести!

— Куда же тебя занесло, дорогой, в его возрасте? — заметила с усмешкой Лера. — И кто тебя воспитывал, если ты вообще отца не знал?

Павел вслед за Лерой тоже вопросительно посмотрел на отца. Тот слегка тряхнул головой, но нашелся быстро:

— Ну, знаешь. К вашему сведению, я воспитывал себя сам! Са-ам!

Этим бы ответом все и удовлетворились, но Коломольцев неожиданно бросил вилку на стол и отвернулся от Леры. Даша вздрогнула. Павел перевел взгляд на нее. Что-то знакомое промелькнуло в ее испуганных чертах лица, до боли знакомое.

— Дорогой, ты пугаешь ребенка, — сказала Лера.

— Кто тут ребенок? — отец осоловело посмотрел сначала на Павла, потом на Дашу:

— А, Дашенька, доченька моя милая, ты прости своего дурного папку, — он немножко выпил; поди, родная, к себе, поиграй во что-нибудь или порисуй.

— Дашенька, солнышко, ты наелась? Пойди, правда, к себе. Я как сделаю чай, тебя позову, — сказала Лера.

Даша вышла. Коломольцев набрал в легкие воздуха.

— Так о чем это мы? Да, как я говорил, себя самого я сделал сам, сам добился всего, что есть, в том числе и того, что видите вокруг.

— Конечно, дорогой. Знаем, знаем, ты у нас настоящий сэлфмэйд-мэн, — ухмыльнулась Лера и с улыбкой глянула на Павла, словно искала в его лице поддержку. Павлу снова стало неловко, но теперь он почувствовал себя заговорщиком. Брут против Цезаря... Имел ли он, однако, на это право?

Павел оторвался от Леры и втупился в свое блюдо. Несмотря на предыдущее впечатление, Лера все больше и больше начинала ему нравиться. Но только ли оттого, что приняла его сторону?

Меж тем отец не успокаивался:

— Но это я к чему? А к тому, что, заметьте, у Павла есть отец (он выпятил грудь и, расплывшись в улыбке, погладил себя по груди ладонями), достаточно опытный и, без хвастовства, грамотный товарищ. Имярек, всегда готовый поделиться с ним не только своим жизненным, но и духовным опытом. Разве это не пригодится ему в дальнейшем? А, Павел, скажи!

— Наверное, — сказал Павел.

— Что значит: «наверное»? Ты что, не согласен с родным отцом?

Коломольцев сдвинул брови. Лера попыталась разрядить обстановку.

— Все он понял, дорогой, он же твой сын, как же ему тебя не понять?

— Вот-вот, — поостыл Коломольцев. — К умным советам всегда надо прислушиваться. Особенно, когда их дают умные люди. Как там у кого-то сказано? Э-э... Ага, вот: «Тот, кто не прислушивается к дружеским советам...» Не помню дословно, но, кажется, так: «сам себя накачивает».

— Ну, — поднялась Лера из-за стола, — ты еще, пожалуй, сыну не дал ни одного практического совета. Пойду поставлю чайник. Придешь разрезать торт?

— Конечно, лапуля.

Лера вышла. Коломольцев взял вилку, стал ковыряться в своей тарелке.

— Черт! — резко положил ее обратно на стол. — Что-то мы с тобой куда-то не туда забрели. Ты лучше скажи, может, тебе, правда, надо чем-нибудь помочь? Деньгами там или еще чем? Дать много не дам, сам понимаешь, но хоть чего-нибудь выделить смогу.

Коломольцев поднял глаза на сына. Павел сказал:

— Не знаю, вроде, всего хватает.

— Ну, смотри.

— Но...

— Да?

— Ты по телефону говорил, что у тебя остались фото мамы и меня в детстве. Если они тебе не сильно нужны, может, отдашь мне?

— А, эти фото! Да пожалуйста, не жалко. Только можно не сейчас, ладно? Их еще найти надо. Давай, может, завтра. Я сегодня разыщу, а ты заберешь. Часиков, скажем, в пять. Ты ведь завтра, как я понял, тоже не работаешь?

— Нет.

— Вот и чудесно. А я после четырех, надеюсь, уже буду дома, что тебе надо, все приготовлю.

Коломольцев поднялся.

— Хочешь, пока заваривается чай, сходи посмотри, как живет твоя сестра. Мы ей сделали интересный интерактивный потолок с планетами и звездами. Правда, он не совсем как бы интерактивный, только называется так. На самом деле, иллюзию вращения создает крутящаяся люстра, но все равно, детям забавно. И не темно вроде, и ночное небо над головой. Пойди глянь.

Коломольцев поднялся, встал и Павел; вместе они вышли в прихожую, где Павел постучал в комнату сестры, приоткрыл дверь, спросил: «Можно?» — и скрылся за ней. Коломольцев прошел на кухню. Лера в желтых резиновых перчатках домывала тарелки.

— Ну что, пообщался с сыном? Где его оставил? — спросила, не глядя в его сторону.

— Отправил к Даше. Чай не заварился еще?

— Скоро будет готов, режь торт.

Коломольцев вытащил из холодильника торт.

— Не скажешь, что это был за концерт?

— Какой концерт?

— Который ты устроил за столом. Кому чего хотел доказать? Дашу напугал, сына едва не замучил нравоучениями.

Коломольцев, не поднимая глаз, буркнул:

— А он чего? Тупит, как в детстве. Вроде армию прошел, под два метра вымахал, а мозгов ни на грош.

— А у тебя, значит, в его возрасте была ума палата. Ты не думал, что, может, он еще в поиске. Не многого от него требуешь?

— Чего я от него требовал? Ничего не требовал! Всего лишь немного уважения, я все-таки его отец.

— Так и веди себя как отец. Что на тебя нашло?

— Не знаю. Что ты ко мне пристала? Давай уже чай пить.

— Неси торт, зови детей. И будь добр, давай, пожалуйста, больше без вспышек, ты же знаешь: терпеть не могу, — Лера стянула с рук перчатки и бросила их на столешницу. Она давно поняла: с ним нельзя по-другому. Иногда даже необходимо, не то вспыхнет пламя.

«Что же будет на старости-то лет?» — все чаще в таких случаях у Леры возникала подобная мысль. Представить было трудно, да и не хотелось.

Когда Павел вошел в комнату сестры, Даша сидела за маленьким столиком у стены и что-то рисовала цветными фломастерами на бумаге. Он посмотрел вокруг. У него в детстве отдельной комнаты не было. Не было письменного стола, не было столько игрушек, интерактивного потолка. Все уроки в начальных классах он делал на кухне, так как большую комнату в деревянном доме бабы Раи, где они тогда ютились, почти целиком занимала супружеская кровать родителей, а клетушка самой бабы Раи была без окон.

Он снова взглянул на Дашу. Все еще не верилось, что у него есть сестра, но вот она здесь, рядом.

— Что рисуешь?

— Разукрашиваю, — сказала Даша.

— Нравится?

Даша кивнула.

— Хорошо у тебя тут, — Павел подошел к окну, за окном уже темнело. — Уютно. Сколько тебе лет?

— Восемь.

«Восемь», — подумал Павел. Когда ему было восемь с небольшим, отец ушел от них. Мама так и не объяснила ему внятно, куда и почему. Потом они перебрались к бабе Люсе и началась новая жизнь, без отца, в которой Павел был больше предоставлен сам себе. Сам должен был искать себе занятие, сам играть, взрослеть, разбираться с вопросами бытия. Отец, может, в чем-то бы помог, подсказал, но он их бросил. Этих, наверное, не бросит. По крайней мере, дочку, да и жену, кажется, любит. По-настоящему. Хочется верить...

После торта Павлу стало уже малоинтересно, да и отец, сославшись на подготовку к завтрашней лекции, поспешил скрыться в своем кабинете — ушел, можно сказать, по-английски.

Павел, почувствовав себя не в своей тарелке, вслед за отцом поднялся из-за стола и сказал Лере:

— Я тоже, наверное, пойду.

— Как хочешь, — сказала Лера и улыбнулась.

— До свиданья, — только и сказал напоследок Павел.

— Всего хорошего, — сказала Лера, но Павел так и не понял, с каким чувством: искренности или безразличия.

До остановки Павел добрался незаметно как. На остановке ни души. Отец сказал, маршрутки ходят долго. До полуночи точно. Значит, он уедет наверняка. Выйти только на свет, а то его не заметят, пронесутся мимо. Так хоть притормозят, подберут.

Павел поискал глазами отцовские окна. На эту сторону должны выходить комната Даши и спальня, преобразованная в кабинет отца. Но почему-то нигде нет света. Может, все снова собрались в гостиной, только уже без него? А отец говорил — у него важная лекция, надо все основательно продумать. Лгал или не лгал? Мутно как-то всё. Противно.

Павел уже немного пожалел, что согласился на ужин в семье отца. Он приехал к ним, но частью новой семьи совсем не стал. *Новой* семьи? Почему новой? Его мать с отцом прожили вместе от силы лет десять. Мать Павла уверяла, что семь или восемь, бабушка Люся отрицала. При упоминании матери об отце (особенно, когда выпьют вдвоем) вспыхивала гневно: «Никогда у тебя по-настоящему мужа-то и не было, ты просто нагуляла сына, по глупости своей, по недомыслию»... *Нагу-*

ляля! Бросала, как припечатывала. Но матери ли родной не знать всего?

Павел побоялся спросить про это у отца, неловко было в присутствии его нынешней жены, по сути, чужого для него человека. Может, поэтому и особого комфорта не испытал. На мгновение возникло даже ощущение, что все были как бы сами по себе, хоть и под одной крышей, не живые какие-то, трафаретные. От этого и атмосфера образовалась удушливая, неуютная. Или так ему только показалось?

Маршрутки все не было. Сколько он уже стоит? Ветра́ здесь не подарок. Озноб пробрался до спины.

Павел стал размахивать руками, ходить от одного края остановки к другому.

До дома далековато, пешком уж точно не дойдешь. Махнуть пару кварталов по диагонали — будет поближе, и там ходят троллейбусы, но как всегда: сорвешься — тут же пролетит маршрутка; тоже — журавль в небе.

Отец говорил, пятнадцать-двадцать минут разрыва, однако прошло минут сорок, и хоть бы какая-нибудь колымага появилась на горизонте. Надо полагать, в этот тупиковый район маршрутки после восьми вообще не заглядывают. Да и отец, может, в такое время вряд ли куда ездит, не знает. Но от этого не легче. Ждать еще? Но сколько? Наверное, все-таки троллейбус будет вернее.

В конце концов Павел решился, скользнул в проулок и дворами-помойками семимильными шагами добрался до нужной остановки. К счастью, вовремя: на переднем стекле троллейбуса торчала выцветшая табличка «в депо», последний маршрут.

Павел поднялся в салон и бухнулся на сиденье рядом с печкой. Озноб так и не проходил. Павел сжался, закрыл глаза и попытался согреться.

8

Павел так надеялся на предстоящий день, но тот сразу как-то не задался: проспал он почти до обеда, проснулся с дикой головной болью и почти с таким же ознобом, какой испытал накануне в троллейбусе.

Была бы бабушка, что-нибудь придумала, растерла бы бараньим жиром в конце концов — у нее масса готовых рецептов на всякий день, но ее нет, неуж не нагостилась?

Приятного было мало, потому что завтра на работу, а сегодня Павел все-таки надеялся еще раз доехать к отцу, забрать фотографии.

Отец обещал их приготовить. Значит, надо подниматься, разгуливать-ся. Может, выпить чего-нибудь от простуды, для профилактики, — хуже не будет. Только, а если это не простуда, а что-то посерьезнее: грипп какой-нибудь или — Павел боялся произнести это слово вслух — ковид? Ему никак нельзя сидеть дома, тем более валяться в больнице. Нет, дурные мысли прочь, молодое тело пусть борется, нельзя сдаваться.

Павел встал, умылся. Ехать к отцу, вроде, еще рано — тот говорил, будет не раньше четырех. Павел пообедал, но ел без желания, просто потому, что надо поесть. Совсем пропал аппетит? Может, он на самом деле заболевает?

Кто-то говорил, что при ковиде теряют обоняние. Он тоже его потерял?

Павел вдохнул бабушкину герань. До чего ж вониючая! Бабушка утверждает, — полезная. Может, и так, но нюхать ее не очень приятно, даже противно. Но раз противно, значит, запахи он все-таки чувствует и никакого ковида у него нет, — обычная простуда, а это не так уж и страшно, — пилюлю парацетамола на ночь, и утром как огурчик.

Почти всю дорогу к отцу Павел анализировал, что ему не понравилось у него вчера, почему он уехал не в настроении — не в фотографиях же дело? Вроде и отец искренне радовался вначале, и жена его Лера была достаточно любезна. Даша только сидела какая-то зажатая, понурая, как будто отец ее, как его в детстве, укладывая на ночь, пугал бабаями или цыганами. Мог ли он помнить это в три или четыре года? В пять лет? Но, помнит, если мама была чем-то занята, укладывал в полутемной комнате отец, страшая: «Спи, а то придет бабай и утащит тебя!» или «Быстро не заснешь, позову черных цыган с железными зубами, и они заберут тебя к себе». Это было, как Павел теперь понимает, его обожаемое «спокойной ночи». Неужели баба Рая его самого так укладывала в детстве? Вряд ли — Павел хорошо знал бабушку Раю, она была совсем другой, во многом добрее отца. Откуда тогда тот такого набрался? Но додумать Павлу не дали: маршрутку остановили за два квартала от дома отца. Проверяющие осмотрели салон и попросили его и еще одну женщину надеть маски. Женщина покопалась в своей сумке и живо, с испугом, натянула на лицо защитный лоскут. У Павла маски с собой не оказалось, — зачем, он же не болеет!

Павел даже усмехнулся и глазами поискал среди пассажиров поддержки, но никто его не поддержал, даже, кажется, отгородились от

него невидимой стеной, и тогда Павла заставили выйти, не то маршрутка дальше не пойдет.

Сопровождающий группу проверяющих полицейский втиснулся в салон и, крепко вцепившись в плечо, почти выволок Павла наружу, потом подтолкнул вперед.

— Иди, иди и сильно не бузи, — бросил, — не то в отделение загремишь.

До самого дома отца Павел шел как заведенный. Раздражало не столько то, что высадили из маршрутки, раздражали стыд и бессилие — он ничего не мог ни доказать, ни сделать: высадившие его — правы они или не правы — были защищены буквой закона, закона, как считали многие из его друзей и знакомых, сфабрикованного впопыхах, а может даже, и не закона, а какого-то постановления, указа, распоряжения, государственного либо местечкового, о котором большинство обычных граждан и не ведает, но который все должны неукоснительно исполнять.

«Незнание закона...» — как удобно властям удачно найденным шаблоном прикрывать собственное всевластие и беззаконие (народ для власти, а не власть для народа), а бездушным фискалам проявлять гибкость: есть буква — ее надо исполнить, да еще и выполнить план, а лучше перевыполнить — перестраховаться.

«Скажи спасибо, что тебя еще не оштрафовали», — полетело вдогонку Павлу в спину. А ведь наверняка могли бы. Им теперь всё позволено. Теперь? Или всегда на Руси власть имущим было всё позволено? Сами себе позволили, когда к власти пришли. Всё под себя и «вас и не спросили»...

«Черт, черт, черт!» — чертыхался всю оставшуюся дорогу Павел и никак не мог успокоиться.

Домофон в подъезде отца так и не починили, Павел в доли секунды взлетел на второй этаж, позвонил в дверь знакомой квартиры.

— А, это ты, заходи, — Коломольцев пропустил Павла вперед, закрыл за ним. — Друзья, прошу любить и жаловать — мой сын от Тамары, — представил Павла товарищам отец.

Павел остановился на пороге кухни. Кухня — большой семье не развернуться, но друзья отца — один круглолицый, широкоплечий, отчего-то в синей майке, другой — худощавый, но жилистый, в байковой рубаше в клеточку — смогли воткнуться в угол, чуть выдвинув небольшой кухонный столик ближе к середине. Перед ними возвышалась почти наполовину опорожненная поллитровка «Шуйской», стояла раскупо-

ренная консервная банка бычков в томате, развалом на бумаге розовело, как на полотне импрессиониста, нарезанное кусками сало, тут же — дешевая варенка, черный хлеб; на тарелках — недоеденные жареные яйца — нехитрая закуска чисто мужской компании.

Павлу стало неловко — он не ожидал увидеть у отца посторонних.

— Не стесняйся, проходи, — сказал круглолицый, окинув Павла оценивающим взглядом. Очевидно, среди них он считался признанным авторитетом. — Андрюха, яйца у тебя еще остались? Сварганишь и сыну по-быстрому?

— Есть еще, — откликнулся Коломольцев.

— Да нет, не надо, я ел, — смутился Павел пуще прежнего.

— Какой он у тебя скромный, — круглолицый все не сводил с Павла своих прищуренных глаз. — Как звать?

— Павел.

— Э-ка! Святой, не иначе. Чем занимаешься, Павел? Новую церковь создаешь? — вдруг захохотал круглолицый, и все остальные рассмеялись вместе с ним.

На сковороде зашипели яйца.

— Никакой церкви я не создаю. Сторожу. В частной фирме.

— Ну, про церковь я пошутил, не обижайся, — остепенился круглолицый. — А почему не учишься? Батя у тебя уже кандидат, а ты всё сторожишь.

— Да он сам не захотел, — ответил за Павла отец.

— Самостоятельный значит, независимый? Это хорошо. Давай тогда к нам, — тут все самостоятельные и независимые.

— Насколько позволительно, — брякнул худощавый.

— Да ладно, — снова усмехнулся круглолицый и стал разливать по стопкам водку. — Андрюха, еще одну поставишь?

— Да нет, я не буду, — покачал головой Павел.

— С чего же?

— Да он не пьет. Не тянет, говорит, — опять сказал за него отец.

«Он так все время будет за меня отвечать?» — Павел недовольно посмотрел на отца.

— Мы тоже не пьем. Гляди, — тут и пить нечего. Но — хозяин-барин. Не настаиваем, — мы люди понятливые, демократичные. Федор Васильевич, — круглолицый толкнул соседа, — хватит клевать носом!

— Я с вами, — встряхнулся худощавый и улыбнулся.

— Пьем.

Коломольцев поставил перед сыном тарелку с яичницей.

— Бери, что глянется.

Павел кивнул. Троица выпила.

— Так о чем это я? — произнес Коломольцев, отдышавшись после глотка и закусив наскоро. Очевидно, Павел своим появлением прервал какой-то важный их разговор.

— Ты говорил про ковидный госпиталь, что деньги на его постройку давно кончились.

— Да, испарились, как всё, что у нас целенаправленно выделяется.

Павел стал ковырять вилкой в своей тарелке — не хотелось прерывать отца, но и есть не больно хотелось. Да, собственно говоря, он и не за этим приехал, не было никакого желания слушать байки подвыпивших. Только как теперь спросить насчет обещанного? Отец совсем не обращает на него внимания.

— И главное, заикнуться об этом теперь нельзя. Официально запрещено охаивать власть. А чё ее охаивать? Она сама себя охаивает. Сама себя позорит. Но с нее как с гуся вода. И что интересно — парадокс: держится эта власть ни на чем, никто ничего нынче не поднимает на знамя. Мы живем в безыдейном мире, плывем по каналу, прорытому для нас власть предержащими и даже не пытаемся из него выбраться и голову поднять.

— Ты всё чему-то удивляешься? — сказал Федор Васильевич. — У нас давно многое под запретом. Нельзя то, нельзя это, об этом не говори, того не тронь. Штрафы, дамоклов меч правосудия. Не знаешь даже, за что тебя могут арестовать, стоит только рот раскрыть или косо посмотреть в сторону власть предержащих. Страх подспудно проник до кишок, а потому все и обозлились дальше некуда. Жизнь дорожает, верхи врут, человек обесценивается. Бомжей боярышником вытравили, взяли теперь за нас, простых смертных — ковид ввели. Мы им тоже, что кость в горле: взятки с нас гладки, взять нечего, а кормить надо, чтобы не дай бог, за рогатины не взяли. Вон как предыдущий губер: только пришел, собрал прессу и выдал без всяких обиняков: писать будете только то, что будет вам позволено. Сказано — сделано. Где сегодня альтернативные издания? Что-то ни одного не наблюдаю. Одни суды да пересмотры. Один ляпнул не то, другой не на того тень навел. Да удручает уже одно то, что мы, как наши отцы и деды, обсуждаем насущные проблемы снова на кухне, вы не заметили? И лишний раз убеждаешься, что прав был классик, сказав:

*Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете,
К чему глубокие познания, жажда славы,*

*Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?*

— Не преувеличивай, — замахал указательным пальцем круглолицый. — Есть и те, кто до сих пор высказывается свободно.

— Может, где-то в Москве, Питере или Екатеринбурге, допускаю, такие уникалы и есть, а у нас в провинции давно перевелись. Их выморили, как тараканов. Да и кому захочется судиться с чиновником? Чиновник — человек государственный, значит, и судиться ты будешь, собственно говоря, с государством. Потянешь? Сомневаюсь что-то.

— Да с ними не судиться надо, с этими чинушами, их давно всех перестрелять надо. Или на Донбасс отправить. Сколько кровушки людской попили и до сих пор пьют вампиры хреновы. Не напились вдоль, — рявкнул Коломольцев.

— Вот ты опять, дуралей, в крайности лезешь, все у тебя не так, все вокруг казнокрады, кровопийцы и взяточники, честных государственных служащих ты в упор не видишь.

— Ты про себя, что ли, Сергей Валентинович? Ты, что ли, честный служащий? — набычился Коломольцев. — А собственную тещу в отдел кадров одного из Департаментов кто пристроил? А зятя? В каком кресле он у тебя теперь сидит? Не попахивают ли ваши деяния на посту, милый батенька, коррупцией — а?

— Ну, понеслось! Попридержи коней! Сам-то ты, не устроил бы родню, будь у тебя такие связи и возможности? В наше время ...

— Я из другого теста. Вот и сын мой пробивает себе дорогу в жизни сам, я и подсказать ничего не смею. И не буду, потому что тоже так начинал, — был помладше его, но пробился. Без поддержки отца, матери, тестя или тещи. И он пробивается. И наверняка пробьется. Уважаю.

— Да, может, ему одного твоего уважения мало, может, ему по-серьезнее помощь нужна? — встрял Федор Васильевич.

— Все у него есть, ничем он не обделен. Правда, сын? А теперь и я у него есть.

— Так-таки не надо? Давай у него спросим: Паша, тебе на самом деле ничего не надо? Ты где, сказал, работаешь? В частной фирме? Пешком добираться? Почти час? Пятки, значит, стираешь? Хорошо это при живом-то отце, а, батяня? Купил бы сыну мало-мальски пригодную тачку, он бы башмаки свои не разбивал каждый день. У тебя, кстати, права есть ли?

— Есть.

— Вот и чудесно.

— А что, замечательная мысль! — загорелся в свою очередь Сергей Валентинович. — Могу посодействовать — у меня есть знакомый в автосалоне, можно будет подобрать что-нибудь приемлемое и недорогое.

— Ну, это мы и сами способны решить. Без всяких там доброжелателей. Правда, сын? — выпрямился на табурете и расправил плечи Коломольцев. — Решим.

— Тогда за успех будущего предприятия! — поднял свою стопку Сергей Валентинович.

— Успех нам всегда надобен, — поддержал его Федор Васильевич.

Чокнулись. Налегли на закуску. Коломольцев глянул на сына.

— А ты чего? Ешь, не стесняйся, здесь все свои. А, ты, собственно, зачем приехал? Просто так или мы о чем-то договаривались?

— Ты обещал вчера разыскать альбом с моими детскими фотками.

— Ах да, альбом.... Ты не ошибся? Может, в какой другой день?

— Что у вас там? — вклинился Сергей Валентинович.

— Да вот, говорит, я пообещал ему альбом с детскими фотками, только где его сейчас искать, ума не приложу, с ними еще разобраться надо. Может, в какой другой раз, а? Видишь, какие у меня друзья: вздохнуть не дают, закрутили совсем.

— Но ты же обещал, — посмотрел на него Павел. — Сегодня.

— Ну, понял я, понял. Что ты мне все время об этом напоминаешь? Обещал, значит, найду. Не выводи меня почем зря. Решим этот вопрос. Только позже. Ешь лучше!

Павел побагровел. Снова словно откуда-то потянуло сквозняком и небольшое чернильное пятно, как и вчера, щупальцами спрута стало расплзаться в углу кухни. У Павла сразу потемнело в глазах. Так было как-то в его далеком детстве, и он, оказывается, до сих пор не может об этом забыть (может, и забыл бы, если бы не объявился отец). Но зачем ему это снова?

Павел открыл глаза, пришел в себя, мысленно рассеяв тьму, потом, не долго думая, подорвался, бросил: «Да не хочу я есть! Сам ешь!», выскочил из кухни, буквально впрыгнул в свои кроссовки, открыл дверь и стремглав понесся вниз, чуть не сбив на ступенях Леру и Дашу.

— Паша? — вспыхнула ошарашенная Лера. — Ты чего? — но Павла уже и след простыл.

— Вот оно — растерянное поколение, — то ли с утверждением, то ли с сожалением произнес Сергей Валентинович. — Они совсем не знают, куда себя приложить.

— Это они растерянное поколение? — хмыкнул Федор Васильевич. — Скорее, мы, как ты выразился, растерянное поколение — они-то

знают, чего хотят, а мы уже давно все желания подрастеряли, поистерпались под гнетом действительности.

— По себе не судят, дорогой, — бросил Сергей Валентинович.

Лера с Дашей поднялись в квартиру.

— Что у вас тут такое? — спросила Лера. — Ничего не понимаю.

— А вот и хозяйка, — расплылся в слащавой улыбке Сергей Валентинович. — Лерочка, Дашенька, как говорится, милости прошу к нашему шалашу.

Лера недовольно глянула на осоловелого Коломольцева.

— Что случилось? И откуда опять взялся Павел?

— Дорогая, не заводись, я всё объясню, — коверкая слова, с трудом произнес Коломольцев.

— Конечно, объяснишь. А вам не пора ли заканчивать, друзья? Давно сидите? — Лера окинула взглядом дружную компанию.

— До чего ж у тебя жена строга, Андрюха, — расплылся в слащавой улыбке Сергей Валентинович. — Лер, ну не ругайся, пожалуйста, ты же такая душка. И мужа своего не ругай, мы уже уходим, — поднялся он с табуретки. — Федор Васильевич, пошли, дорогой, на выход, — толкнул он худощавого. — Где твой пиджак?

Лера проводила Дашу в ее комнату, сама пошла в спальню и закрыла за собой дверь.

— Разбегаемся, — сказал Сергей Валентинович, натягивая на себя теплый вязаный свитер. — А насчет машины я позвоню.

— Ладно, ладно, чешите уже, — Коломольцев стал подталкивать друзей в прихожую. — Созвонимся.

9

От дома отца Павел летел как угорелый, проскочил даже остановку маршрутки, побежал частным сектором к троллейбусу — чего еще ждать: проверено. Ждал недолго, забрался в салон, приткнулся поближе к печке, в истоме прислонился к окну.

Обида жгла. Раздражало не то, как отец с ним обошелся, а то, что отец пообещал и не сделал, даже как будто забыл об обещании. Слушал ли вообще тогда его? Может, пригласил в гости, принял, выполнил таким образом свой отцовский долг, успокоился, а потом опять забудет лет на десять? Зачем тогда звал? Лучше бы не теребил и не вызывал призраков из прошлого, которые до сих пор не оставляют Павла в покое и которые он хотел бы навсегда забыть, как хоть тот давний эпизод, при воспоминании которого иногда углы в комнате превращаются в зловещее черное пятно.

В тот памятный день отец решил ему, тогда еще совсем мальцу, показать в глухой окраине парка, неподалеку от того места, где они тогда жили у бабы Раи, старинный заколоченный деревянный дом каких-то местных, из прошлого столетия, купцов. Дом постепенно разрушался, громадные сосны сплошь окружили его, густыми лапами нависли над черепичной, замшелой, провалившейся в нескольких местах, крышей, навсегда, казалось, заслонив собой солнце. Высокие травы, папоротники и дикие кустарники вплотную подступили к стенам, забили некогда ухоженные тропы.

Что побудило отца показать ему этот заброшенный дом? Поначалу, скорее всего, желание удивить маленького сына чем-то необычным, экзотическим. Какой ребенок не захочет, познавая мир, нырнуть в темный подвал, забраться на вершину самого высокого дерева в округе или проникнуть через чердак на крышу высотки, и еще многое и многое другое?

Почти в сумерках он подвел маленького Павлика к полуразрушенному дому, вскинул на одно из заколоченных широкими досками окон и произнес:

— Гляди внутрь, что ты там видишь?

— Темно.

— Да что темно! Я был внутри, когда все здесь еще было открыто, там еще интереснее, чем снаружи. Там огромная лестница на второй этаж. Видишь?

— Нет, темно.

— погоди, вон верх соседнего окна, оно, кажется, открыто, и доска не плотно прибита.

Отец опустил Павла на землю, ловко взобрался на другое окно, с силой рванул на себя верхнюю доску и, оторвав ее, откинул в сторону. Форточка здесь на самом деле была приоткрыта. Он распахнул ее полностью.

— Давай сюда, — спрыгнул вниз. — Забирайся, отсюда лучше видно, там через обрушенный потолок немного падает света.

Он схватил сына за талию, чтобы посадить на подоконник, но Павел напрягся, уперся ногами в стену дома:

— Не хочу.

— Что значит «не хочу»? Что ты за хлюпик! Ну-ка стой ровно, не гни колени, хватайся за среднюю доску! Хватайся, я сказал!

— Папа, па-а-п! — захныкал Павел. — Я боюсь.

— Чего бояться? Там никого нет, пустой дом, чего ревешь? Хватайся за доску, сказал, я подниму тебя!

— Все равно боюсь.

— Хватайся, хватит реветь, будь, наконец, уже мужчиной!

Павел одной рукой ухватился за прибитую доску, другую, с маленькой машинкой в руке, перекинул через раму.

— Гляди внутрь! Видишь лестницу на второй этаж?

— Темно, — не переставая хныкать, пробубнил Павел.

— Да что у тебя всё темно да темно!

— Пап, — еще сильнее зарыдал Павел и задрожал. — Я боюсь.

— Что ты заладил одно и то же: боюсь, боюсь... Ты уже большой мальчик, а большие мальчики не должны ничего бояться. Тем более, ты мой сын, значит, должен быть сильным и бесстрашным. Хватит ныть! Хватит, я сказал! Так ты никогда не станешь смелым, загляни внутрь. Я сказал, внутрь загляни! — гаркнул отец и надавил Павлу на шею, утопив его в фортке окна.

— Па-а-ап! — пуще прежнего заревел Павел.

— Во-от, досталось на мою голову наследство! — Коломольцев отпустил шею сына. — Давай спускайся, слазь, иди на крыльцо, — сорвал Павла с подоконника и потянул за собой.

— Пап, не надо, я не хочу! — чуть не закричал Павел, и отца словно что-то остановило. Он налился гневом, повернулся к сыну и ладонью наотмашь так шмякнул его по затылку, что у Павла аж потемнело в глазах.

— Размазня! Вали сейчас же домой. Видеть тебя не могу. Марш, кому сказал!..

Чуть позже, будучи выгнанным в другую комнату, Павел услышал, как отец недовольно бросил матери:

— Я думал, у меня растет сын, а не рохля! А он как был размазней и хлюпиком, так им и остался.

— Но ему всего лишь шесть лет! Как ты мог так поступить с ним? — не скрывала возмущения Тамара.

— Я хотел сделать из него настоящего мужчину!

— В шесть лет! Есть ли у тебя соображение?

— Если хочешь знать, в шесть лет мне удаляли гланды и полипы. Без наркоза! Как тебе, а? И я тогда не проронил ни слезинки. А этот...

— Ну, насчет того, что не проронил ни слезинки, это вряд ли. А гланды в то время всем, включая детей, как ты знаешь, удаляли без наркоза. Слава богу, от этой процедуры потом вообще отказались. Но ты не имел никакого права так издеваться над ребенком.

— Ребенком? Да какой он ребенок — слюнтяй!

Павел очнулся. Почти пустой троллейбус, сумерки за окном. Всплывшее воспоминание, как очередной кошмар, навсегда теперь связанный с отцом. Но разве такое можно назвать заботой, отцовским воспитанием?

Парефразируя Чехова, писавшего брату Александру, что в детстве у него не было детства, Павел и сам мог бы определенно сказать: «В детстве у меня не было настоящего отца». К сожалению, не было. *Грустная мудрость.*

Павел снова закрыл глаза, съежился, но согреться никак не мог — все не выходил из головы отец. Но дорога не близкая, и тепло от печки мало-помалу добралось и к груди, стало комфортнее. Постепенно проявились и окружающие звуки.

Через несколько остановок до него донесся чей-то горячий шепот. Павел приоткрыл глаза. Впереди две девицы, крашенные брюнетки без шапочек, в черных кожаных куртках, с глазами, подведенными фиолетовым и синим. Шептала сидящая справа, с челкой лазурного цвета и пирсингом на нижней губе:

— Я не поверю, что ты трусиха. Только в фильмах мертвые встают из могил, на самом деле, кладбище — осушающая тишина, покой, энергетика потустороннего! Ты сразу ее почувствуешь.

Павел даже обрадовался услышанному: ну, хоть что-то отвлечет его от навязчивых видений.

Чтобы не спугнуть девчат, он снова прикинулся спящим, а про себя ухмыльнулся — девицам нет и четырнадцати, а они уже оболванены до мозга костей: энергетика, сверхъестественное, потустороннее, уникальность... Дальше — «меня никто не понимает», «я не нужна этому миру», «никто меня не любит», сообщества самоубийц, «эффект Вертера» и нелепая, никому не нужная смерть у подножья высоты. Безмозглые пичужки, одурманенные сферой мистики, магии и колдовства. Явно девочкам нечем заняться; не наигрались, видно, в детстве, а в жизни, как им кажется, разочаровались. Не рановато? Или просто с жиру бесятся?

Тут он поймал себя на мысли, что конечная троллейбуса лежит совсем неподалеку от старого городского кладбища. Выходит, размалеванные девицы двигаются в сторону погоста. Может, они на самом деле направляются на кладбище?

Ему стало любопытно и даже интересно: неужели у девчат сорвало крышу? Молодые, смазливые, с приятными чертами лица, не безобразными фигурками подростков, без видимых уродств и физических отклонений калечат свои души всяческой дребеденью? Чего не хватает? Хо-

тя разбитной, отъявленной хулиганкой выступает больше шепчущая; ее подруга сидит съезжившись, как загнанный в угол испуганный крольчонок. Чего хочет добиться от нее разбитная? Смелости? Проявится ли она под ажурным хитросплетением слов? Бесстрашия? Можно подумать, что, вырядившись готом или другим каким супергероем, ты в одночасье обретишь иные, не свойственные тебе черты характера, поменяешь, как змея, кожу. Шарахались сумеречных теней, избегали глухих углов и подворотен и вдруг в один присест ощутили себя уютно и безмятежно уверенными в гудящей густоте мрака. В чем хочет убедить разбитная свою хрупкую подружку? В том, что сама перестала страшиться мрака и рожденных в его чреве химерных созданий?

Меж тем разбитная заводилась все больше и больше, словно актриса, вошедшая в роль. Все у нее радужно, чудесно, обворожительно, как будто кладбище было не кладбищем, местом захоронения и горя, а каким-то фееричным цирком-шапито, где все искрит и сверкает, веселит и восхищает, где все забавно и потешно, а сам мертвец — живому брат, товарищ, с которым так же комфортно, как с близким другом. Сможет ли таким макаром разбитная переломить сознание и робость своей подруги (может, проще было перед поездкой ее напоить или выкурить с ней на пару косяк?), но первый шаг она сделала: уговорила ее отправиться на кладбище (а то она там никогда не была!), но теперь уже с другим намерением: свыкнуться со смертью, с небытием. Взять — и свыкнуться, принять ее не просто как должное, а как повседневное и обычное, как стол, стул, тумбочку в комнате, снег зимой или листопад осенью.

До чего ж наивны попытки подобных особей таким образом расцветить свой мир, сделать его разнообразнее, интереснее! Мир и без смерти интересен, зачем отворачиваться от жизни?

Но тут Павла как переключило: неужели разбитная совсем не чувствует страха? Не чувствовала никогда? У многих солдат в окопе на передовой — и тех трясутся поджилки перед первым боем. Неужели она так переполнена духом, что полностью убедила себя в отсутствии всяческого страха? Разве можно в это поверить! Напугать бы этих безмозглых клуш, да так, чтобы пятки их сверкали в отражении кладбищенских фонарей, чтоб неслись они от крайних оградок до самой далекой окраины города не разбирая дороги, не чувствуя ног, забыв обо всем на свете.

Павел загорелся. Даже остановку свою пропустил. Он нисколько не сомневался, — в сознании до сих пор сохранилось ощущение того, что он сможет это сделать, даже больше, чем напугать, но он давно об

этом не вспоминал и не думал, даже в армии. Теперь вот всплыло: старое подростковое ощущение, и виной тому сидящие впереди две сикухи, беззаботно рассуждающие о загробной жизни и мертвяках. Он потешается над ними, понимая, что с такими вещами так просто жить нельзя, только они этого еще не осознают, а должны бы уже. Вот почему и бесит, и хочется предостеречь. Но если безмозглые, — что толку объяснять, лучше проучить, чтоб потом неповадно было, чтоб на всю жизнь запомнилось, впечаталось до конца дней их бранных.

Павел добрался с ними до конечной. Чтоб не вызвать подозрений, быстро пошел в противоположную сторону, нырнул в ближайшую тень, слился с густыми зарослями, хотя ни на секунду не упускал из виду — он знал здесь все тропки, а девушки вряд ли были местные.

Девчушки беспечно направились, как он и предполагал, в сторону кладбища, — ну, не идиотки ли! Разумеется, не к центральным воротам — там свет, сторож, который, увидав в такой час, в таком месте придурошных, сам гаркнет, как пес, на чужака, покрыв вдогонку несусветным матом.

Они свернули на аллею в обход кладбища, там есть места, где железная ограда давно рухнула (решетчатые секции по пояс) и в проемы ее можно беспрепятственно попасть к захоронениям, благо снег давно сошел. В тех закутах лет пятьдесят никто не хоронил, там пали наземь кресты, с землей сравнялись могильные холмы, дикой порослью папоротника и валежником покрылись тропинки в междурядьях; тут покоятся те, про кого давно забыли, и те, которые их еще когда-то помнили, но сами уже упокоились. Здесь тьма сгущается после полудня, а ночью — ни зги не видать. Луна даже сквозь кроны высоченных сосен и осин не везде пробиться может. Но разбитная предусмотрительна: прихватила с собой крохотный фонарик. С маленьким лучиком, едва освещающим перед ними шаг, они все больше удаляются от привычного света городских фонарей. Павла, крадущегося следом, совсем не видно. Но все равно он старается прятаться в самых темных местах и поменьше издавать шума; передвигаясь чуть ли не на цыпочках, останавливаясь, когда они замирают; почти не дышит, когда они, остановившись, прислушиваются. Ему еще рано себя выдавать, хочется посмотреть, что они станут делать. Неужели хватит ума свернуть с тропы в глубь кладбища? Может, разбитная ограничится только тропой? Дойдут по асфальту до конца погоста и вернутся обратно? Асфальт — не кладбище, асфальт — опора, живая поверхность под ногами. Живая! — одно это слово придает в темноте сил.

Но нет, дуры тупые, они все-таки сворачивают в заросли заглохших кустов, что топорщатся чрез ограду, ныряют, неугомонные, в прогал, хорошо знакомый, видно, разбитной (может, там какая-то метка их или тряпка, небрежно, чтобы не обращать особого внимания, завязанная узлом на решетке?).

Становится интереснее и любопытнее. Павел не пытается прибавить шагу — пятно фонаря в темноте видно отчетливо; просто бредет за ними, а там что-нибудь придумается... Что? Да что угодно! Уверен, даже зашурши он ветвями или звякни по оградке, пустоголовые девицы в колготки наделают, ломанут врассыпную, как цыплята от коршуна. Но хватит ли ему того, чтобы насытиться в полной мере?

Павел ощутил жгучее желание идти до конца: не просто напугать самонадеянных сикух, а испугать их до смерти (даже самому понравилось сравнение), напасть исподтишка, схватить самую бойкую, цепкой хваткой сдавить горло, чтобы аж зенки вылупились, волосы встали дыбом, обмочилась чтоб вся, покрылась холодным потом. Только тогда он ухмыльнулся бы довольно, спросил торжествующе: «Ну что, бесстрашная, куда твоя смелость поисчезла-то? В пятки ушла?» И шмякнул бы головой об осину, чтобы и мозги вразлет! Не сиделось дуре дома-то, не радовалось жизни и свету...

Павел, может, так и сделал бы, мог так сделать — он чувствовал в себе достаточно сил, чтобы кому-то, если придется, башку свернуть. Но неожиданно для себя так же внезапно остыл, как и завелся. Чего он, собственно говоря, парится? Чужим умом жить не будешь. Шуганет он дурех с этого кладбища, через неделю, поостыв, успокоившись, они попрутся на другое, а это будут вспоминать, как забавное приключение, легкое щекотание нервов. Не хватает, видно, в жизни острых ощущений, чего-то побойчее хочется, экстремальнее. И эта мысль словно высосала из Павла весь запал, он разом сник, остановился, потом наступил на хворостину, треснувшую под ногой так громко, как только может громко разнестись звук в кладбищенской вечерней тишине.

Не дожидаясь следующего звука, девушки рванули наутек, бросив даже фонарь. Хорошо, хоть углубились в заросли недалеко, выскочили за ограду и — стремглав к остановке, Павел даже опомниться не успел. Потом рассмеялся и обратно с кладбища шел с приподнятым настроением. И уже не ужасала мысль, что он не задумываясь смог бы наброситься на этих пигалиц и сотворить с ними что угодно; с восторгом Павел почувствовал в себе способность сделать то, что не всякому простому, может быть, под силу: неудержимую тягу к преступлению, жаж-

ду его совершить, но вместе с тем и огромную волю, способную эту тягу в любую минуту погасить.

Да, если придется, он, как ему кажется, сможет преступить любой закон без всяких угрызений совести, из одного только порыва — такова в нем огромная невостребованная мощь внутри сидит, злость на себя и все человечество, черное пятно его души.

Сейчас он сдержался (и это замечательно), но когда-то (всё может случиться) эта злость выплеснется из него, как вода из переполненной посуды. И когда это произойдет, думается, он не определит, что ему больше будет по нраву: радость от проявления этой силы или от осознания существования этой силы внутри него.

Павел пошел домой, по пути подобрал маску с черепом, потерянную, видно, заводной. Прикольно, пригодится. Но на сегодня приключений с него, как ему кажется, достаточно. Пропади оно все пропадом. Вместе с отцом. Горячий чай, аспирин, постель, — больше ничего не хотелось.

10

На следующее утро Павел стал собираться на смену. Под действием лекарства, а может, просто от усталости и пережитых волнений, он спал как убитый, даже не помнит, снились ли ему сны, но встал, как разбитый, — наверное все-таки хорошо озяб, простыл.

Выбирать, однако, не приходилось — надо было идти на работу, отлежится там, благо, никто дергать не будет. Тем более, сегодня Благовещение, уже с утра бьет колокол, и в этот день, по русскому поверью, *«девица косу не плетет, а птица гнезда не вьет»*, даже грешников в аду черти не мучают.

Когда собираешься, главное — ничего не забыть. Хорошо, остался борщ. Как раз на два дня. Ничего нет на вечер, но неподалеку от базы магазин, купит каких-нибудь сосисок, сварит гречки — электрическая плитка на работе есть.

Егорыч так и делал: никогда на вечер ничего с собой не брал, готовил на месте, специально держал крупы в банках в шкафу. Ими Павел и воспользуется. С Егорычем как-нибудь по-соседски разберутся.

Отец его все-таки расстроил: пообещал и не сделал. Как вот к нему относиться? Стоит ли вообще считать его надежным человеком? Может, правильно баба Люся никогда ему не доверяла? А мама? Мама ему верила?

Раньше он еще пытался понять, как они, такие разные, сошлись, что могло их сблизить? И пришел к выводу, что только наивность (не-

винность) матери и фанфаронство (бравата) отца, ведь уже тогда, по словам бабы Люси, он о себе много мнил, отталкивая (или пугая) своим честолюбием молодых девушек, а эта не отвернулась, а может, клюнула на блеск, мишуру, а по сути пыль (фальшь), которую пускал отец в глаза в те годы. Клюнула по наивности, неопытности, а может (или скорее всего), по глупости. Неприятный осадок, как будто съел чего-нибудь неудобоваримого. Поэтому Павел больше и думать об этом не хотел, даже убедил себя впоследствии, что нет никакого смысла и пользы в том, что он узнал бы. Это знание все равно не изменило бы его нынешнюю жизнь в лучшую сторону. Но, может, он ошибается, надо только загадать, ведь, говорят, все, что пожелаешь в Благовещение, обязательно исполнится. Баба Рая верила в это, почему бы и ему не поверить? Наверняка он так и сделает: загадает что-нибудь желанное, а пока...

Павел перед зеркалом натянул на себя найденную маску-череп, надвинул темную спортивную шапочку на самые глаза — отгородился от мира. Пускай теперь хоть кто к нему придерется! Маска-череп оберегает его, — отныне он всему миру показывает зубы!

Так в маске-черепе Павел и пришел на работу. Но Миха Стополь, увидев его, только рассмеялся:

— И чего это ты нацепил? В зеркало хоть себя видел?

— Вали уже, чего ржешь? — буркнул Павел в ответ.

— Да ладно, не злись, я уж так, без всякого.

— Знаю тебя: всё по доброте душевной. Что тут: закончили с установкой?

— Говорят, закончили. Во-на теперь, гляди: не монитор, а муха-цокотуха.

Павел стянул маску на шею, подошел к системе охраны. Сколько теперь крохотных экранов на мониторе: девять, двенадцать?

— Зачем столько?

— Начальству виднее, а ты теперь глаза напрасно не напрягай и знай, где впредь ходить. Кстати, я тут прикинул: ситуация в стране и мире, как принято нынче говорить, неоднозначная; что завтра будет, одному Богу известно. Задумка есть у меня одна, но, покумекав, прикинул, что самому не справиться, и кроме тебя больше никому и предложить не могу.

— Ты о чем?

— Ну, помнишь, как всё началось с пандемией, шеф с Харей стали частить в контору, что-то привозить-увозить втихаря, когда все уже покидали базу.

— И что?

— Думаю, сейф баблом набивали.

— А тебе-то что?

— Не догоняешь разве? Жизнь она такая сложная штука. И в будущем — нашем будущем — совсем никакой уверенности нет. А тут клондайк, сам просится в руки, лежит и ждет своего часа. Прикинь, если нам его прихватизировать. Нашим горбом нажитое. План верный, несмотря даже на то, что повсюду навтыкали камер. Несколько даже скрытых смонтировали, я заметил, меня так просто не проведешь. Решайся, другой такой возможности, думаю, больше никогда не представится.

Павел кисло посмотрел на сменщика:

— Тебе мало того, что ты и так день через день железо на металл с базы таскаешь, хочешь, чтобы вообще голову свинтили?

Миха поджал губы.

— Ну, нет так нет. Забыли. Эт я по приколу, не болтлн только кому.

— Чего мне болтать?

Павел стал выкладывать продукты из рюкзака. У Миши совсем крышу сорвало?

— О, а это еще кто к нам с утра пораньше? — Миша подошел к монитору, Павел повернулся. Миша щелкнул на один из крохотных прямоугольников, и тот на глазах заполнил собой весь экран. Павел сразу узнал «Ниссан» Леры. А вот и сама она, едва дотягивающая до верха машины, простоволосая, в белом коротком полушубке и черных лосинах в обтяжку выбралась наружу. Этого только не хватало. Зачем приехала?

— Это ко мне, — бросил Михе.

— Да ладно, в жисть не поверю. С такой тачкой, в такой упаковке...

— Отстань, это жена моего отца, я был недавно у них в гостях, наверное, что-то понадобилось.

Миха чуть не присвистнул:

— Крутой бабáсик. Я б такой долго не сопротивлялся. Да и ты, смотрю, неровно к ней дышишь. Никак тут чем-то запретным пахнет, а? Или я чего-то не догоняю?

— Да пошел ты! Вали уж домой! Больше делать нечего, как языком чесать?

— Ладно, ладно, не пыли, я не со зла, без всяких намеков. Ну так что, ты, может, все-таки покумекаешь над моим предложением? В связи с возникшими обстоятельствами, — Миша кивнул в сторону монитора. — Такая штучка потребует особых расходов, и, заметь, немалых, а

у шефа в сейфе, как пить дать, бабла куры не клюют. Я уж прикинул, как все проверить, за тобой только решение, кататься потом будешь, как сыр в масле. А с этой если не задастся, десяток других заведешь таких же при желании.

— Да иди ты! — буркнул Павел. — Нечего тут решать, оставь меня!

— Ладно, ладно, не кипятись, время еще есть. Немного однако. Сам понимаешь: карантин не бесконечен, народу такая лажа скоро надоест, он поймет, что неспроста всё, что его в очередной раз верхи обувают. Да и буржуи вечно оплачивать работягам простои не будут, хоть какой указ власть ни издай. Для них карантин — сплошные убытки. Кстати, ты не знал, наверно, что тебя хотели уволить, — не особо ценный, как оказывается, работник. Если бы Егорыч не ушел в запой, так бы оно и случилось. Ничего личного, просто бизнес. Кумекай, я просто один не потяну. В таком деле позарез кореш нужен. (Миха взял свою сумку-портфель.) Ладно, давай, до послезавтра, — вышел он, плотно прикрыв за собой дверь.

На экране промелькнула его сгорбленная фигура, сегодня он вышел через центральные ворота.

Лера слегка кивнула на его приветствие. Павел не заставил себя долго ждать, спустился вслед за сменщиком.

— Привет, — улыбнулась ему Лера.

— Здрасьте, — бросил он в ответ. — Что-то случилось?

— Случилось. Ты вчера, промчавшись по лестнице, чуть не сбил нас с Дашей. Не объяснил даже, почему. Но потом я узнала, что да как, отругала отца и решила сама привезти обещанные тебе фотографии. Прости, что так вышло, знать бы сразу. Возьми их, здесь, я думаю, всё, что осталось у нас от твоей мамы.

Павел взял небольшой конверт с фотографиями и пробормотал:

— Спасибо.

— Ну, — снова широко улыбнулась Лера и пожала хрупкими плечами, — я поехала, а то опоздаю на работу. Увидимся еще. — Она повернулась, чтобы открыть дверцу машины, но он неожиданно обнял ее сзади, крепко обхватил руками и положил голову на ее плечо.

Ее аромат слегка опьянил его, и он еще крепче прижался к ней. Лера враз как будто превратилась в камень.

— А вот это уже лишнее, — произнесла она. — Отпускай, мне надо ехать, я и так подзадержалась у тебя.

Он отпустил ее. Она, не оборачиваясь, села в машину, завелась и только потом посмотрела на него через стекло. Павел стоял, как сирота казанская, с поникшими кудрями, потерянным взглядом и безвольно

опущенными длинными руками. Она опять улыбнулась, но не стала дожидаться ответной реакции, развернулась и поехала. Однако отъехав и свернув на дорогу, выходящую к главной, остановилась. Сердце ее колотилось, надо было успокоиться.

Павел вернулся в сторожевую будку, упал на диван, положил конверт с фотографиями себе на грудь, но пока не стал их доставать. Вот так неожиданность: Лера, приехала перед работой, привезла фотографии. Неуж Богородица на самом деле услышала его просьбу, помогла? Теперь у него хоть какая-то реальная память останется от матери. Но Миха: «Ну ни фига себе, какую телку себе отхватил! Я б такой тоже не отказал», — зарделся похотливо. Но — нет, нет, Павел даже думать об этом не смеет — табу. Но какая у нее улыбка, какие глаза!

Павел стряхнул наваждение. Прочь, прочь, прочь!

Вытащил несколько фото из конверта. Вот она, родная. Мама. На этой фотке, наверное, еще моложе его сегодняшнего, но узнаваема: тот же пытливый взгляд, слегка нахмуренный высокий лоб, немного длинный нос. Красавица? Не сказал бы. Мама. Для любого ребенка она образец красоты. Как Елена Спартанская для греков. А Лера? Гораздо красивее матери, не поспоришь, но может ли он сравнивать их? Должен ли?

Опять Лера! Да что ж такое! Выбросить ее из головы напрочь! Больше думать не о чем? Собакам надо приготовить еды, обойти, как положено, территорию, проверить замки и печати на дверцах машин. В конце концов, заняться чем-нибудь, иначе мысли сожрут без остатка.

Павел поднялся с дивана, включил плитку, поставил на нее глубокую металлическую миску, влил суп, стал крошить в него хлеб. И тут его словно обожгло: «Ты не знал, наверно, что тебя хотели уволить. Если бы Егорыч не ушел в запой, так оно и было бы». Что Миха имел в виду? Неужели правда? Неужели его просто так выкинули бы на улицу, из экономии? Как это сейчас называется? Кажется, оптимизация. По факту — сокращение, увольнение. Нет, трудно поверить. Миха мог нарочно соврать, чтобы разозлить его и использовать. График — сутки — трое — никто не отменял, значит, по этой схеме по-любому необходимо три охранника. Карантин закончится, и все вернется на круги своя. Ну и что, что их предприятие — частная фирма, разве государственные законы и нормы на них не распространяются?

Миха — гад. Ни Петрович, ни Егорыч ни словом об этом не обмолвились, даже не намекали. С чего он взял? А это предложение? Чего он от него ждет? Что Павел соблазнится конторскими деньгами? Не факт еще, что они в сейфе есть. Михе, может, так только кажется. Да если

бы и были — стоило ли ради них ломать собственную жизнь, она и так почти каждый день преподносит сюрпризы.

Накормив шавок, Павел понес еду и Лапифу, вызвал его, сунул миску в лоток, стал смотреть, как Лапиф ест, но долго простоять не смог: клюнул носом, потом еще.

— Извини, дорогой, сегодня мне что-то не по себе, — погуляем, наверное, позже.

Павел на автомате вернулся в домик охраны, опустился на диван. Плечи тут же обмякли, голова упала на грудь, глаза закрылись. «Все равно, наверное, никого не будет, можно маленько вздремнуть. Если приедет начальство, посигналят. Мало где я могу быть: территорию обхожу!»

Павел через силу поднялся, вытащил из шкафа подушку, кинул в изголовье дивана и сам упал вслед за ней. Может, сон снимет с него усталость и выгонит остатки простуды? Однако сон, наоборот, облегчения ему не принес. В этом сне он ласкал Леру, и она, на удивление, отвечала ему взаимностью.

Проснулся Павел весь мокрый, в окно сторожки пялилась щекастая луна. Полнолуние? В полнолуние он отчего-то всегда плохо спит, как какой-то паршивый оборотень.

Сколько же он проспал? Не иначе весь день. Чем теперь будет ночью заниматься?

Дубль номер два: на плитке миска, собачья баланда, он крошит в нее хлеб. Шавки вьюном вертятся у его ног, он кладет перед ними миску, они остервенело набрасываются на похлебку (неуж проголодались?). Миска Лапифу.

Вернулся обратно, озяб (минусовая не иначе), попробовал сам поесть, — ничего в рот не лезет. Заварил чаю, хлебнул горячего, и снова потянуло на сон (с ума сойдешь!).

И в этот раз Павел не стал сопротивляться, плюхнулся на диван и уснул в мгновение ока.

На следующее утро поднялся, на удивление, выспавшимся. Даже если где и гомонили собаки, они не смогли прервать его крепкий сон. Ничего больше и не снилось. Но беспокойство по поводу Мишкиных слов про его, якобы, увольнение, никуда не делось.

Набрать начальника охраны или даже самого директора Павел не решался. Что он спросит: «Вы на самом деле решили меня уволить?» Дурак только так сразу тебе и ответит: «Конечно, дорогой, как только появлюсь, сразу же тебе об этом и сообщу: ты уволен!»

Павел хмыкнул, — никто в открытую ничего не скажет. Лили, а уж тем более Иван Егорыч об этом вовсе могут не знать. Если бы фирма работала, Лили, может, еще и услышала бы чего краем уха, а так...

Нет, конечно, если кто из начальства появится, он наберется смелости, спросит. Почему бы не спросить? За спрос денег не берут. Так, наверное, и будет. Но не факт, что сегодня кто-то вообще сюда заглянет. И все же: чем черт не шутит? Этим себя и успокоил.

Накормив шавок, Павел приблизился к клетке Лапифа. Тот уже смотрел на него не спуская глаз. Несколько раз гавкнул и заскреб мощными лапами пол.

— Иду, иду, нетерпеливец, — сказал Павел, откидывая щеколду клетки. — Сидеть!

Павел вошел внутрь.

— Поешь, пойдём прогуляемся. И я тебя наконец вычешу, не нравишься ты мне. — Павел вылил остатки супа в миску Лапифа. — Есть!

Лапиф послушно потрусил к своей миске, зачавкал громко. Павел дождался, пока Лапиф закончит, потом распахнул дверцу клетки:

— Пойдем пройдемся.

Лапиф вышел вслед за Павлом, потянулся.

— Обойдем периметр, идем.

Прошли вдоль оставленных на временное хранение длинномеров, вдоль высокого бетонного забора с колючей проволокой наверху, мимо мастерской.

У конторы Павел чуть задержался, дернул по привычке дверь, убедился, что заперта (мало ли что), поднял голову. Одна из камер смотрела прямо на него. Еще одна висела на столбе напротив. Как Миха собирался лезть в контору? Или он потом надеялся добраться до сервера? Но не факт, что видеокamеры не выведены для просмотра и на мобильные телефоны директора и начальника охраны («Дом-2» у нас никто не отменял). Попытайся даже остановиться у входной двери, а уж тем более начать что-то с ней делать, ты сразу высветишься на экранах всех подключенных к системе наблюдения гаджетов. Лишний раз убеждаешься, что Миха — недалекого ума кадр. На что только рассчитывает?

Зазвонил телефон. Отец. С чего вдруг, — нет еще и девяти утра.

— Да, — сказал Павел.

— Привет, — донеслось из трубки. — Как дела?

— Обхожу территорию. Спасибо за фотографии.

— Да ерунда. Я тебе по другому поводу звоню. Сергей Валентинович, помнишь, предлагал подобрать для тебя авто? Так вот, вчера он мне отзвонился, завтра едем уже забирать. Чего молчишь? Не рад?

— Рад, — сухо ответил Павел.

— Чё тогда смурной? Мне б кто в твоём возрасте предложил машину, я б улетел на седьмое небо. Тебе что, не нужна машина?

— Нужна. Почему не нужна? — сказал Павел.

— Так в чём дело? В общем, завтра утром, часиков, скажем, в полдесятого... Ты уже будешь дома?

— Да.

— Тогда, значит, в полдесятого встречаемся в автосалоне на Н-ской, за мостом, знаешь?

— Да.

— Валентинович все документы подготовит, тебе только останется подписать. Там же оформим страховку, — и в путь! Лучшего и представить нельзя, а?

— Да, — сказал Павел.

— Тогда до завтра?

— До завтра.

Отец отключился. Павел прислонился к стенке. Что-то никакой особой радости от этой новости он не испытал. И даже не спросил, какой марки машина. Перегорел? Или опять засомневался в отце? Но если сложится, если отец не наврал, у него будут свои колеса, и он в любую минуту поедет, куда захочет, не будет ни от кого зависеть, да и просто будет получать удовольствие от самой езды, — разве это не здорово!

— Разве не здорово, Лапиф! — воскликнул он и энергично потрепал Лапифа по загривку.

— Давно мы с тобой не гоняли мяч, а, друг? Ну-ка, где твой крутой мяч? Ищи, где оставил его в прошлый раз?

Лапиф поначалу будто не понял, о чём сказал Павел, но потом покрутил головой влево-вправо, сорвался с места и понёсся к фурам. Павел рванул за ним.

За одной из фур Лапиф разыскал детский, сделанный из твердой резины небольшой мяч.

— Нашел? Нашел? Молодец, давай сюда.

Павел схватил зажатый Лапифом в зубах мяч, но тот не отпускал его, наоборот, стал крутить головой из стороны в сторону, предлагая поиграть.

— Э, нет, шалун, давай отпускаяй, отпускаяй, знаю твои острые зубы: палец откусишь в два счета. Отпускаяй! — Павел вырвал изо рта Лапифа мяч и швырнул его в сторону конторы:

— Взять!

Набегавшись вдоволь и заперев Лапифа в вольере, Павел вернулся в домик охраны весь сырой, проголодавшийся, но счастливый, с полной уверенностью, что уже завтра после обеда из автосалона он поедет домой на собственных колесах.

11

Утром появился Миха, глянул на Павла и будто не узнал.

— Чего эт ты какой-то вялый. Не подхватил ли где вирусняк?

— Да нет, скорее промерз немного, когда возвращался от отца, но уже проходит.

— Домой-то хоть дойдешь?

— Дойду, чего тут идти.

Миха поставил свою сумку-портфель на стол.

— Как прошла смена? Все нормально?

— Все тихо. Никто не приезжал, не беспокоил. А ты скажи, — не стал тянуть резину Павел, — про увольнение мое — правду сказал или наврал?

Миха ухмыльнулся.

— Ты из-за этого, что ли, такой? Забей. Эт я спецом ляпнул, чтобы тебя завести. И насчет сейфа шутканул, тебя проверял. Какой дурак будет бабло на работе держать, хоть и в сейфе?

Павел надел куртку, натянул на лицо маску-черепа, опустил ее на шею. Миха хмыкнул:

— Вчера местные новости не смотрел?

— Нет, а что?

— Малолетку одну разыскивают, пропала несколько дней назад. Из дома уходила, говорят, точно в такой же маске.

Павел и глазом не моргнул.

— И что? Такие маски продают на каждом углу.

— Так и я о том же: разве это примета? Ты где себе такую оторвал?

— Не помню, может, в магазине купил, может, на рынке.

— Ну да, на рынке каких теперь только нет... И все же выглядишь, брат, ты поганно. Домой придешь, хапни грамм сто с перцем да вались в постель, пропотей сколько можно.

— Каких сто грамм? Сегодня с батей едем забирать машину, ни пить, ни валяться некогда.

— Ну, ты теперь совсем крутой станешь. Батя расщедрился, что ли? А говорил: не сошлись.

— Вот позвонил, сказал, что договорился обо всем с салоном; если глянется, сразу и возьмем.

— Ну, на халяву и уксус сладкий. Пользуйся, пока есть возможность, завтра ее может и не быть.

— Ладно, пошел.

— Давай. Удачной покупки.

— Спасибо.

Павел вышел, спустился вниз. Полдня вчера горевал, что его уволят, теперь новая головная боль: пропавшая девица. Не одна ли из тех, которых он шуганул с погоста? Не должно бы. Наверно, просто совпадение.

«ВАЗ (LADA) 2106», — значилось в документах, которые Павлу протянул улыбающийся Сергей Валентинович.

«Шестерка»? У отца больше денег не насобиралось, чтобы купить что-нибудь посущественнее?

Павел сник.

— Ты чего? — заметил его настроение новый знакомый. — Расстроился? Для начинающего, малоопытного водителя — самое то: нетребовательна, проста в управлении и обслуживании, экономична. Зуб даю: поездишь на «шохè», справишься потом с любой иномаркой. И в машинах начнешь разбираться не хуже заправского автомеханика. Мне мой предок в юности вообще «копейку» подогнал, не жалко было и бить, зато практиковаться — лучше не придумаешь. Правда, Андрюха?

— Полностью тебе доверяем, — сказал Коломольцев-старший.

— Тогда пойдем на стоянку? (Снова к Павлу.) Сядешь за руль, прокатишься. Я первым делом лично ее опробовал, потом только показал твоему отцу.

Вышли на задний двор. Салон оказался небольшим, в основном подержанных автомобилей. Во дворе в несколько рядов с одной стороны выстроились отечественные машины, с противоположной — иномарки.

— Наша стоит возле двадцать четвертой «Волги», темно-синяя. Думаю, цвет тебе приглянется: ненавязчивый, спокойный, — индиго.

Подошли ближе.

— Ну-ка, сядь, садись. Раз есть права, ездил, значит. Я на пассажирское.

Забрались внутрь.

— Выжимай сцепление, запускай двигатель, первую передачу... Руль немного туговат, но привыкнешь, у них у всех такая фигня, — все трещал Сергей Валентинович. — Но тебе, я вижу, и рассказывать нечего. Трогай помаленьку!

Отец отошел в сторону, отобранная «шестерка» выползла из своего ряда. Павел с непривычки с усилием выкрутил руль, проехал метров десять, остановился, сдал назад.

— Ну как? — заулыбался Сергей Валентинович.

— Вроде нормально.

— Говорю тебе: тачка отличная, побегает еще, как пить дать. Оформите страховку и — вперед и с песней! Ну что, теперь рад?

— Конечно, — сказал Павел, не отрывая горящих глаз от панели.

— Андрюха, где ты там? — высунулся в свое окно Сергей Валентинович. — Поехали страховку оформлять. Прыгай назад!

Коломольцев забрался на заднее сиденье, и Павел слегка надавил на газ.

После получения страховки, Павел поблагодарил Сергея Валентиновича за помощь, отвез отца в университет и поехал колесить по городу.

Съездить бы сейчас к Иван Егорычу в больницу, к Саньке Скворцову, за город... Посмотреть, сколько можно из нее выжать на трассе. Неужели он теперь не безлошадный? И плевать, что такое дешевое авто — дарёному коню в зубы не смотрят!

Павел выскочил за город, выжал сотню, сто десять, почти сто двадцать. Вроде, не сопротивляется, после сотни только немного порычит, повозмущается, но потом соберется с силами и прет на всю катушку, — красавица! Больше Павел не стал ее напрягать, поберегся. Довольный, развернулся и, больше не испытывая, покатыл обратно в город.

Еще неделю назад мысли о его неприкаянности, как черви, разъедали изнутри. Мечталось, чтобы пришел к нему Господь и сказал, как Иеремии: «Я видел твою душу еще до утробы и назначил на великие дела», или пришли бы к нему, как к Илье Муромцу, старцы и призвали на великие дела, так как ничего у него в жизни стоящего, как он считал, не происходило, хотя он чувствовал в себе огромную мощь, силу, которую он мог бы где-нибудь применить, но не может. Но вот со звоном отца столько всего изменилось, он и думать о таком не мог, и сегодня он счастливее всех, радостнее всех, и ничто, мнилось, теперь не может испортить ему настроения.

Сколько он так катался: час, два, три, в конце концов, удовлетворенный, дозаправившись, решил поехать домой. Но по дороге домой впереди неожиданно показался золотой купол храма Петра и Павла, возле которого был *тот самый* погост, и Павел вздрогнул, — утренний рассказ Стополя о недавно пропавшей девице снова обеспокоил его. Мало ему одного, так еще и другое. Неужели она все-таки была одной из тех двоих «готовок», которых он, испугав, шуганул с кладбища? Но он же их прогнал! Он помнит, — они убежали.

Павел свернул с трассы, подъехал к церкви. Народ тут бывает нечасто — слишком в стороне находится храм, не на перекрестке дорог. Но он... Нет, подумать страшно. Да и смог бы? Но, может, смог? Был же случай в прошлом, — никаким ластиком не стереть! Сколько ему тогда было? Наверное, как тем беспечным дурочкам: двенадцать–тринадцать...

Как сейчас помнит — на всю жизнь отложилось, — он с огромным удовольствием сделал глубокую затяжку и с блаженством оперся спиной о крепкий ствол невысокой осины. Из пальцев рук молниеносно выдрал «травку» кто-то следующий, но Павел не обиделся (таков был порядок), закрыл глаза и словно ощутил, как вверху над ним убаюкивающе зашевелилась крона.

Он, кажется, во второй или третий раз с этой компанией, но тот вечер был особенным: его должны были представить жожаку. До того Павел как-то не попадал на него, но теперь все изменилось. Он чувствовал, что принят, что станет среди них своим.

А ведь был еще и ранний опыт общения с этими мальчуганами. Тогда по дороге в парк, где обычно собиралась их компания, Санька Скворцов, с которым они только недавно близко сошлись, играя в настольный теннис, менторски наставлял:

— Ты, Пашка, главное, не дрейфь. Пацаны все из нашего района, понятливые, за своих — горой. Для других мы — сила. Против нас — никто. Даже старшеклассники нас боятся.

Они легким торопливым шагом двигались в один из парков на окраине города. Со стороны было, наверное, любопытно наблюдать за этой комичной парой. Худосочный сутулый Павел с длинными, почти до колен свисающими руками, с рассеянным, ни на чем долго не останавливающимся взглядом, слушал не доходящего ему и до плеча коротышку Скворцова, казалось, вполуха. Но суетливый, весьма эмоциональный Скворцов впихивал имеющийся объем информации ему в оба уха, за два-три Пашкины шага успевая очутиться как с левого, так и с правого бока.

— Вот ты недавно говорил, что по дороге из школы какие-то хмыри отобрали у тебя часы. Был бы ты с нами, поверь, никто бы тебя и пальцем не тронул. Мы бы их, знаешь, как отметелили! Век не забыли!

Массивная аркада сталинских времен свободно пропустила внутрь. Каждая из трех входных арок разветвлялась в глубь парка в трех разных направлениях. Скворцов свернул налево, а метров через пятьдесят и вовсе сошел с тротуара и пошел по извилистой тропинке, скрывающейся в густых зарослях жимолости. Всю дорогу он тараторил, как заведенный:

— Ребята тебе понравятся, вот увидишь. Один Холера чего стоит. Настоящий пацан! Он у нас как бы за главного.

Тогда Павел не задавал никаких вопросов. В его жизни наконец наступило время, когда нужно было окончательно определиться, кто ты: сопливый недоросток, шкет или юнец, вступающий во взрослую жизнь. Это было не так-то легко. Только вчера он сломя голову носился с маломержками в индейцев, воображал себя Росомахой из мультфильма «Люди-Х», с глубоким нескрываемым интересом следил за приключениями Черепашек-ниндзя, но сегодня ему стало скучно слушать писклявый лепет десяти — двенадцатилетних приятелей, с непередаваемым увлечением обсуждающих, кто из покемонов сильнее: клонированный Мьюто или четверорукий Мэчамп.

На то, что он не по возрасту якшается с малолетками, первым как раз и обратил внимание Скворцов. Он-то и предложил свести «переросшего детский сад» Коломольцева с «настоящими, взрослыми пацанами».

Скучающему все свободное время Павлу предложение товарища пришлось по душе. В «Денди» играть давно надоело, спортивные секции он не посещал, читать тогда читал еще не так, как сейчас.

— Сюда, — слегка потянул его за рукав Скворцов, и ему, высокорослому, невольно пришлось пригнуться, так как толстая суковатая ветка клена нависала над сплошной стеной кустарника слишком низко. Дальше заросли жимолости немного расступались и открывали небольшую вытоптанную поляну, на которой, образуя полукруг, лежало несколько темных трухлявых бревен. На бревнах плечом к плечу, тупо уставившись в центр поляны, молча сидело пятеро или шестеро мальчишек. Один из них жадно затягивался плотно набитой сигаркой, затем передавал другому, который, ожидая очереди, неотрывно смотрел ему в рот и потом так же жадно и ненасытно втягивал в себя дым.

Появление гостей их, видно, ничуть не встревожило. Только двое или трое из них тяжело подняли головы и осоловело окинули прищельцев пустым равнодушным взглядом.

— Привет, быки! — поприветствовал товарищей Скворцов и, обратившись к безликой толпе, сказал:

— Вот я к вам Пашу привел, как и обещал. Иди, Паша, падай рядом, — приблизился он к компании и плюхнулся на свободное место.

Павел присел рядом.

— А где Холера? — спросил тут же Скворцов и, не получив внятного ответа, уверил товарища, что главарь будет чуть позже. Впрочем, ни в первый, ни во второй раз его общения с новой компанией Холера так и не появился. Первый раз для Павла был разом приобщения к новому коллективу, табаку и «травке».

Пока сигарета с набитой «травой» из рук в руки неторопливо переходила по кругу, Скворцов предложил Павлу затануться обычной.

Чтобы не выглядеть в глазах других простаком, Павел согласился, взял простую сигарету, слегка затанулся и закашлялся: у него вообще это был первый опыт курения, мать запрещала ему даже думать о табаке.

Узнай сейчас, что ее обожаемое чадо закурило, она, наверное, разорвала бы его на части. Но он ведь не должен показать себя слабым. В первый раз? Кто тогда станет считаться с ним?

Павел закашлялся, и сразу вызвал у курильщиков смех. Незлобный, легкий, товарищеский. Они все прошли через первую затыжку, все начинали с глубокого, выворачивающего наизнанку внутренности кашля.

Но вот и к нему подошла набитая «травой» сигарета.

— Давай! — Скворцов толкнул своего товарища в бок, и Павел, чтобы и дальше не упасть в глазах других, осторожно взял пальцами тлеющий серый цилиндр и бережно поднес ко рту.

Несколько затуманенных пар глаз голодными зверьками проследили за неторопливым движением его руки.

Павел глубоко затанулся и этим дымом, но сперва никак на него не отреагировал, даже голова не пошла кругом. Тем не менее, Скворцов похвалил его и сказал:

— Тяни еще, с первого раза кайфа не поймал.

Затанулся еще раз, и все сразу одобряюще загудели. Он был принят в их среду, сделался своим.

Окурок пошел по кругу дальше, и вслед за ним полетели байки о первых курительных опытах каждого. Кто, как, где и сколько.

Стало весело, легкое головокружение не снимало хорошего настроения. Все для Павла сразу стали, как родные, добрые и старые приятели.

— Как тебе? — спросил Павла развеселившийся Скворцов, передавая ему сигарету на следующем кругу.

— Класс! — отвечал Павел и затягивался по-новому, еще не понимая полностью, что ему больше понравилось: сам процесс курения, непритязательное общение или то, что он не был отвергнут обществом тех, кто был чуть, может, старше его.

И вот он в третий раз среди них, и в третий раз среди них он, как среди своих.

Наконец-то познакомился и с самим Холерой. В конце концов, только Холера окончательно решал, примут или не примут новичка в их компанию.

Холера, однако, проявил к Павлу неподдельный интерес. Быстро окинул новоприбывшего острым пронизывающим взглядом и тут же предложил сесть рядом.

Худощавый, не развившийся полностью Павел возле старшего по возрасту и коренастого Холеры выглядел тонкой веточкой на крупном стволе. Тем не менее не чувствовал себя ущемленным: Холера был к нему внимателен и прост.

— Курнешь? — протянул ему «травку».

Павел, чтобы не ударить лицом в грязь, и в этот раз не отказался: так же глубоко затянулся, как и в прошлые разы.

Холера одобрительно хмыкнул и мягко похлопал Павла по спине:

— А ты, я вижу, — молодец! — сказал, тяжело ворочая языком. — Наш пацан.

Его все поддержали.

Холера стал расспрашивать Павла о жите-бытье: где живет, где учится, чем увлекается.

Такое внимание к себе польстило Павлу, и он отвечал без обиняков, тоже просто и открыто. Рассказал и про часы, которые у него отобрали по возвращении из школы какие-то сволочи, и про задиристого Мухина, старшеклассника, который ему проходу в школе не давал: то сильно к стене отпихнет, то больно даст щелчка.

— За это не переживай: теперь ты с нами. А твоего Мухина, если хочешь, мы за углом подстережем и отделаем по первое число. И козлов тех, что у тебя часы отобрали, найдем. Гадом буду, если не найдем! Мы за своих знаешь как!

— Мне Санька говорил.

— Вот именно.

Холера вытащил из кармана куртки еще один небольшой бумажный цилиндр, вроде тоже набитый «травкой», закурил неторопливо и снова первым после себя дал затянуться Павлу. В этот раз Павел сразу почувствовал слабое головокружение, и какое-то необычное, ранее не ведомое состояние «кайфа».

Новую сигарету так же, как и в прошлые разы, кто-то быстро выдернул из рук. Она снова пошла по кругу, бережно, мучительно, сладко. Но, к сожалению, эта сигарета была не столь длинной, и вот кто-то решил догнаться «Моментом», уткнулся в полиэтиленовый пакет и затих.

Незаметно как стемнело. Нужно было расходиться, но Павлу ни за что не хотелось расставаться с новыми добрыми приятелями. Он все больше, не понимая отчего, входил в раж и уже, не замечая как, стал просто бахвалиться тем, какой он «классный» пацан, что они не пожалуют, что приняли его в компанию и что он сделает всё, чтобы оправдать их доверие.

— Так-таки всё? — подзуживал, подыгрывая ему, Холера.

— А чё! — одурманенный «травой», кичился Павел.

— А клей слабо нюхнуть? — Холера сунул ему насыщенный парами клея пакет.

— Кому слабо, а кому нет, — Павел решительно взял у Холеры полиэтилен и глубоко затянулся. В голове опять все закружилось, но настроение удвоилось, он почувствовал себя раскованнее, с этими ребятами было просто хорошо. Уже и сам Холера был ему как брат, и, кажется, любую гору он мог свернуть. Ничего неосуществимого в ту минуту для него не было, ничего непреодолимого не существовало, эйфория полностью захлестнула его. Но сквозь угар помутненного сознания остро кольнула одна фраза: «Могу и убить». Это он сказал? Кто-то спросил: «Слабо убить?» — «Могу и убить». Это он ответил? Убить. Разве он какой-то сопляк? Настоящий пацан! Кто сомневается? «Ну, на нож». — «Давай».

Стальное лезвие будто светится в темноте. Даже Маугли нужен был нож. Маугли был добрым, но ему все равно нужен был нож.

Рукоять как присосалась к руке.

«Раз такой храбрый, убей кого-нибудь, докажи, что ты на что-то способен».

И докажу! Докажу!

Туман замутненного сознания все не рассеивался.

— На, затянись еще.

Еще затянулся.

— Вон там наверху кто-то идет. Слабо его?

— Раз плюнуть! — рука сильнее сжала нож, и он двинулся, слегка покачиваясь, по направлению к смутному силуэту, который медленно спускался к нему навстречу по аллее.

Поступь тяжела. Как будто кто-то сдерживает, будто свинцом наполняет ступни.

Павел двигался, втупившись в землю, чувствуя себя каменной глыбой. Крепко сжатый в руке нож словно прибавлял сил. Но вдруг знакомый женский голос заставил его остановиться.

— Пашенька, сынок, я тебя везде ищу. Давно стемнело, а тебя все нет и нет... — произнесла женщина и осеклась, не понимая, что происходит с сыном, с ее милым Пашенькой.

Павел с трудом поднял глаза. Мама. Расплывчатым облаком в свете луны показалось ее лицо.

— Я тебя везде ищу. Зову, зову...

Что-то словно щелкнуло внутри, но он не мог ни осознать, ни воспринять еще ничего. Слово «мама» будто ворвалось извне.

«Мама?» — подумал он. Недоуменно и вопросительно. Почему мама?

Он обернулся, но темные зловещие силуэты позади не ушли. Он должен что-то сделать, он обещал, и он — человек слова.

— Идем домой, сынок, пойдем, — как сквозь пелену медленно дошло до него.

Но силуэты позади мрачно ждали. И голова шла кругом.

«Ты можешь убить?» — «Убить?» — «Да, — убить? *Ты можешь убить?»*

— Да, мамочка, — едва ворочая языком, пробормотал Павел, тяжело закрыл глаза и почувствовал, как вспотела рука, сжимающая горячую рукоять ножа...

Как ему было стыдно и мучительно после протрезвления. Как Павел не пустил тогда в ход нож, что спасло его от безумного поступка, до сих пор не понимает.

Мать, однако, не ругала его, не набросилась с возмущением, даже голос, как баба Люся, не повысила, может, это и сыграло свою главную роль. Она заплакала, и только тогда Павел словно очнулся, узнал мать, выронил из рук нож и сам заплакал, уткнувшись ей в плечо.

Подстрекатели в тот вечер так его и не дождались. Но Павел на всю жизнь запомнил ощущение легкости, с которой он мог совершить

любое преступление, даже, может, и человека убить. За просто так. Просто так? Так просто? Нет, просто так не бывает, в чем он еще раз убедился несколько дней назад, когда желание придушить беспечных бестолковок поначалу граничило только с желанием проучить их, но он вовремя остановился и не сделал этого. Не сделал ведь? Нет. Не смог. Не мог. Он ясно помнит. Почему тогда сомневается до сих пор, мучится?

«Шестерку» Павел пристроил в своем дворе рядом с «четверкой» Иван Егорыча.

Никакого сравнения: его «шестерка» словно вылизанная, блестящая; «четверка» Иван Егорыча, как и он сам, потрепанная долгой ездой, авариями, скисшая, — нечего и сравнивать.

«Завтра надо хотя бы Саньке показать, — мелькнуло у Павла, когда он стал закрывать машину, — а то и похвастать некому».

Баба Люся, вернувшись от родни, наверняка всплеснет руками и как всегда отчебучит: в коем-то веке дрянной отец на родного сына раскошелился; не иначе что-то в лесу сдохло. А Иван Егорыч тоже поначалу удивится, а потом скажет: все, что ни делается, к лучшему. И будет, наверное, прав.

12

На тумбочке, как оглашенный, затрещал телефон. В замешательстве Павел не мог даже понять, наяву это или продолжение сна. Но телефон не смолкал, и Павел потянулся к нему, нажал на прием.

— Да?

— Извини, это Лили.

— Да.

— Привет. Михаил сказал, у тебя появилась машина?

— Когда успел? Привет.

— Да виделись как-то, заезжала по делам на фирму. Ну, так что?

— Что?

— Насчет машины.

— Он не соврал. А что?

— Ну, не заберешь меня с вечеринки, надоело тут всё? Сама, боюсь, не доберусь домой, а на такси денег совсем не осталось. Будь другом.

— Ладно, — не стал противиться Павел.

— Чернышевского, 23, — все неслось из трубки. — Это где...

— Найду.

На электронных часах с подсветкой два часа ночи. Не дурдом ли? Хотя, что Лили, — на работу идти с утра ей не надо. Но раз уж брякнул...

Павел поднялся, на автопилоте оделся; не глядя, смахнул с тумбочки ключи от машины.

Миха всем уже растрезвонил про его покупку? Вертит языком, что корова хвостом.

«Шестерка» завелась с полуоборота, как догадалась, что надо срочно ехать.

Ночной город безмолвен, на перекрестках мелькают желтые огни, в горящих гирляндах витрины магазинов и кафе.

Лили. Особая статья. Такой фифочки поискать. Вот кто на самом деле по жизни плывет, особо не задумываясь, как по течению, — порхающий с цветка на цветок мотылек. Есть такой тип женщин. И они, на удивление, очень притягательны для нас, мужчин, может быть, именно этой своей легковесностью (или безмозглостью), кажущейся наивностью. Они непосредственны в общении, с ними легко на посиделках, они зажигают на танцполах, визжат до одури в караоке. Они всегда с тобой покурят, душевно перебросятся парой слов, в общем, — свои в доску.

Как правило, такие — почти всегда с недоразвитыми, чуть ли не детскими формами тела, улыбка на крошечной головке шире лица, а глаза кажутся навывкате. Они и щебечут, как малые дети, голосом тонким, писклявым; накурившись, говорят с придыханием, а в экстазе сразу уходят в себя и больше просят не беспокоить. И ты для них в лучшем случае друг (даже если случайно и переспшишь с ней), а так — такой же, как все, не ярче и не хуже; пройдет мимо — не заметит, а скажешь «привет», в ответ получишь нейтральное «здравствуй», как само собой разумеющееся. А если возмутился... Ты, что ли, обиделся? Я даже не думала тебя обидеть. Мне, может, и думать-то нечем. Мозги, как у курочки, у цесарки. Что-то на язык близкое царственному. Это у венценосного журавля, кажется, нечто вроде короны на голове? Я где-то видела на картинке в энциклопедии. Энциклопедия? Это такая толстая-претолстая книга. Еще корона на голове есть у мухоеда? Желтый хохолок с пятнышками черного и голубого цвета у самочек? Нет, нет, у этих птичек какая-то слишком уж глупая физиономия, они не могут быть королевских кровей. Хотя, кто знает? Я не знаю...

Обижаться на нее грех, влюбляться — бесполезно, как и чего-то требовать.

«А что, разве у нас что-то было?» — могла такая бросить без всякой задней мысли, зайти за угол и тут же о тебе забыть.

На ее стройную фигурку любой из мужиков обернется и присвистнет вдогонку. Присвистнул Лили в спину и Павел, когда увидел первый раз. Но она увидев Павла, застывшим с миской корма для собак и отвалившейся челюстью, слегка улыбнулась, но не остановилась, прошла дальше мимо него в контору, кинув небрежное «здравствуй», как будто они были знакомы сто лет, хотя он тогда оттарабанил всего лишь две смены, да и те пришлось на выходные, когда во дворе лишь шавки купаются в пыли и от тишины гудит в ушах.

— Лили, привет! — кричали ей водители из гаража.

— Привет, красотка! — монтажники и сборщики.

— Здравствуйте, мальчики! — лучилась она в ответ.

Обычно Лили подвозил Сергей Степаныч, босс, но в тот день он был в отъезде, и ей пришлось добираться на работу на такси. Потом она принесла Павлу график дежурств под роспись (она, оказывается, вела еще и табель), стала приносить различные распоряжения («Могла бы тебя вызвать в контору, но тошно сиднем сидеть весь день, надо бы немного и размяться, а?»).

Когда она поступила на водительские курсы (по ее словам, настоял Сергей Степанович, — разве могла она отказать?), Павел потешался, как она водила директорский «аутлендер», училась трогаться и рулить. Монтажники соорудили ей даже нечто вроде мини-автодрома, набросав использованных шин и установив сваренные из проволоки флажки, после того, как она раз, сдавая назад, ускорила и врезалась в электроопору. Слез было — не остановить, но Сергей Степанович утешил ее, успокоил, а через два дня приехал с новым бампером.

Как-то Лили спросила Павла:

— Чем занимаешься вечерами?

— Да, собственно, ничем, — ответил он.

— На вечеринку не хочешь сходить?

— Можно и сходить. Почему нельзя?

Павел был рад такому предложению. Но она так и не уточнила куда, по окончании рабочего дня напрочь забыв о его существовании.

Павел, впрочем, не очень-то рассчитывал, что вечером она отзовется, — он уже понял ее непостоянную натуру. Но сегодняшний ночной звонок несколько удивил, хотя, что он раньше мог ей предложить: колес-то у него не было?

По навигатору Павел без проблем нашел нужный дом, набрал по телефону Лили:

- Это я, подъехал, стою у подъезда.
- Кто я? — ответил ему заплетающийся голос.
- Павел.

— А, Пашенька, Паша? Как хорошо... Слушай, поднимайся наверх, я что-то совсем встать не могу... Квартира... Тася, какая квартира? Тридцать два? Слышал? Третий этаж, там открыто.

Разъединила.

— Вот, блин, — скривился Павел. Выдалась ночка. Вылез из машины, поднялся в квартиру. Дверь и впрямь была незаперта. Тусклый свет, приглушенная музыка, — видно, соседи когда-то уже серьезно тревожили. От дыма хоть топор вешай. В некоторых углах скрюченные или на корточках фигуры. В большой комнате, на широком диване, перед которым маленький заставленный спиртным и заваленный бычками столик, осоловелые тела друзей и подруг Лили. Среди них она, как цветок шиповника среди листьев.

Павел подошел, тронул девушку за плечо:

— Лили.

Она подняла голову, растянулась в улыбке. Рядом с ней какой-то дрищ тоже глянул на Павла мутным взглядом, протянул «А ты кто?» и попытался было подняться, но Павел вдавил его обратно:

— Сиди уже. — И снова к Лили: — Пойдем, что ли?

Спустились вниз. Лили лыка не вязала, едва держалась на ногах, плюхнулась на сиденье и расплылась в приторной улыбке.

— Домой? — спросил только Павел.

— Угу, — кивнула она и прислонилась головой к дверце.

Тепло еще не ушло (он посильнее прогрел салон, когда ехал, — за окном упало почти до нуля), и ее снова разморило. Разморило настолько, что она, пробудившись у собственного дома, не могла даже понять, что делает в его машине.

— Тебя проводить?

— Сама. Могу еще, — сказала Лили и опять попыталась улыбнуться, но получилось криво. — Прости, что не смогу тебя сегодня отблагодарить, видишь, я немножко выпимши, не обижайся. На друзей ведь не обижаются?

— А мы друзья?

— Ты сомневаешься? — глянула она на него непосредственно.

— Конечно, нет, — сказал Павел.

Лили хмыкнула, а потом попыталась самостоятельно выбраться из салона, но чего-то не учла, поскользнулась, упала на одно колено, ма-

тюгнулась. Павел вышел, подхватил ее за подмышку, довел до подъезда.

— Дальше я сама, спасибо, — пролепетала, как смогла, Лили. — Моя территория.

— Как скажешь.

— Ну, на прощание можешь меня поцеловать, ты заслужил это, — Лили свернула в дудочку свои пухлые губки и вытянула их вперед.

Павел, однако, делать этого не стал, ухмыльнулся только, взглянув на полуприкрытые глаза Лили и ее нелепую гримаску.

— Ладно, — сказал, — увидимся.

— Пока, — расплылась в желейной улыбке Лили, так и не поняв, целовал он ее или нет.

— Пока, — сказал Павел и закрыл за ней дверь подъезда, вернулся за руль.

«Не хряпнется ли эта дуреха на ступеньках?» — подумал, хотя совсем не знал, на каком этаже она живет. Хорошо, хоть завтра не на работу и он сможет немного отлежаться.

Завелся, покатыл домой, приняв сегодняшнее приключение Лили за чудачество и уже немножко считая ее своей подругой. Может, она на самом деле станет его подругой, — в жизни всякое бывает? Надо бы звякнуть ей завтра (эх, ё-моё, уже сегодня!), сказать: «Дорогая, помнишь, — за тобой должок? Я так и не поцеловал тебя, как ты хотела. Может, повторим?»

Эта мысль даже развеселила Павла, и он прибавил газу и полетел домой с ветерком, не сбрасывая скорости даже на перекрестках, — во круг ни души, все светофоры горят желтым — красота!

13

Утром Павел проснулся с ощущением триумфатора. Столько всего произошло за последние дни: обнаружился отец, у него появилась машина, а может быть (он так надеялся теперь) и девушка в придачу, что захотелось срочно всей этой радостью с кем-то поделиться.

Павел дожидаться не мог наступления утра. В восемь набрал Скворцова, — кого ж еще первого?

— Спишь?

— Конечно, сплю, дебил. Ты на время смотрел? Мне сегодня к одиннадцати.

— Небось, всю ночь за компом просидел.

— А ты чего?

— Заеду?

— Заезжай, только учитывай: в начале одиннадцатого мне выходить.

— Да я тебя подброшу.

— На чем? Опять на машине Егорыча рассекаешь? А он знает?

— Да нет, у меня теперь своя.

— Хорош трандеть!

— Мне чего трандеть? Говорю, как есть. Батяня подогнал. Не ахти какая, но теперь своя, куда хошь смотаешься. И тебя подкину, если захочешь.

— Чего нет?

— Тогда жди.

Павел в считанные секунды натянул спортивный костюм, накинул куртку, смахнул с тумбочки кошелек и права и выскочил во двор.

— Кофе будешь? — Скворцов только умылся, ходил еще непричесанный. Впрочем, вихры у него топорщились еще со школы, и так же вечно со школы он был несобранным.

— Как же это твоего угораздило? — Скворцов стал наливать кипяток в чашки с растворимым кофе. — Ты вроде говорил, что разочаровался в нем, жалел, что встретился.

— Так оно и было. А он видишь как? Подмазать, наверное, решил.

— И где она?

— Под окном припарковал.

Скворцов выглянул во двор. Перед домом — три машины: «шестерка» и две иномарки.

— И какая из них твоя?

— Ну понятно, что не аудюха или рено.

— «Лада», что ли? Так ей, с виду, сто лет в обед. И жрет, наверное, немерено. На одном бензине разоришься. Ты ему ничего об этом не сказал?

— Жрет, как все «Лады», — ни больше ни меньше. А потом: дареному коню в зубы не заглядывают, что ты меня так сразу обламываешь?

— Что подумал, то и сказал. С другой стороны, — не пешком ходить.

— Вот именно. Вчера даже Лильку с тусни подвез.

— Секретаршу вашу, что ли? Ту самую, которая тебя ни в грош не ставит?

— Что значит «не ставит»?

— Сам говорил: директорская подстилка, чего тогда прогнулся? Думаешь, снизойдет до тебя?

— Уже снизошла.

— Да брось! Заливать ты любишь, соврешь не моргнешь. Ты для нее, что пыль под ногами, губу сверни.

— А вчера вот позвонила. Мишка, наверное, сболтнул ей сдуру про машину.

— И она прям сразу к тебе. И тут же ножки развела!

Павел вспыхнул, подорвался со стула.

— Что ты все ерничаешь? Надоел хуже некуда! Да, — и ножки развела, и не отфутболила. И я теперь настоящий мужик, а не мешок с дерьмом, как некоторые. Думаешь, раз тебе никто не дает, значит, и у всех так?

— Что ты лепечешь? Распетушился. Крылышки—то сверни. Ты как был для нее нулем, так нулем и остался, ловелас хренов.

Павел позеленел.

— Заткнись, не то я не знаю, что тебе сделаю!

— Попробуй.

Павла два раза просить не надо, он размахнулся и врезал Скворцову прямо в челюсть. Скворцов онемел: что это было? Он даже не встал, только поднял на Павла удивленные глаза.

— Ты меня ударил? Ты ударил меня, друг?

— Какой ты мне, к черту, друг? Нет у меня друзей! А теперь, как я понимаю, и не было никогда!

Павел развернулся и, не задерживаясь более, вышел. Скворцов так и остался сидеть на месте. В происшедшее поверить не мог. Неужели его закадычный друг так внезапно мог измениться? Променять мимолетную юбку на годы дружбы? Перестав быть девственником, возомнить себя мужиком, которому все нипочем? Даже руку поднять на близкого товарища?

Санька тоже мог за себя постоять, они с Павлом с детства не раз ввязывались в мелкие стычки с мальчишками из других районов, но в этой ситуации, в этом непредвиденном случае, он не знал, что делать. И даже не пытался отвечать: настолько все показалось нелепым. И ныла не челюсть, ныла душа: что же дальше? Дальше-то что?

Павел выскочил из подъезда раздраженный донельзя. Нет, про случившееся нечего и жалеть. Он стал другим, отрицать невозможно. И судьба ему благоволит. Вот нежданно—негаданно позвонил отец, и вся его прежде размеренная жизнь изменилась чуть ли не коренным образом. Несмотря на внешние обстоятельства, до оскомины надоевший всем ковид, его жизнь, наоборот, стала лучше: и с работы его не уво-

лили, и худо-бедную машиненку батя подогнал, и Лили, недотрога Лили, на удивление, обратила на него внимание. А всякие там Саньки Скворцовы просто путаются под ногами и только мешают наслаждаться новой жизнью. Но таких Саньков Скворцовых в его судьбе, он уверен, будет еще хоть пруд пруди, чего их жалеть, только нервы себе портить!

Павел, даже не взглянув на окна Скворцова, выехал со двора. Побольше поездить, привыкнуть к машине, слиться с нею в одно целое. Теперь машина его друг, других пока и не надо!

Он снова рванул за город, врубил на полную катушку радио и полетел вперед опять на бешеной скорости без всякой цели, и только когда, как показалось ему, пришло успокоение, развернулся и направился домой, стараясь больше ни о чем не думать. Выбросить все из головы, не забивать голову ерундой (а для него инцидент со Скворцовым показался просто ерундой), вернуться к себе, очиститься... И потом, — завтра на работу, надо бы немного отдохнуть.

Незаметно как, Павел вырулил на улицу, где проживал отец. Из-за большого потока машин пришлось сбавить скорость. Решил срезать путь, ушел вправо и, проезжая мимо двора отца, увидел в глубине его «Ниссан» Леры. Наверное, она дома. Может, дома и отец, надо бы из приличия заглянуть, сказать спасибо, а то всё как-то в прошлый раз получилось сумбурно, нелепо. Толком он не поблагодарил ни отца, ни Леру. Наверняка они приняли решение обоюдно, большую сумму ведь не утаишь. Хотя кто знает, у кого какие заначки. Темный лес.

Павел развернулся и зарулил во двор отца.

Домофон так и не работал. Павел взлетел на второй этаж, несколько раз нажал на кнопку звонка.

Распаренная — только из ванны — Лера глянула в глазок и удивленно спросила:

— Паша?

— Да, — радостно ответил Павел.

Лера приоткрыла щелкой дверь.

— Что-то случилось?

— Случилось? Конечно, случилось? Я на новой машине, спасибо вам. (Лера удивилась.) Проезжал мимо, увидел ваш «Ниссан» и подумал, не заскочить ли поблагодарить.

— Но, твоего папы... отца... нет дома, он на занятиях.

— Да я, собственно, хотел только на минуту, думал, он уже вернулся, вы все здесь, — затараторил Павел, и Лера даже не заметила, как он переступил порог и оказался прямо перед ней. — Если б ты знала,

как это здорово, здорово! — прямо весь светился Павел и неожиданно сграбастал Леру в охапку и закружил на месте. — Здорово!

— Ой, ты что делаешь, дурачок, отпусти меня, отпусти, — залепетала ошеломленная Лера, и Павел остановился, стал опускать ее на пол, но из объятий не выпустил.

— Пусти, я только из душа, не видишь разве, а ты с улицы, холодный весь, — попыталась отстраниться она от него, но Павел, не разжимая рук, посмотрел на нее уже другими — затуманившимися — глазами (не этот ли случай ему приснился?), наклонился к ее шее и глубоко вдохнул пьянящий запах ее свежести.

*«Ее тяжелый странный аромат
Сочился, и тревожил, и смущал,
Мутя рассудок...»*

— Ты что? Ты чего надумал? Не смей! — зашипела Лера, но Павел будто не слышал, ком подступил к его горлу.

Лера округлила глаза, сжалась в один комок и обеими руками уперлась ему в грудь.

— Ты с ума сошел? Даже не думай, не думай! Пусти, не то закричу! — с трудом выдавила из себя, пытаясь вывернуться из цепких объятий, но не закричала, надеясь, что Павел одумается, и сам отпустит ее. — Не вздумай! — Но он еще крепче сжал ее, так крепко, словно хотел раздавить. — Пусти, Павел! — вспыхнула тогда Лера. Но он будто захмелел, какая-то безудержная волна, как в штормовом море, подхватила его и заставила забыть обо всем на свете.

Павел придавил Леру к дверному косяку, стал осыпать поцелуями. И куда только тыкались его губы — в шею, ключицу, в ушко, висок, подбородок, — всюду жгли, как раскаленным углем. Но тут, как гром среди ясного неба, позади них раздалось:

— Мама, мам...

Павел встрепенулся, оторвался от Леры и обернулся. В дверях своей комнаты стояла маленькая Даша и распахнутыми глазами смотрела на них в упор.

Лера оттолкнула Павла, но он словно в трансе, продолжал глядеть на сестру, потом резко, как вспугнутый зверек, бросился вон и выскочил за дверь.

— Мам, — все еще удивленно сказала Даша.

— Иди ко мне, родная, иди, — Лера протянула к дочке руки и, когда Даша подошла, крепко прижала ее к своей груди. — Не бойся, всё

хорошо, мама просто поскользнулась на мокром полу и чуть не упала, а Паша подхватил меня и тоже чуть не упал, а потом испугался и убежал. Ты ведь тоже раньше пугалась, когда падала.

Даша кивнула.

— Вот видишь?

— Папе только ничего не говори, а то он испугается за нас и больше братика твоего в гости не пригласит. Ладно?

— Ладно.

— Вот и умница. Пойдем, я покажу тебе, какую купила вкусняшку.

Лера повела дочку на кухню. Скоро вернется с работы Андрей, надо бы ему рассказать о случившемся, только как объяснить неожиданное появление Павла и его такую же непредсказуемую вспышку? Впрочем, о последнем можно и умолчать, Даша наверняка ничего не поняла. Хотя и она сама до конца не осознает, что это было. Знает только, что все закружилось как в вихре, едва Павел переступил порог квартиры. Но о какой машине он говорил? Неужели Андрей, не сказав ей ничего, купил ему какую-то машину? С этим прежде всего надо разобраться.

Лера как в трансе приблизилась к окну, выглянула из-за занавески во двор. Внизу, однако, никого не было.

— Кушай родная, кушай, — только и сказала она.

14

От дома отца Павел летел как угорелый, на перекрестке, увидав желтый, поддал газу и чуть ли не на красный проскочил его.

Что это было? Что за наваждение? Всё перемешалось в голове.

Ошарашенная Лера в распахнутом халате, озадаченная Даша с глазами чуть ли не на выкате весь вечер стояли перед его взором, не давая ни нормально поесть, ни заснуть. А когда он промаялся несколько часов кряду и все-таки заснул, приснилось ему, что он огромный, как одинокий дуб на поляне, у него густые, покрытые кожистыми листьями, ветви-руки, которыми он обволакивает маленькую, хрупкую Леру. Она улыбается ему тихой очаровательной улыбкой, а от этого его еще больше распирает, и он уже боится ее раздавить, прижимает к себе бережно, нежно, радуясь, что его женщина может быть так счастлива. Но тут, откуда ни возьмись, набежали серые тучи, светлый силуэт Леры потускнел, раздался неприятный скрип, отворилась дверь в комнату, на пороге появилась Даша и нахмурилась. Лицо ее на глазах стало превращаться в физиономию одной из готок в маске-черепе, разбитной. Не успел Павел и глазом моргнуть, как готка переместилась к их кроватке.

ти, налилась злобой горгоны–медузы и, выпучив глаза, закричала истошно:

— Ты злой, злой, зло-ой!

Огромная черная дыра ее рта жутко напугала Павла, он шарахнулся от готки в сторону и... проснулся. Ночь пролетела, как один миг.

Чумной, как после глубокого похмелья, раздраженный оттого, что кошмары не оставляют его, Павел поднялся, понял, что встал поздно, стал суматошно собираться на работу. О вчерашнем старался не думать, но оно никак не выходило из головы. Зачем он набросился на мамочку, что хотел с ней сделать, как теперь смотреть в глаза отцу? И почему Даша назвала его злым, — разве он злой? И откуда только она, эта козявка, может знать, что такое зло? Тоже мне всезнающий библейский Адам. Да уже одно то, что он так дотошно разбирает проявление зла, не дает ему развиться в себе, доказывает, что он априори не может стать злым. Да, многое в нем бунтует, иногда проливается гневом. На очерняющие душу, убивающие ее несправедливости вокруг, на откровенную, ничем не прикрытую глупость, а то и дурость людей, на явное равнодушие власти к людям и прочее. Но разве это зло?

По улицам Павел гнал с превышением, не скинул скорости даже на железнодорожном переезде, — гаишников, вроде, нигде не видел.

Проскочив рельсы, подпрыгнул и, резко приземлившись, услышал какой-то стук, но не придал значения, однако когда въехал в промзону и затрясся на ухабах, стук зачистил, а на резком повороте и вовсе превратился в хруст. Хрясь! Машина клюнула в бок, Павел быстро сбросил газ и нажал на тормоз. Машину еще немного протащило вперед, и она окончательно замерла.

У Павла потемнело в глазах. Нет, он не ударился, не ранился, — потемнело от злости, вспыхнувшей мгновенно. Он открыл глаза, чертыхаясь (не доехал до работы какой-то сотни метров!), выбрался из салона. Правое переднее колесо оказалось свернутым набок, — вот хрень! И что теперь? Только этого не хватало!

Павел недовольно хлопнул передней дверцей, щелкнул сигнализацией и, не прихватив с собой даже рюкзак с едой, понуро побрел к базе.

Миха заметил его издали, вышел навстречу.

— Чего у тебя там? Твоя новая тачка?

— Новее не придумаешь. Не знаю даже, что теперь делать.

— Пошли глянем.

Они вернулись к машине.

— Как пить дать, шаровая, — констатировал Миха. — Жаль не работаем, кто-нибудь из наших водил помог бы. И Егорыча нет, — тот сразу бы чего-нибудь сообразил. А так... Чё тебе сказать: гони в авто-сервис. Он неподалеку, за складом сантехники, где мне на дачу трубы брали, помнишь? Пешком дойдешь. Он должен уже открыться. Ну что, добежишь? Я подожду еще немного, пока разберешься или хотя бы подтащишь машину поближе к базе.

Павла долго убеждать не пришлось, вскоре с одним из мастеров на его транспорте он подъехал к своей «шестерке». Тут и гадать было нечего: конечно же шаровая. Машина явно не первой свежести, да и пробег скорее всего скрученный.

— Но она только пару дней как из салона.

— Так такие и сдают в салон, чтоб подмарафетить и продать. Не мог найти что-нибудь получше? — вылез из-под «шестерки» мастер.

— Да я не выбирал, мне подарили.

— Понятно. В общем, страшного ничего не случилось, шаровые у нас на складе для твоей модели, по-моему, есть, и я смогу поменять тебе ее прямо здесь. Бабками располагаешь?

— Найду, — вздохнув, сказал Павел.

Мастер оказался опытным механиком, к обеду все заменил, Павел уже на собственном ходу заехал на базу. Миха ушел, как только стало понятно, что он больше не понадобится. Павел отдал почти все свои оставшиеся до зарплаты деньги в надежде, что зарплата, как обычно, поступит завтра. Только что теперь делать с машиной, нужна ли ему такая, чего от нее ожидать дальше?

Павел сел на скамейку напротив своей «шестерки». Лучше бы отец ничего ему не дарил, чем дарил такую туфту! Груда металлолома. К тому же, как сказал мастер, еще и битая, профессионально зашпаклевана и выкрашена.

Павел поднялся наверх. Надо было бы поесть, но кусок в горло не лез, голова шла кругом. Плюнуть на всё, отогнать ее обратно отцу, пусть сам, что хочет, то и делает с ней!

Уже было раз, он смог тогда, помнится, после эпизода с заброшенным купеческим домом показать отцу козью морду. Через неделю или две он все-таки вернулся в пустой дом и сумел преодолеть свой страх.

Праздновали, кажется, день рождения отца, был небольшой круг близких семье друзей, человек шесть или семь, не считая родителей.

Павла и тогда за один стол со взрослыми не посадили — отцом не велено. Павел тупо глядел в крошечный телевизор в клетушке бабы Раи, которую отец также спровадил после двух тостов:

— Ладно, мама, идите к себе, отдыхайте, мы дальше сами.

Никто из приятелей отца не возражал: они давно привыкли к подобным отношениям между Коломольцевым, его матерью и сыном.

— Старушке надо отдыхать. Идите, мама, — безмятежным, не требующим возражения голосом выпроводил ее из комнаты отец.

Когда Павлу надоело, он вышел к гостям и стал у порога. Отец недовольно обернулся:

— А, наш герой. Чего тебе? Почему ты не с бабой Раей?

Павел опустил глаза:

— Можно погулять?

— Погулять?

— Пусть пойдет, — вклинилась мать Павла.

Отец хмыкнул, был навеселе, добр.

— Ладно, иди, только не до темна, потеряешься, искать тебя никто не будет.

Павел развернулся и пошел обуваться, но у вешалки с одеждой до него донеслось:

— Недавно ходили с ним в парк к заброшенному купеческому дому — знаете такой. Подвел его к одному из окон, посадил и говорю: загляни, мол, внутрь, там так интересно, а он как заревет, забрыкается, насилу удержал; вырвался, чесанул из парка так, что аж пятки засверкали! Даже свою любимую машинку где-то выронил. Не иначе, внутрь дома уронил, когда за раму цеплялся. Вот герой! В кого только? Пить дать, в тебя, Тома, ты такая же ужасная трусиха, — засмеялся отец и все, кроме матери, дружно поддержали его.

Павел натянул пальто, надел ботинки и вышел. Все смеялись. А что было смешного? Что он испугался? Да, испугался и очень сильно, но он не бежал, отец наврал, — зачем? Чтобы смешнее было?

Герой... Отец хотел сделать из него героя? Но разве так делают героев? Да и делают ли их вообще? Героями становятся. Сами. Только как? Павел не знал. Да, наверное, никто этого и не знает, как из обычного, простого человека получается герой. Конечно же, он, Павел, не герой. А отец? Отец разве герой? Особенно после того случая, с заброшенным домом. Да, он, Павел, не герой, но он еще больно мал был, поэтому и не мог быть героем, разве отец не понимал этого? Не слишком ли многого от него требовал? Павел же не Геракл, про которого читала ему когда-то баба Рая, который голыми руками задушил в собственной колыбели двух змей; он просто маленький мальчик, которого утром родители уводят в детский сад, а вечером из него забирают, который радуется блестящему толстому жуку на стволе дерева, новой игрушке, ка-

рамели, качелям на детской площадке, мячу, который можно попинать во дворе, ручью, бегущему по весне по улице, выпавшему снегу, ледяной горке... *От страха выронил машинку...* «Вот возьму и найду», — как толкнуло тогда что-то Павла. И он на самом деле дошел потом до парка, — ходьбы-то было два шага, день, светло, — влез в пугающую открытую форточку, спрыгнул на пол и, когда глаза немного привыкли к полумраку, смог разглядеть и крутую лестницу на второй этаж по центру дома, и широкую дыру в потолке, через которую сквозь сосновые ветви в дом просачивался рассеянный свет, попытался отыскать свою игрушку, но у стены не нашел. Оглянулся вокруг и в нескольких метрах от себя, ближе к лестнице, но за пределом узкой полоски света увидел то, что могло быть игрушкой: маленький темный предмет. Скорее всего, упав с высоты, машинка ударилась об пол и отлетела, а теперь ждет, когда Паша ее заберет. Собственно, только для этого он и вернулся, но еще не решался приблизиться к своей игрушке, потому что чуть дальше, почти под лестницей, одна из комнат, без двери, зияла мрачной, пугающей чернотой.

Некоторое время Павел глаз не мог от нее оторвать. А потом как сработало что-то, наваждение отступило, Павел снова ощутил свое тело, быстро подбежал к бледной полоске света, подхватил с пола игрушку, в доли секунды взобрался на подоконник, нырнул в проем окна и выбрался наружу.

Гости еще не разошлись. Отец павлином с распущенным хвостом восседал во главе стола, острил, лучился по-прежнему, когда Павел вошел в дом и, не разуваясь и не сняв пальто, прошел в большую комнату и кинул найденную машинку перед отцом прямо на стол.

— О-па! — воскликнул, не удержавшись, один из друзей отца. — По ходу, твой сын тебя обошел: вернул-таки свою игрушку!

Коломольцев стал чернее тучи.

— Иди к бабушке, — только и процедил сквозь зубы, — я с тобой потом поговорю!

Павел вышел, но «потом» его уже не пугало, — черная дыра заброшенного дома все-таки что-то изменила в нем.

Теперь, спустя несколько лет, Павел понимал это яснее, а тогда он только почувствовал, что больше не хочет выглядеть перед отцом героем и ему уже все равно, что отец или другие, такие же, как отец, про него подумают — он теперь сам по себе, они — сами по себе. Насколько можно... *Никому не хочется услышать, что ты сам виноват в этом.* (Правда, тем же вечером, когда гости разошлись, подвыпивший отец, все-таки отшлепал Павла и впихнул его в угол, накричав на свою мать

и жену, но в сравнении с черной дырой в заброшенном доме это было уже не такое яркое впечатление...)

Павел очнулся. Охранная будка, ослепший многоглазый аргус на залитом солнцем столе (метеорологи не угадали, обещая не больше четырех тепла). Давно перевалило за полдень. Как долго он пребывал во сне? Или в трансе. Он сидит на стуле, значит, не ложился, как обычно, после обеда. Но спал или не спал? Привидевшееся было словно сном, гадким сном, но ведь все, что сейчас всплыло у него в сознании было на самом деле, только давным-давно, Павел уже, казалось, и забыл об этом, но вот будто из ниоткуда явился отец и все прежние страхи разом пробудились с его появлением. Возможно ли? Ему было тогда всего пять или шесть лет, теперь двадцать два. Оказывается, прошлое никуда не ушло, только притаилось на время, чтобы вырваться на волю в самый неподходящий час.

И все-таки что делать с «шестеркой»? Вернуть или не возвращать? Плюнуть отцу в лицо или притворяться и дальше, что все между ними замечательно?

В думах и сомнениях Павел промаялся до вечера, но как стемнело, окончательно определился (*Тварь я дрожащая или право имею?*), выехал за ворота, выпустил из клетки Лапифа («Охранять!») и рванул к отцу.

Одна фальшь и притворство, подзуживал себя, одно враньё и лицемерие. Наверное, у нас по-другому и не умеют. Хоть в чем-то, хоть где-то, но соврём. Не здесь, так там. Хоть наверху, хоть внизу. Осточертело! *Богу богово, кесарю кесарево*. Не надо мне от вас ничего!

Заметив впереди припаркованный у дома «Ниссан» Леры, направил свою машину прямо на него.

Удар пришелся в переднюю — водительскую — дверь. Завыла сирена, но Павел, и глазом не моргнув, выбрался из «шестерки» и, не оборачиваясь, как ни в чем не бывало, поковылял со двора. Выйдя на дорогу, поймал такси и выключил свой сотовый. Тяжесть как будто спала с души. Что будет дальше, его уже мало волновало.

Вернувшись на базу, Павел потрепал по загривку Лапифа:

— Как у тебя дела, мой друг, никто вас не беспокоил? Вот и хорошо. Иди отдыхай, и я немного отдохну. Думаю, на завтра нам понадобится много свежих сил. Я, кажется, развязал войну. Не на жизнь, а на смерть. Надоело, понимаешь, унижаться!

Павел поднялся наверх, упал на диван и тут же заснул беспробудным сном, словно накануне разгрузил целый вагон с влажным сахаром в мешках в одиночку.

Но под утро — снова Лера, только покрашенная, как разбитная готка. Он душит ее, а она смеется, гримасничает, улыбка не сходит с ее лица, как будто навечно отпечаталась на коже. А неподалеку — Даша, плясится на них во все глаза и даже не пытается бежать.

— Уйди, — бросает ей недовольно Павел. — Уходи! Не смотри!

Но Даше хоть тресни.

— Чего тебе надо? — хрипит Павел, и Даша вдруг подлетает к нему и начинает шелестеть в самое ухо:

— Убей ее! Убей эту грязную мамочку, курву, каких свет ни выдал, — она ведь даже отцу ни в чем не призналась!

Павел глянул на Леру, а та уже закатила глаза, но не от удущья: лицо ее пылало откровенным вожделением, на самом деле, как у последней потаскухи.

Коварная улыбка сладострастия, она и Ставрогина довела до того, что из-за нее он готов был убить Матрешу...

15

Утром Павел поднялся, как после глубокого похмелья, включил сотовый. Семь или восемь пропущенных звонков. Все от отца. Последний — в шесть утра. Надо готовиться к худшему. Но что он сделает? «Ниссан» точно не восстановит — денег таких не найдет, а «шестеркой» никто и заниматься не будет, — проще сдать в металлолом, поболее выйдет.

Павел хмыкнул. Вот тебе и новая встреча, вот тебе и воссоединение семьи. Ты жаждал любви и понимания, отец? Зачем тогда терроризировал в детстве, хотел самоутвердиться? Ладно, бросил мать, это ваши, взрослые дела: понравились — сошлись, разочаровались — разошлись. Но ведь остался я. По кой черт меня зачали, произвели на свет и заставили страдать? Пока болтался у тебя под ногами, еще воспринимал, развелся — забыл. Живите, как хотите, сбрасываю с себя всякую ответственность, — как удобно! Теперь требуешь от меня понимания. О родительской любви вообще молчу. Как и об уважении и гордости за тебя. А я хотел бы тобой гордиться. Так, как гордился своим отцом хотя бы Васька Демичев, что вечно пропадал на улице. И не зря гордился. Весь район тогда славил Васькиного отца. Их, к тому времени десятилетних, Павла, Ваську Демичева и Саньку Скворцова черт понес в обычный выходной на стройку, в пятиэтажный дом без крыши, — дети

есть дети. Не помнит, чего они искали там, но только наткнулись на двух переростков семнадцати или восемнадцати лет (для них, тогдашних шпингалетов, это были настоящие великовозрастные пацаны), которые на одном из этажей, сидя на деревянных ящиках, прямо из горла потягивали «три семерки».

— А ну, мальцы, канайте сюда, — заметив их, крикнул тот, что помладше, белобрысый, словно вытравленный перекисью, хмырь. Мальчишки подошли. Белобрысый поднялся, окинул мальцов холодным взглядом, потом рывкнул:

— Чего тут забыли? Спереть, что ли, чё пришли? Ну-ка отвечать! Ты! — ткнул пальцем в Павла.

— Ничего мы не хотели спереть, просто полазить пришли.

— На стройку? Лазить больше негде?

— Есть, — сказал Павел.

— Этот, видно, самый деловой, — ухмыльнулся белобрысый собутельнику.

Тот поднялся, приблизился, оказался кривым на один глаз, с лицом, изрытым оспинами, и тоже попытался в полтора глаза рассмотреть мальчишек.

— А ты чего молчишь? — белобрысый схватил за ворот рубашки Саньку, на полголовы ниже его, и неожиданно врезал ему под дых. Санька упал, скрючился, стал задыхаться.

— Один готов, — снова ухмыльнулся белобрысый. — Кто следующий?

Кривой стиснул предплечье Павла, потянул в сторону, как на закланье.

— А ты пока стой. Поговорим с этим, вернемся к тебе, — продолжая улыбаться, бросил Ваське белобрысый и потащился за кривым. Павла приткнули к стенке.

— Значит, самый деловой? — пробубнел кривой. — Ну-ка, врежь мне!

— Дай, я ему врежу, — стал подпрыгивать на месте и выбрасывать кулаки, как боксер, белобрысый, но тут, неожиданно для всех, Васька сорвался с места и стремглав понесся по ступенькам вниз.

— Оба-на! — обронил белобрысый, остановившись.

— Да-а, брат, друзья у тебя, — кинул кривой Павлу и сплюнул на пол. — Ну, извини, — выходит, тебе достанется больше, — сказал и попытался было садануть Павла по скуле, но тот интуитивно подставил плечо, и удар скользнул по уху. Кривой не ожидал такого от мальчика.

— Опа-на! — выдохнул белобрысый. — Борзой, что ли?

Задуматься над поступком Васьки было некогда, Санька по-прежнему валялся на полу в ворохе строительной пыли, Павел, как мог, отбивал удары двух вошедших в раж алкашей. Вырубать они, однако, его не спешили, хотели, наверное, в полной мере упиться своей властью, но это оказалось их ошибкой: не прошло и пятнадцати минут, как на этаж взлетел отец Васьки Демичева. Недолго думая, с ходу отрубил одного, потом переключился на другого и стал метелить его по полной. Сам Васька уже поднимал с пола Саньку и усаживал его на ящик. Павел, опустившись на пол, с наслаждением глядел, как Васькин отец пинает их недавних глумителей. Если бы не ныло под ложечкой и не саднили скулы, он и сам бы присоединился к нему. Но сил больше не было (он и так удивительным образом продержался, сам от себя не ожидал). Вот каким должен быть настоящий отец: в любую минуту прийти на помощь. Павел и Санька были ему благодарны. Васька мог по праву гордиться своим отцом. Можно было только позавидовать.

«Где же ты тогда был?» — думал Павел, мысленно возвращаясь в домик охраны и все еще не поднимаясь с дивана. Однако обязанности обходить территорию, так же, как и кормить собак никто не отменял. «Как будет, так будет. Что пошлет Бог, то и приму», — решил Павел.

Отец появился в десять. Добрался, наверное, на такси. Собаки учуяли чужака метров за тридцать; когда отец приблизился к воротам, уже всю драли глотки. Отец снова набрал Павла по сотовому. Павел смотрел на оживший экран телефона и все еще не решался отвечать. В конце концов нажал на зеленый кружок и неопределенно сказал:

— Да?

— Павел? Паша? Ты?

— Да, — снова сказал Павел.

— Ты на работе?

— Да.

— Я заезжал к тебе домой, но никого не застал. Ты где сейчас? Я у ворот вашей фирмы, ты можешь выйти, если на месте?

— Да, сейчас.

Павел выключил сотовый. Отец вроде разговаривал спокойно. Перегорел или, может, поостыл? Но ему-то, Павлу, чего бояться? Отбоялся давно. Отец сам виноват: нечего было строить из себя родителя, когда столько лет о нем, собственном сыне, ничего и знать не хотел. Теперь решил подмазаться, старые грехи замолить. Не поздно? Не получается у него что-то.

Павел спустился вниз, шуганул собак, они сразу же скрылись в своей конуре. Умолк и Лапиф. Павел вышел за ворота, посмотрел на отца. Тот поздоровался, но отвернул лицо, как будто сам натворил бед, ناشкодничал. Но видно было, что он недоволен и как может сдерживает себя, чтобы не вспылить.

— Не пойму, зачем ты это сделал, что хотел этим доказать? Не понравился подарок, сказал бы просто: «не такая» или вообще бы не брал. А зачем разбил машину Леры? В голове не укладывается.

Отец прервался, Павел втупился в землю; подошвы туфель у отца испачкались грязью. «У нас тут всегда сплошная грязь», — мелькнуло у Павла.

— Я думал, — продолжил отец, — мы все-таки сдружились с тобой и все, что нас разделяло, осталось в прошлом. Видно, ошибся, жаль. В общем, ты должен знать: мы с Лерой решили не подавать на тебя в суд. Но и на другую машину, ясное дело, больше не рассчитывай, — мы не настолько богаты, чтобы потакать твоим прихотям. И, наверное, больше не будем с тобой встречаться у нас дома, — ты слишком обидел Леру, сам понимаешь.

Отец замолчал. В какую-то минуту Павел осознал, что дальше — тупик. Им больше не о чем говорить. Дальше они только закипят, как вода в кастрюле под крышкой, и вырвутся наружу фонтаном эмоций. Тогда они найдут уйму слов, только какие это будут слова, можно и не догадываться. *Отцы, не раздражайте чад своих.*

К счастью, до крайностей не дошло — к базе подкатила «бэха» начальника охраны. Роман Петрович выбрался из машины, окинул отца оценивающим взглядом.

— Ты еще что за хмырь?

Потом к Павлу:

— У тебя все в порядке?

— Все нормально. Это мой отец, — ответил Павел, не глядя на отца.

— Ладно, я подожду на базе. Есть разговор. Надеюсь, ты недолго.

— Уже закончили, — бросил Павел.

— Да, да, мы все выяснили. — Отец сразу как будто сник, постарел, расклеился.

— Тогда счастливо, — сказал Петрович и грузно поковылял к калитке. Павел потянулся за ним, у калитки обернулся. Отец уходил, словно не видя дороги, будто придавленный тяжестью пиджака и горя.

«Сам виноват, — подумал Павел, — нечего было строить из себя родителя, пожиная теперь горькие плоды своих стараний».

— Что у тебя? — Петрович словно сканировал лицо Павла.

— Да ничего. Так, давно не виделась, — пожал плечами Павел.

— Ну ладно. Я чего приехал? Сможешь еще одни сутки отдежурить? Я сейчас поеду, заберу с больницы Егорыча, его вроде выходили. Послезавтра он сменит тебя на двое суток. Дальше снова ты, два по два, как со Стополем.

— А он что?

— Уволен. Степаныч давно хотел это сделать, — распоясался Мишка малость, обнаглел, стал железо с базы потаскивать. Не замечал никогда?

— Не видел, — Павел и глазом не моргнул. — Дураком надо быть — кругом одни камеры.

— И я о том же. Ну ладно. Вот тебе немного денег, дойдешь до камка, купишь себе на завтра чего-нибудь. И еще пачка чая и банка кофе.

— Спасибо. Чай и кофе возьму, а денег не надо, сегодня должна прийти на карту зарплата.

— Ну, как знаешь, — сказал Петрович, потом пристально посмотрел на Павла и сказал: — У тебя точно нет проблем?

— Да нет, все нормально.

— Добро. Тогда я поехал за Егорычем. Если что, — звони.

— Ладно.

Павел остался один. Неприятный осадок от появления отца не проходил. Как-то нелепо все произошло. Лучше бы отец накричал на него или залепил пощечину, он, может, почувствовал бы в нем отца, но отец и тут оплошал, облажался, не проявил себя мужиком, стоял и мялся, как тютя, нес что-то несуразное, как будто извинялся; будто сам разбил машину жены. Рохля, а все время выдавал себя за крутого. Может, где он и крутой, но тут повел себя не самым лучшим образом.

Павел пошарил по полкам. Запаса круп для кормежки собак хватит дня на четыре, а там, Петрович сказал, подвезет. До обеда, Павел надеялся, зарплату перечислят, и он сможет пойти купить чего-нибудь себе на завтрашний день, хоть той же *бэпэшки* — китайской лапши, благо небольшой продуктовый магазинчик рядом.

Миха. Доигрался—таки, не хватило ума сообразить, что раз начали лепить камеры, значит, есть тому причина: начальству надоело, что все тащат, тибрят, волокут. Хоть железо, хоть проволоку, кабеля, поддоны, стройматериалы, — кто что может по мере сил и возможностей.

Опять телефон. Вот те на — на ловца, как говорится, и зверь бежит, — Миха. Как почуял, что он о нем думает.

— Привет, как дела, сторожишь?

— На работе. Петрович только уехал, сказал, что меня сменит Егорыч. Тебя, как я понял, сократили?

— Сократили? Уволили нахрен без выходного пособия и возврата долгов! Харя сука! Приперся ко мне вчера, на разговор вызвал. Какую-то скрытую камеру я все-таки проморгал. С железом облажался.

— Живой хоть?

— Да так, немного расквасил губу, ухо зацепил, да правый глаз затек.

— Ну, хоть не убил.

— Сплюнь. Пусть радуется, что я его не убил. Было бы это не у меня дома, я ему, псу паршивому, пасть бы порвал.

Павел не стал с ним спорить.

— За вещами приедешь? Или мне увезти к себе домой, а ты потом заберешь? Петрович сказал, на территорию тебя не пускать.

— Чихать на эту дрянь. Что там: задрипанная фуфайка, старые сапоги да посуда? Пускай подавится. Я к тебе по другому поводу. Обдумал мое предложение? Решил что? Тебе не сказали, что зарплата в этом месяце придет с задержкой? Но я думаю, ее вообще не будет, пока всё с ковидом не устанится. Решайся.

Павел заскрипел зубами.

— Не приставай. Сказал тебе уже раз «нет», значит, — нет.

— Ну и балда, придурок. Зассал, что ли? На что жить собираешься? Говорю тебе: в сейфе у Степаныча бабла немерено. И лазейка есть... К тому ж на тебя никто и не подумает. Что ты, как сосунок!

— Нет, извини, — Павел выключил телефон. Только этого ему не хватало. И так жизнь не сахар, проблем полон рот. Да и какие там деньги? Держать на работе большие бабки только олух способен. Да и потом: заберись попробуй, рано или поздно все равно узнают, найдут. Куда скроешься?

Павел включил греться плитку, варить кашу собакам. О Михаиле и думать не хотел, но отец не выходил из головы. Интересно, если бы у него самого был сын. Наверняка будет. Каким он был бы отцом? Правильным? Но что такое «правильный»? Любящий, заботливый, внимательный? Научить сына различать добро и зло, — сможет ли, он же не Честерфилд какой-то? Да и тот, наверное, своему отпрыску ничего не вдолбил, хоть и старался. Научить практичности? Но сам отец практичный ли? Вечно попадает в какие-то передраги, не может (а иногда и не

хочет) уживаться с другими. Ему давно уже намного комфортнее существовать одному.

Павел спустился вниз. Собаки вьюном закрутились у его ног.

— Не наседайте, не наседайте, — вылил он похлебку в большое блюдо и прошел дальше к Лапифу.

— Лапиф, Лапиф, иди сюда, дорогой, поешь! — позвал он своего четвероногого приятеля. Лапиф выбрался из конуры, засеменил к дверце.

— Красавец, давай хлебай. Я, может, тебя еще и выпущу, разомнешься немного. Дай бог, сегодня больше гостей не будет, надоели.

Павел влез в вольер, поставил миску на пол, опустился рядом, продолжая говорить и глядеть, как Лапиф ест, причмокивая и то и дело вскидывая на Павла глаза.

— Один ты меня понимаешь, — закончил Павел, как заканчивал всякий раз, разговаривая с Лапифом.

Когда собаки поели, он закрыл их в конуре, а сам выпустил Лапифа наружу, и они вдвоем пошли бродить по территории базы.

Он бы научил своего сына, как его Егорыч, разбираться в технике, научил бы дружить с животными. Книжки? К этому вряд ли приучишь, к этому должен появиться интерес, заставлять — только отвращать. Его никто не заставлял читать. Но это вопрос спорный.

Обойдя территорию, Павел запер Лапифа, выпустил шавок и поднялся в будку охраны. После обеда, если никто не побеспокоит, можно и вздремнуть, как обычно дремал он в выходные дни на дежурстве. Частенько сон сглаживает проблемы или помогает найти их решение. Но разве у него проблемы? Он и Петровичу ответил отрицательно, себе-то зачем врать? Все у него хорошо. Он надеется, так будет и дальше. Пока судьба к нему благоволит. Ну, и слава Богу.

16

Наполнив желудок тарелкой борща (со свежим хлебом и чесноком вприкуску он и не заметил, как проглотил его), Павел сидел у монитора охраны — многоглазого Аргуса — в ожидании, когда закипит чайник, вяло рассматривал один за другим крохотные экранчики — живые пазлы их территории, когда неожиданно внизу залаяли шавки и, судя по удаляющемуся звуку, метнулись в сторону конторы.

Павел пристальнее окинул взглядом каждый из экранчиков и на седьмом заметил какое-то движение, увеличил экран. Вот те на! Какой-то чел в бесформенных лохмотьях и черной шапочке по ливневому отводу под бетонным забором со стороны болотины прополз на террито-

рию. Собаки неспроста галдели! Но в ту промоину легко пролазят только дворняжки, обыкновенный мужик не то что голову, зад не сможет втиснуть, а этот — глядите-ка! — на удивление проскользнул. Вот дрыщ безмозглый! И что теперь? О чём он думал? Что раз пандемия, все на самоизоляции, предприятия не работают, — охранять их тоже не будут? И, удивительно, собак совсем не боится. Или понадеялся, что они заперты, смотрел, быть может, из-за задней калитки, наблюдал, камеры видел, решил, что живого охранника нет? Но охранник, охранник-то по-любому должен быть на месте, — он совсем из ума выжил? На что только рассчитывает?

Просто поражаешься на людей, — до чего некоторые могут быть беспечны. И куда же он направится? Стало даже интересно. И почему умолкли собаки? Лапиф, правда, отрывисто стал погавкивать.

Тем временем мужик поднялся, но не в полный рост (жаль, Павлу не видно его физиономии. Бомж, явно бомж, не всех еще, видно, вытравили настойкой боярышника!), осмотрелся, насторожился, прислушался. Но это что? Шавки подбежали к нему и вьюном закружились вокруг, завивали хвостами, повизгивая и подпрыгивая, чуть ли не просясь к нему на руки! Нападать, видно, совсем не собирались! Он как-то приручил их? Может даже, подкармливал некоторое время. Кто тогда он такой? Сторож одной из соседних баз? Может и так, — эти шавки бегают по всей территории промышленной зоны, где лучше прикормят, там и заночуют. Тогда точно неясно, на что он рассчитывает. И Лапиф не умолкает, но тому хоть бы что! Значит, знает он, что самый опасный зверь надежно заперт в клетке.

Павлу даже стало интересно. Что же он задумал? Хочет поиграть в кошки-мышки? Всегда пожалуйста! К вашим услугам!

Павла охватил азарт: только бы не спугнуть, а может, поймать. Хотя, выпусти он Лапифа, тот, и к гадалке не ходи, оставит мужичка без рук, без ног, а то и вовсе загрызет, — мужичок вряд ли пулей пролетит под забором, где-нибудь, да застрянет. Что тогда Павел будет делать? Нет уж, шугануть подобру-поздорову и не париться.

Павел загудел центральными воротами, немного приоткрыв их, а потом закрыв кнопкой из будки — пусть лучше наложит в штаны, поняв, что сторож все-таки на месте (Павел аж расхохотался, представив себе эту картину), но мужичок и не думал бежать, цыкнул на шавок, чтоб отстали, нырнул в тень, прижался к стене конторы. Вот наглец! И камеры для него ничто, — он же видел камеры!

Да, ситуация, можно сказать, обостряется. И как ни хотелось, но Лапифа все-таки придется выпустить. Жаль, нет автоматического открывания решетки вольера.

Павел спустился вниз, позвал Лапифа, открыл его клетку, но к ошейнику прицепил поводок и только тогда выпустил.

Лапиф тоже рванул за шавками, чуть ли не потащив за собой Павла. Но что это? Бомж поднял голову на рык Лапифа, и Павел остановился как вкопанный — Миха!

— Лапиф, фу! — придержал собачий поводок Павел. — Миха, придурок, ты что тут делаешь? Я же мог выпустить Лапифа, и он загрыз бы тебя в два счета! Ты чего?

— Послушай, Паша, друг, я понимаю, — тебе ни до чего, но лучше сделай так, как я прошу. Вскроем контору, удалим все записи. Кого ты из себя корчишь? Посмотри вокруг: неужели не понимаешь — всем на срать на тебя, а там, в сейфе, поверь, твоя мечта на лучшую жизнь.

— Даже если и так. Но я сторож, а ты уволен, значит, тебя здесь не должно быть. А если уж пролез, я волен натравить на тебя собак, что и сделаю через пять минут.

— Ну идиот! Послушай!

— Нет, послушай ты! Я ухожу, дохожу до вольера и отпускаю Лапифа. Ты знаешь, как он тебя любит. Успеешь уйти обратным путем, — твое счастье; не успеешь, — никто меня за это не осудит: это моя прямая обязанность, — сказал Павел, цикнул на Лапифа, развернулся и направился за угол склада к вольерам.

— Пашка, балда, остановись, одумайся, мы же столько с тобой поработали. Разве ты сможешь натравить на меня этого монстра!

Но Павел был неумолим, и Миха благоразумно бросился обратно под забор, с разбегу нырнул в нее, не дожидаясь, пока разъяренный Лапиф выскочит из-за угла. Уж с кем, с кем, а с ним ему не тягаться — не та бойцовская категория. И сделал правильно: Павел, как и обещал, отстегнул Лапифа от поводка, бросил краткое «охранять» и поднялся в будку охраны. Миха ломанул подальше от забора базы, чтобы Лапиф не вздумал тоже нырнуть в ливневку и пообщаться с ним поближе.

17

На следующий день в семь утра новый сюрприз: за воротами про-сигналила машина. Павел давно не спал, с шести возился с собаками, потом пил кофе.

Директор. Чего приперся? Ладно, работала бы фирма, и то — в такую ранищу!

Павел глянул в окно. Кроссовер директора вплотную к воротам не подъехал, значит, на территорию въезжать пока не собирается.

Степаныч выбрался из машины, вразвалку подошел к калитке, открыл ее своим магнитным ключом. Павел спустился к нему навстречу по ступеням, но директор, весь какой-то заспанный, озабоченный, прошлепал мимо, вскользь кивнув на его приветствие, не поинтересовавшись даже, как дела, не случилось ли чего-нибудь в его отсутствие, как будто Павла тут и не было, а была сплошная стена до самой конторы, которая его и поглотила.

«Ну и ладно», — мелькнуло у Павла, и он вернулся к себе наверх, хотя у него к директору была масса вопросов насчет того же его предполагаемого увольнения, да и не поступившей до сих пор зарплаты, — жить-то на что? Надо все-таки расспросить, когда тот будет возвращаться обратно, не пропустить только, — раз приехал ни свет ни заря, машину не заглушил, значит, долго не задержится, впереди, скорее всего, дорога дальняя.

Павел опустил на стул у монитора охраны, взял свою недопитую кружку кофе и тут ему показалось, что на экранчике с директорским кроссовером мелькнуло какое-то изображение, словно в машине на переднем пассажирском сиденье кто-то находился.

Павел переключил этот экранчик на весь монитор, и теперь директорская машина высветилась четче.

«Ёксель-моксель!» — чуть не вскрикнул Павел. На самом деле, на пассажирском месте впереди кто-то сидел, активно двигал пальцами, нажимая, очевидно, на кнопки своего сотового.

Павел приблизил изображение на сколько можно. Вот-те раз — Лили! Чего она делает в семь утра в тачке директора? Если бы по работе, — то не в такую же рань! Хотя какая работа, если всё стоит, а сотрудники распуцены?

Пересилило любопытство. Павел спустился, выбрался за калитку. Лили — теперь уже можно было не сомневаться, — увидев Павла, ругнулась и попыталась соскользнуть с сиденья вниз, чтобы прикрыться передней панелью, но Павел уже приблизился к ее окну и постучал в него костяшками пальцев, потешаясь над ее наивной, детской выходкой: «я тебя не вижу, значит, и ты меня тоже».

Лили поднялась и опустила стекло.

— Привет, — сказал Павел, продолжая улыбаться.

— Привет, — сказала Лили после того, как вытащила изо рта жвачку и прилепила на сотовый.

— Ты чего здесь? Какие-то дела?

— Дела, — ответила Лили, но как-то растерянно, испуганно, как будто ее застали на месте преступления. Но чтобы не превращать паузу в затянтое молчание (сразу видно, — тертая штучка), быстро переключилась:

— У тебя не будет закурить? — спросила, как будто не знала, что он не курит. Прямо своя в доску! — Ах да, ты же не куришь, — бросила. — Молодец, уважаю.

Лили открыла дверь салона, повернулась к заднему сиденью, прогнулась, представляя Павлу во всей красе свой соблазнительный задок, взяла сумочку, выудила из нее длинную дамскую сигаретку и зажигалку, прикурила, убрала зажигалку в сумочку, препроводила ее обратно на заднее сиденье, потом глубоко затаилась, словно обдумывая, что сказать, и наконец произнесла:

— А разве ты сегодня сторожишь? Егорыча же забрали с больницы, — спросила, как будто ничего особенного не случилось, как будто она постоянно приезжала на выходные с директором, как будто сейчас фирма тоже работала и сотрудники не находились дома. Прямо сама невинность! Но Павел ответил:

— Он выйдет только завтра, а Миху уволили, не знала?

— Почему не знала? Знала. Я и бумаги готовила, — выдохнула она вместе с сигаретным дымом.

— Выходит, и про меня была в курсе? Что меня прежде Мишки хотели уволить?

— Но не уволили же.

— Обстоятельства, видать, поменялись.

— Не знаю.

Павел пальцами перебором простучал по крыше машины и вдруг заметил на заднем сиденье рядом с сумочкой небольшой малиновый чемоданчик, с которым Лили в прошлом году отправлялась в отпуск — он видел ее фото с этим чемоданчиком на страничке «вконтакте», видно, какая-то из подружек сняла, а Лили потом выставила. «Перед отлетом», — было подписано фото. Ах ты лживая сучка, вот как ты, оказывается, работаешь!

— Значит, вы с директором дела решаете? И, видать, не в одной только конторе.

— Ты на что намекаешь? Он лишь заберет документы.

— И ты всегда так решаешь с ним дела? Не на работе, я имею ввиду?

Лили вскинула на Павла округлившиеся глаза.

— Слушай, ты чего ко мне прицепился? Чего тебе надо? Сторожишь, вот и иди себе сторожи, не надо мне мозг с утра выносить.

— Да я и не выношу, просто хочется узнать, что да как. Как мы?

— Что «мы»?

— Ну, мы с тобой теперь как?

— Что? Ты о чём? — Лили аж передернуло, лицо ее перекосила ухмылка, враз исчезла слегка перепуганная девчонка и на ее месте появился возмущенный монстр. — Какие «мы»? Ты чего себе такого навображал?

— Но позавчера...

— Что позавчера? Я попросила тебя забрать меня с вечеринки, только и всего.

— Но мы же... Ты меня...

— Что? Не поблагодарила? Кажется, я сказала тебе спасибо. Чего еще ты ждал? Рассчитывал на большее? Не слишком много захотел? Ты за кого меня вообще принимаешь? — нахмурила Лили выщипанные бровки.

— За свою девушку.

Лили взвизгнула:

— За кого-кого? Твою девушку? У тебя совсем крышу снесло? Какая я твоя девушка? Посмотри на себя, голь лапотная, на свою тупую жизнь, которую и жизнью—то не назовешь. Ты мало-мальски себя не можешь обеспечить, разве сможешь обеспечить хоть какую-нибудь нормальную девушку? Окстись. Иди лучше сторожи, чего торчишь и палишься?

Павел побагровел.

— Ну ты и дрянь. Сука!

— Тебе то что? Отвянь!

Лили швырнула недокуренную сигарету в сторону, сняла с мобильного жвачку, препроводила обратно в рот, захлопнула дверь машины, давая понять, что у нее с ним разговор закончен, и опять воткнулась в экран мобильного.

У Павла не нашлось слов, чтобы ответить на такую выходку Лили. «Да пошла ты!» — только и прошипел он и как потерянный двинулся к базе.

«И тут меня предали», — с горечью констатировал он.

Ноги машинально привели его к конторе. Тишина наполняла длинный коридор с дверьми по обе стороны. Павел потянулся к кабинету директора мимо дверей с табличками справа и слева: «1-е отделение», «2-е отделение», «3-е отделение», «4-е отделение (Одитинг)». Эти

специфические названия кабинетов всегда удивляли его. Как будто попал в какое-то искривленное Зазеркалье, в кафкианскую действительность заигравшегося в тайны и заговоры руководства.

Дверь в приемную была раскрыта настежь, на диване в приемной — небрежно брошенная куртка директора, его кабинет полуприкрыт.

Павел вошел. Директорская плешь чуть выглядывала из-за письменного стола. Сидя на корточках, Степаныч копошился в своем сейфе. Павел кашлянул. Показались удивленные глаза Степаныча.

— Тебе чего? Почему не на месте?!

— Ну, я это... — Павел не знал, с чего начать. — Сторожу. А зарплата, не знаю почему, не пришла. Должна была поступить сегодня.

— Раз должна, значит, поступит, — раздалось уже из-под стола: директор снова закопался в своих залежах.

Павел приблизился к столу, распахнутый зев сейфа раскрыл и ему все свои внутренности.

«А ведь Миха был прав, — вспыхнуло у Павла, — «баксов» тут до чертовой матери!»

Степаныч, краем глаза заметив появление Павла у стола, вскинулся:

— Ты! Ну-ка, пошел вон! Чего всё заглядываешь? Марш на место!

— Но ведь у вас тут столько денег, а у меня ни копейки нет...

Степаныч резко закрыл дверцу сейфа и сверкнул глазами на Павла:

— Я сказал тебе, пошел вон, пока я и тебя не уволил, говнюк! — заиграл он желваками.

— Но это же нечестно, несправедливо, — забормотал Павел.

— Пошел отсюда! Во-он! — побагровев, сжал кулаки Степаныч, но Павел уже как будто и не слышал его, поворотил к выходу и как сомнамбула, с пустыми глазами, побрел из кабинета.

Вот всё и определилось.

В приемной Павел машинально смахнул с дивана директорскую куртку, вышел из конторы, дошел до вольера с Лапифом и отворил его.

«Член группы должен настаивать на своих правах и привилегиях и пользоваться ими. Четвертый пункт кодекса», — кровавым потоком стучало в висках. Иначе никак нельзя. Они же сами так говорили...

— Лапиф, Лапиф, — позвал Павел своего единственного, как теперь оказалось, верного друга. — Нюхай, нюхай, — сунул в морду собаки куртку директора. — А теперь ищи, ищи... Фас!

Когда Лапиф исчез за углом склада, Павел поднялся к себе наверх, переключил экранчик со входом в контору на весь монитор, пододвинул обеденный стол ближе к столу с монитором охраны, взгромоздился

на него, поставив ноги на стул, натянул на себя маску-череп и стал ждать, когда Лапиф выплеснет наконец свой гнев (и гнев Павла) и, удовлетворенный, выйдет из конторы во двор. Тогда и его душа, Павел нисколько не сомневался, окончательно успокоится. А дальше — хоть потоп с небес, хоть земля разверзнься под ногами, ему будет все равно.

Гераклит утверждал, что *восприятие человека ограничено, и мы не способны постичь все причины и следствия; некоторые считают, что то, что кажется нам дурным, может быть необходимым для вселенной.* Может и он, думал Павел, призван в мир и в силу необходимости должен сотворить зло. Этого требует от него божий замысел. А раз так, это развязывает ему руки, он освобождается от человеческих законов, моральных, нравственных, общественных и дальше волен поступать, как вздумается, вернее, как угодно Богу. Он только проводник, добро и зло теперь не его поле деятельности, он освобожден от понятий добра и зла, человеческие ценности больше не должны его тревожить, отныне он не член группы, он — **ОТСТРАНЕННЫЙ!**

В сердце ненависть и холод // Водворились!

18

«Ты прав оказался, отец, что не захотел меня ничему учить, ничего не открыл мне, ни в чем не помог в жизни, — продолжал думать Павел, ожидая возвращения Лапифа. — Ты словно хотел, чтобы этому всему я учился сам, на своих собственных ошибках. Ты не захотел брать ответственности на себя за мое будущее; наверное, хотел, чтобы я сам все постиг, сам стал сильным, крепким, — кремнем, а не пластилином. Это было твое новое видение, твое передовое убеждение вопреки устарелому, архаичному, которое подразумевает отцовскую заботу не только в том, чтобы поднять на ноги своего потомка, но и воспитать, насытить, наполнить личным опытом и знаниями, чтобы в дальнейшем он мог увереннее двигаться по жизни дальше. Но сделал ли ты лучше мне, с младенчества отпуская в утлом суденышке в свободное плавание, лишив этого судна не только паруса, но и весел? На своем опыте убеждаюсь, что ничуть не лучше. Чем я заслужил такое к себе отношение? Почему, будучи ребенком, самым, должно быть, счастливым существом на свете, я страдал? Был изначально грешен? Или сразу начал грешить еще в младенчестве? Хотя, судя по моей несостоявшейся жизни, грешили больше надо мной. В том числе и ты, отец, кровь от крови, плоть от плоти моя родня, заставляя меня страдать, сам не страдая. Как же тогда понимать библейскую дефиницию «раз страдаешь, значит гре-

шен»? Кто прав? Бог не наказывает непорочных, значит, я порочен, раз наказан, и (по Лютеру) — добыча дьявола? Но если я страдаю за чужие грехи? Чьи? Матери, отца? Их родителей? Бабушка Рая тоже ведь страдала. Кто был виновником ее мытарств? Тоже ты, отец? Тогда почему ты не наказан дважды, а, наоборот, поощрен?

Я мог бы сказать, как Лермонтов: «Не мне судить, виновен ты или нет», но не могу. Другой жизни потому что не знаю. Я жил так, как отчасти ты построил мою жизнь. Ты даже внушил мне отвращение к отцовству, я раздумал заводить семью и рожать детей, испугался, что буду их воспитывать так же, отыгрываясь на них за свое унижение в детстве, поэтому и твои гены этой ветви твоими же стараниями прервутся навечно. В этом ты весь. Ты не прислушиваешься к голосу Бога в себе, ты слушаешь голос своего разума, а он у тебя насквозь прогнал. Но, может, ты никогда и не искал Бога внутри себя? Поэтому тебе и не у кого было спросить. А я после твоего ухода остался один, и матери, и бабушке тоже было на меня наплевать, особенно когда они все чаще и чаще замечали у меня, подрастающего, твои проступающие на моем облики черты. Ты и их испоганил, неосознанно настроил против, превращая меня в изгоя.

До того, как встретился с тобой, думал, что я самый обычный человек на свете. После встречи с тобой — что я урод. В этом ты убедил меня, показав, как счастливо ты живешь: имеешь молодую любящую жену, дочь, квартиру, машину, престижную работу. У меня этого ничего нет, и ты мне снова доказываешь, какой я ущемленный, а значит, ущербный. А я не хотел им быть никогда, поэтому искал в себе другого и, как мне кажется, нашел.

В уме своем я создал мир иной // И образов иных существовань.

Признаюсь честно, я до конца еще не понял, кого в себе отыскал, но то, что мой внутренний ОН открыл мне глаза, — об этом знаю наверняка. И в этих широко открытых глазах ты, отец, не предстал в лучшем виде, даже когда на короткий миг обернулся на меня. Не приглянулся мне и твой мир, с вашим плотоядным упоением рабского существования, которое вы сами для себя избрали, с вашей *пошлой вежливостью червей*, как выразился один классик, даже когда истребляете друг друга... Мне такой мир противен, меня тошнит от него. Я лучше покончу с ним, как Артур Рембо: молодым, насыщенным, недостижимым. Бог меня все равно примет: я пришел в этот мир едва наполненным, уйду — наполненным до краев, душа моя отныне — не пустая оболочка, но ампула с живительным раствором для будущего сосуда, возродившегося, может быть, где-то на просторах иной галактики...»

ТЕАТР

Вячеслав Кушнир

г.Инта, респ.Коми

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО

водевиль



памяти Олега Нагорничных

место действия: провинциальный городок

время действия: середина 90-х г.г. 20 века

действующие лица:

ЛАРИОН, младший брат, 18 лет

КИРИЛЛ, средний брат

ПЁТР, старший брат

БЕЛЛА — бывшая жена Кирилла

ВАЛЕНТИНА — жена Петра

КЛЁПА, заневестившаяся дама

ВЕРА, её младшая сестра

ЧЕЧЁТКИНА, подруга Клёпы

КЫН, оперная дива

КАРТИНА 1. Комната в дачном домике.

СЦЕНА 1. Пётр и Валентина, оба обуты в валенки, одеты в телогрейки и тёплые шаровары.

(Пётр и Валентина поют о том, что с милым и в шалаше рай, если даже рай — это всего лишь клочок земли, возделанный двумя влюблёнными друг в друга грешниками, проживающими в аду.)

Входит Белла, одетая ярко и безвкусно в якобы рабоче-крестьянскую одежду для работы в огороде.

ВАЛЕНТИНА. В собственном доме нет покоя. И ходят, и ходят...

БЕЛЛА. Спасибо за картошку, хозяйева.

ВАЛЕНТИНА. Яму закрыли?

БЕЛЛА. Всё чин-чинарём, Валя.

ВАЛЕНТИНА. Проверю.

БЕЛЛА. Кто бы сомневался. Ну, поехала я? (После паузы.) Что-то передать Лариончику? Пришли бы в гости, то есть приехали, конечно. Дать денег на автобус? (После паузы.) Гордые. Гордыня от ума идёт, — так моя прабабка говорила. А умные на сегодняшний день все носом землю роют. Мы ведь могли бы и в магазине картошку купить, но на своём, проверенном дерьме оно всегда вкуснее.

ВАЛЕНТИНА. Тебя грузчики заждались.

БЕЛЛА. Их проблемы. Молчишь, Пётр. А ведь я вас вроде не обижала. Сами себя сделали, как дети, а виноваты все вокруг. Предупреждала же, не лезь в бизнес. Так он ещё и квартиру заложил! Времена в России всегда одинаковые, хоть при князях, хоть при грязях: не мозги и законы правят нами, а связи.

ВАЛЕНТИНА. Зато теперь есть, кому для вас носом землю рыть.

БЕЛЛА. Молчит ведь! Ты ему с голодухи язык что ли откусила, Валь?

ВАЛЕНТИНА. Всё, кати отсюда.

БЕЛЛА. На днях, Ларион к тебе приехать собрался. За благословением. Женю я его. А что? Выгодная женитьба — единственный выход для сегодняшней молодёжи, если папка с мамкой не воры и не в законе.

ВАЛЕНТИНА. На ком?

БЕЛЛА. А этот даже не дёрнулся! Скажу, не люблю темнить. Есть такая девка, зовут Верка, фамилия Хитлер. Ей всего восемнадцать лет, а она при таких капиталах сидит, которые захочешь перевести, не выйдет. Капиталы её — не деньги, а связи, что остались от родителей. Сама шустрая, с башкой! Так у неё сестра есть. Дура от природы. Тридцатилетняя девица. Благословишь, Пётр?

ВАЛЕНТИНА. На кого: на умную или дуру?

БЕЛЛА. Глупый вопрос, кто при здоровом уме возьмёт вашего Лариона? А ведь ему армия светит, весной. А до весны февраль остался. Так что, не мудри тут особо, разреши младшенькому устроить свою судьбу без твоих умозаключений. Да и мне не порть жизнь. В конце концов, за Ларионом я хожу, а не вы.

Входит Кирилл, в зимней одежде, без шапки.

КИРИЛЛ. Привет, я за картошкой. О! И ты, сучка, тут-ка как тут-ка. Здорово, бывшая...

БЕЛЛА. Счастливо оставаться. (Уходит.)

КИРИЛЛ. Слыхали, она вернула свою девичью фамилию. Ненормальная, нашу славную фамилию Пипуныровых променять на Шконкину! Дикость. Брат, как насчёт сугреву?

ВАЛЕНТИНА. Лезь в яму, и не пыли. Твоя картошка слева, нашу не возьми. Я проверю! Заставлю обратно высыпать, понял?

Пётр поднялся, отошёл, взял фотоальбом, листает.

КИРИЛЛ. Понял.

ВАЛЕНТИНА. Что ты понял?

КИРИЛЛ. Что ты проверишь, а Петька молчит, значит, согласен, что замёрз. Соответственно, гуляем! Я скоренько. (Уходит.)

ВАЛЕНТИНА. Никаких пьянок! Петя, ты меня понял? Что ты? (Взяла фотографию, которую протянул ей Пётр.) О, Господи! Зачем ты мне суёшь эту натуральную порнографию? Да, впечатляет, но мне-то, что? (Пристально глядит на Петра, который широко улыбнулся.) Петька, ты что-то придумал? Опять авантюра!? Объясни немедленно!

Петр пожал плечами, почесал затылок, снова улыбнулся и поднял большие пальцы обеих рук вверх.

Картина 2. Квартира жениха в деревянном коммунальном доме.

СЦЕНА 2. Большая комната. Обстановка пошлая, от того, что много всего и всё — пыль в глаза. Белла, едва ли не в бикини, занимается уборкой квартиры. Ларион в халате восседает на диване.

(Белла поёт песню о том, что на свете придумано только два спасения от бедности — женитьба и замужество.)

ЛАРИОН (идёт к столу, священнодействует над телефонным аппаратом, в трубку). Ало? Да, так вот. Что? Прежде, чем я задам вам вопрос, дама, хочу расслышать от вас вразумительный ответ. (Кладёт трубку, набирает номер.) Трубку бросать! (В трубку.) Ало? Что значит: «семнадцать»? Где предыдущий номер? Мы с ним не договорили. Что? Да, «справочная двадцать», у меня есть законный вопрос, но я хочу

расслышать толковый ответ на предыдущий. (Кладёт трубку, набирает номер.) Опять трубку бросать. Нет уж, дамочки дорогие, я вас научу, что клиент всегда прав. (В трубку.) Ало? Двадцать пять!? Нельзя ли не меняться, дамочки? Не успеваешь наладить психологическую совместимость с одним номером, как уже другой на провод повесился. Что? Да, это я, Пипуныров — моя фамилия, а как узнали? Интересовались? Приятно. Кто? Кто! Я? (Кладёт трубку.) Телефонная шпана. Да такого обзывательства в природе нет. Чего говорят, сами не понимают.

БЕЛЛА (натыкается на Лариона). Ларион Кондратьевич, мешааете прибираться. Одевались бы, между прочим, — время.

ЛАРИОН. Белла, не пыли. Не-то, как распушу ненароком. (Набирает номер.) Ало? Да, я, Пипуныров. Немедленно сообщите мне, как номер телефона вашего непосредственного начальства! За тем, что на дворе демократия, и кушать станет нечего, если вас непосредственно уволят за хамство, в отношении клиентуры. Что? Да, я. Кто? Как! (Кладёт трубку.) Ух, ты! Во, завернула...

БЕЛЛА. Одевались бы! Свадьба у вас, — небось, не шишками швыряться.

ЛАРИОН. Не мешать мне восторгаться русской разговорной речью!

БЕЛЛА. Надо было тратить тысячи денег, чтоб поставить телефон в халупе и портить себе настроение с утра, и людям. Добавили бы пару сотенок, да и купили бы себе благоустроенную квартиру. Всё аккуратнее прибираться. Халат придерживайте или хоть нижнее бельё носите, что ли... я ж тоже человек, женщина даже, как никак.

ЛАРИОН. Тебе, разве, не понять, что значит иметь телефон в нашем старом, прогнившем от болотной тоски, доме? Я, Пипуныров Илларион Кондратьевич, родом из резиновых сапог и телогрейки... всего лишь к восемнадцати годам проживания... здесь, где во всех квартирах проживают клопы, алкаши и кошки... установил свой личный квартирный телефон! Никто не знает, как мне хорошо сейчас, а то ли ещё будет! Ведь до нового века рукой подать, до нового тысячелетия только сплунуть. (Набирает номер.) Ало? Как, «тринадцать»? Сколько вас там, пронумерованных? Может, и номера на спине нашиты, как у спортсменов? Кто? Как! (Кладёт трубку.) Нет, голубы мои, я вас научу вежливости служебных обязанностей, затерроризирую! В понедельник, с утра иду в контору АТС. Наглые, невежливые, никого не боятся. Живут и работают, как в проклятом авторитарном прошлом.

БЕЛЛА. Много ты знаешь о тех временах, сопляк... критикан.

ЛАРИОН. Ты тут мне ещё... Вот такие вы и есть, люди вчерашнего дня, работают в сервисном обслуживании, и ещё разговаривают. Да не

была бы ты мне старой знакомой родственницей, я бы тебя... ты бы у меня... язык не распускала бы! Такая невоспитанная наглость.

БЕЛЛА. Как использовать сексуально, я — женщина, а как общаться на равных, так знакомая, да ещё же и старая! Ты поглядишь в зеркало. Ну, и кто без твёрдых гарантий безопасности, клонет добровольно на данное изображение, да ещё же и бесплатно, как я?

ЛАРИОН. О... какие речи мне слышны. Поберегись, не-то уволю сду-ру.

(Ларион поёт о том, что в мужчине важнее лица внутреннее содержание.)

БЕЛЛА. Уволит он, безрукий. Кто за тобой ухаживать тогда будет.

ЛАРИОН. Куплю!

БЕЛЛА. На какие шиши?

ЛАРИОН. На те самые, на которых ты меня женишь. Ещё вопросы? Не-то мне надо нарядиться и обязательно дозвониться в «справочную».

БЕЛЛА. Что ты хочешь от «справочной»?

ЛАРИОН. Где мои галстуки?

БЕЛЛА. Что ты хочешь от «справочной»?

ЛАРИОН. Где мои галстуки?

БЕЛЛА. Сначала трусы надень! Потом решим проблему с галстуком.

ЛАРИОН. Какой красивый у меня телефон... надо позвонить.

БЕЛЛА. Куда?

ЛАРИОН. В «справочную». Куда мне ещё звонить? Больше некуда.

БЕЛЛА. Что ты хочешь от «справочной»?

ЛАРИОН. Я хотел узнать погоду. Нельзя, что ли, позвонить про прогноз?

БЕЛЛА. Погоду выдают в метеорологической службе, дикобраз. При чём здесь «справочная»?

ЛАРИОН. Но я же должен узнать номер метеорологической службы где-то. Вот и звоню в «справочную».

БЕЛЛА. Откуда ты взял номер «справочной»?

ЛАРИОН. Как откуда, бестолочь? Из телефонной книжки.

БЕЛЛА. А ты не можешь взять оттуда же номер метеопрогноза?

ЛАРИОН. Не загоняй меня в угол! Загнанный олень может и стаю волков зашибить.

БЕЛЛА. Олень с рогами?

ЛАРИОН. С копытами! (Идёт к спальне.) Никто не звонит, Белла, понимаешь? Неделю, как установили аппарат, а я не знаю даже голоса собственного телефона. Пойду одеться. (На пороге.) Женюсь на богатой буратине, тогда мне сразу весь город звонить станет.

БЕЛЛА (в сторону). Скорее, женишься на тортилле.

ЛАРИОН. Коллеги по детскому саду вспомнят. (Уходит в спальню.)

Звонит телефон.

БЕЛЛА. Телефон!

ГОЛОС ЛАРИОНА. Трубку хватай, Белла, гадюка, я ж не успеваю!

БЕЛЛА (по телефону). Алё? Да, проживает. Кто? Конечно! Здесь он, вот!

Входит из спальни Ларион.

ЛАРИОН. Кто?

БЕЛЛА (протягивает трубку). Ужас... на! Из мэрии, мать моя, с небес на землю!

ЛАРИОН. Телефонная связь — это космос. Тихо мне тут, чтоб всё. (По телефону.) Да? Ой. Да? Ой. Да! Ой. Жду. А... ой. Да. (Кладёт трубку.)

БЕЛЛА. Ну?

ЛАРИОН. Сказали, в течение дня ждите звонка.

БЕЛЛА. От мэра! Лично!

ЛАРИОН. В любой момент.

БЕЛЛА. Вы с ним знакомы, Ларион Кондратьевич?

ЛАРИОН. В телевизоре видел. (Идёт в спальню.) А ты говоришь: трусы, галстук, женщина! Одеваться... в любой момент... галстук! (Уходит в спальню.)

БЕЛЛА. Сейчас-сейчас! Чудеса... с чего бы такой звонок?

Входит с улицы Кирилл.

(Кирилл поёт о том, что бывших жён и любовниц не бывает, а случаются только лишь возрастные природные препятствия.)

БЕЛЛА. Кирилл!

КИРИЛЛ. Белла!

БЕЛЛА. Чего орёшь!

КИРИЛЛ. Это восторг при виде тебя, коза дранная.

БЕЛЛА. Тогда, кто ты, мой бывший муж?

КИРИЛЛ. Не обо мне речь. Где он, — последняя каракуля любовно-го сонета моей матери?

БЕЛЛА. Одевается. Опять себе ключ изготовил?

КИРИЛЛ. Ты иди в спальню, приводи наше общее семейное убожество в божеский вид.

БЕЛЛА. Так — о брате... какой же ты грубиян.

ГОЛОС ЛАРИОНА. Белла, ты меня убиваешь, я не знаю, где носки!

КИРИЛЛ. Ходи голышом, брательник, мужчинам нашей семьи не только, что стыдиться нечего, но есть, что показать. Штаны — наш бич.

БЕЛЛА. Хам.

КИРИЛЛ. Это не я — хам, это время такое, хамское. Раньше, говорят, в мужиках ценились мозги и руки, а теперь одно переднее достоинство осталось. Так надо ли прятать его от глаз?

БЕЛЛА. У мужиков сейчас ценится не то, что спереди, а то, что сзади.

Входит из спальни Ларион.

ЛАРИОН. Кирилл? Почему я не слышал вежливого стука об входную дверь? Белла, ты уволена за нерадивое отношение к моему сервису.

БЕЛЛА. Что!?

ЛАРИОН. Ой. Помоги одеться, пожалуйста, я тебе за сегодняшние услуги вдвойне заплачу. Милая, пожалуйста, солнышко.

БЕЛЛА. То-то.

ЛАРИОН. Кирилл, сдай ключ от моей квартиры. И перестань их изготавливать! Ключ положи на стол, а сам прощай. Здесь живу я, и — всё, что связано исключительно со мной. (Уходит в спальню.)

БЕЛЛА. Быстрее женится, дышать легче станет. Пойду уж. А ты иди, Кира, иди. (Уходит в спальню.)

КИРИЛЛ. У меня есть ключ от твоей квартиры, брательник, как во всех порядочных семьях, проживающих поврозь. Ключи от "поврозь" должны быть у каждого родственника.

ГОЛОС ЛАРИОНА. А если я был бы с женщиной?

ГОЛОС БЕЛЛЫ. А ты разве не с женщиной!?

ГОЛОС ЛАРИОНА. Не слышу я тебя, некогда, торопись, молча.

КИРИЛЛ. Прослышал я, что ты, клякса позорная на чистом листе бумаги нашей родословной, сегодня подаёшь заявление в ЗАГС с весь-

ма обеспеченной дамочкой. И где ж ты собираешься теперь спать? Не здесь же?

ГОЛОС БЕЛЛЫ. Не здесь. Здесь спать будет я.

КИРИЛЛ. Вот! Так я и знал! А наш родненький старшенький братик, со своей самоотверженной болящей женой, так и будет продолжать ютиться в дачной мерзкой мерзлоте, с печкой посреди зимы? Ты хоть денег выделил бы им на дрова. У меня денег на матпомощь нет. И ты, старушка-потаскушка, как смеешь претендовать на квартиру, не тобою честно заработанную? И девку ему, небось, дрянную подсовываешь, сваха-завираха. Ларион, послушай родного брата, не ходи в ЗАГС, там расписывают.

Входит из спальни Ларион, одетый парадно. За ним — Белла.

ЛАРИОН. Перестань портить мне праздник своим присутствием. ЗАГС на сегодня отменяется.

КИРИЛЛ. Замечательно, чего же вырядился?

БЕЛЛА. Ларион, не шути так вслух, я ж могу поверить. Ты не пойдёшь относить заявление в ЗАГС?

ЛАРИОН. Какой тут может быть ЗАГС. Мне позвонили!

КИРИЛЛ. А кто тебе так убедительно звякнул, что он от законного выгодного брака отказывается?

ЛАРИОН. Мне только что позвонили из приёмной мэра и сказали, что в течение дня мэр может позвонить мне лично, в любой момент.

КИРИЛЛ. Иди ты!

ЛАРИОН. И чтоб тихо у меня здесь! Могу не услышать телефонного звонка. Как я выгляжу, достойно звонка руководителя столь высокого ранга?

КИРИЛЛ. Выглядишь, выглядишь. А с чего мэр собрался тебе звонить? Ты ж никто, вчера со школьной скамьи...

ЛАРИОН. Кто знает, зачем. Он знает! Может быть, — за тем, может быть, за этим. Хотя, конечно, может быть, и по другому поводу. Белла Борисовна, сварите мне кофе. Как обычно. Но сегодня можно чуть крепче. В честь события. И помолчите, не мешайте мне готовить мой внутренний мир к разговору с хозяином нашей жизни... а то и к встрече, лично! Пойдите вон, на кухню.

БЕЛЛА. Ушли-ушли. (Уходит в кухню.)

КИРИЛЛ. Уже-уже. (Уходит в кухню.)

Ларион устроился у телефона.

(Ларион поёт о том, что смирение и послушание непременно приведут молодого человека к благу и процветанию.)

СЦЕНА 3. Маленькая, тесная кухня. Белла мелет кофе в ручной мельнице. Кирилл вертится вокруг Беллы, с вождением.

БЕЛЛА. Не терпит он, гадёныш, кофе растворимый, кишки, говорит портятся. А зерно, говорит, должно быть помолото вручную. Кирилл, ну, чего тебя принесло с утра. Уйди, зараза. Кофе варить не шутка.

КИРИЛЛ. Я ж не лезу на тебя, правда? Постою близко, полюбуюсь на моё любимое прошлое в настоящем. (Объял Беллу.) Зря мы разошлись, подруга, такая любовь осталась беспризорной.

БЕЛЛА (слабо отпихивает Кирилла). Зачем мне кобель в мужьях...

КИРИЛЛ. А не в мужьях?

БЕЛЛА (смирится в объятиях Кирилла). Одна я, одна должна быть у плитки, чтоб посторонних микробов на продукты внутреннего потребления не попадало. Ларион — деспот в отношении гигиены. Да уйдёшь ты? Мне думать надо! Ты его не знаешь, как я. Он же всерьёз решил замереть у телефона. Ларион же точно не пойдёт в ЗАГС! А второй Клёпы я ему не найду.

КИРИЛЛ. Клёпы?

БЕЛЛА (ластится). Клёпа — невеста, полное имя Клеопатра. Природная идиотка, но за ней стоит младшая сестра, с такими связями!

КИРИЛЛ. А связи — это деньги. Помочь с Ларионом?

БЕЛЛА. Нет-нет... нет... сама я, одна я... припёрся... кобелина. (Отталкивает Кирилла.) Я всё поняла! Ключ он личный сделал. В квартиру эту метишь!? Такая кофемолка дряхлая. Уйди!

КИРИЛЛ. А если у нас, с тобой, всё-таки, любовь? Я парень сообразительный, в общении с младшим братишкой могу внести пару-тройку предложений типа ноу-хау. Ты мне бывшая, но супруга же, Белочка, и я тебя жалеть должен, беречь, а ты меня. Давай, со штампом о разводе, но вместе, а?

БЕЛЛА (в объятиях Кирилла). Не знаю, Кирюха, не знаю... ей-богу. Можно, конечно, сообразить на двоих. Одной-то каково! Но квартира будет записана на мне, понял? Жить будем в моей квартире, то есть здесь. А твои хоромы пустим на продажу, для наличного прокорма. И шагом марш — в ЗАГС. Идёт, любимый?

КИРИЛЛ. Ах, ты ж, делец, меня, вольного сокола, опять на привязь! Никогда. Да как же, Белочка, не стыдно тебе, забраться в штаны младшему брату собственного супруга. По-твоему, что думают люди по данному вопросу, что говорят? За жилплощадь! Стыдно?

БЕЛЛА. И кто тут мне на мою нравственность наступает? Ты, что ли!? Утухни, мазута. Кабы не любовь моя да жалость, порвала б тебя на тряпки, и пользоваться б отказалась.

КИРИЛЛ. Как обидно-то слышать такое. Ревнуешь до сих пор? Смотри мне в глаза. Не морщись от мужа, я сказал!

БЕЛЛА. Муж бывший.

КИРИЛЛ. Зато любовник настоящий. (Целует Беллу.)

(Кирилл и Белла поют о том, что первый брак, как первая любовь, обязательно стремится к распаду, но в любом случае, ни за что не забудется.)

БЕЛЛА (отталкивает Кирилла). Дай отдышаться, кобель! Отмою, отдраю... отлюблю. Но мои условия ты знаешь, по-другому не бывать.

КИРИЛЛ. Со сгущёночкой кофеёчек-то попиваем-с. Что за жизнь, глистёнок лучше работяги живёт!

БЕЛЛА (наливает кофе в чашку, ставит на поднос). Да, продвинутые, зажиточные женщины любят нашего Лариончика с девятого класса. А за любовь, почему не заплатить.

КИРИЛЛ. Верно. Только любить уметь надо. Твоя школа. Сделала из пацана жиголо. Это квартира моих родителей!

БЕЛЛА. Сам не хочешь по-хорошему договариваться.

КИРИЛЛ. Белка, мне деньги нужны очень. А значит, квартира эта будет моей, ты меня знаешь, подруга...

ГОЛОС ЛАРИОНА. Где моё кофе?

КИРИЛЛ. Слыхала? Кофе у него — моё! Не мой, — моё! И это — хозяин жизни! А ну, в сторону, женщина, подвинься и брысь. (Хватает поднос с чашкой кофе.) Я отнесу кофе и предложу услуги на всю жизнь! При случае, женю, ума тут не много надо. А ты пошла! (Уходит в комнату.)

БЕЛЛА. Ларион, твой подлый брат

СЦЕНА 4. Комната. Ларион дежурит у телефона. Входит Кирилл.

КИРИЛЛ (подаёт кофе). Лариончик! Вот твоё кофе... и твой — тоже.

ЛАРИОН. Тихо! Телефон же не слышно! (Принимает чашку.)

Входит Белла.

БЕЛЛА. Гонят меня из моей квартиры! Гонят нянечку твою, кухарку, прачку, наставницу! Ларион, слышь? Скажи ему!

ЛАРИОН. Я слушаю телефон, неужели непонятно? Телефон! Какая мне разница, кто тут прислуживает, хозяин-то, всё равно, один я.

КИРИЛЛ. Но ты же переедешь к богатой супруге. Неужели не подаришь квартиру родному неприкаянному брату?

БЕЛЛА. Нашёлся неприкаянный!

КИРИЛЛ. Ларион! Здесь жили наши предки, вспомни!

ЛАРИОН. Ладно тебе, Кирилл, хочешь — забирай.

КИРИЛЛ. О, да! Да! Да, я сделал это!

БЕЛЛА. Ларион!?

ЛАРИОН. Здесь нет Лариона, здесь только телефон. Иди вон.

КИРИЛЛ. Наша взяла.

БЕЛЛА. Хорошо же! Женщину обижать — это пожалуйста, это, можно сказать, уклад нашей русской жизни. Но обирать женщину — борони вас Боже! Если женщина обидится, дрожи, мужик, и береги здоровье! (Уходит.)

КИРИЛЛ. Не боишься, что наша бывшая стерва расстроит твой брак?

ЛАРИОН. Не ей расстраивать. Потому что не она его настройщик.

КИРИЛЛ. Не понял?

ЛАРИОН. Хочешь получить мою квартиру задарма? Не выйдет. Занчивай уборку квартиры, принимайся за стирку и приготавливай обед. Горничная ушла, теперь ты — горничный.

КИРИЛЛ. И это — родной брат!

ЛАРИОН. И это родной брат. Что дальше? А дальше — работа. Вперёд.

Картина 3. Квартира невесты. Очень богато, очень.

СЦЕНА 5. Маленькая комната. Вера, в сумасводящем неглиже.

ВЕРА (по телефону). Алё-алё, конечно-конечно, Светлана Яновна, ради вас и перенесу на следующую субботу.

СЦЕНА 6. Гостиная. Клёпа и Чечёткина.

(Чечёткина и Клёпа поют о тяжёлой доле 30-летней девицы.)

Звонок в дверь. Клёпа и Чечёткина не реагируют, — они в задумчивости.

СЦЕНА 7. Маленькая комната. Вера.

ВЕРА (по телефону). И то радостно, что муж будет, и то, что обзаведусь другой фамилией. Секундочку, Светлана Яновна, секундочку, в дверь звонят, только не кладите трубку, дорогая. (Кладёт трубку на столик, выглядывает в гостиную.) Маня, ау! Отопри дверь, пожалуйста, звонят!

ГОЛОС ЧЕЧЁТКИНОЙ. Замечались мы с Клёпой! Звони-звони, Верунчик, не отвлекайся от телефона. Я тут разберусь. (Уходит в прихожую.)

ВЕРА (возвращается к телефону). Алё? Да, Чечёткина у меня. Сами знаете, без этой профуры светских мероприятий не бывает. Слушаю, Светлана Яновна, слушаю вас, дорогая, говорите...

СЦЕНА 8. Гостиная. Клёпа. Входит Кын, за ней — Чечёткина.
ЧЕЧЁТКИНА. Проходите-проходите...

СЦЕНА 9. Маленькая комната. Вера.

ВЕРА (по телефону). Секундочку, гляну, кто пришёл. (Кладёт трубку на столик, выглядывает в гостиную.) Госпожа Кын Майя Зульфикаровна? Располагайтесь, а у меня, простите, телефонный разговор. Маня Юстициевна, будь хозяйкой. Представь гостью Клеопатре. Клёпа, твой подарок пришёл. (Возвращается к телефону.)

ГОЛОС КЫН. Я не подарок, я человек.

ВЕРА (по телефону). Алё-алё? Певичка пришла. Водила вчера Клёпу в оперу, на «Кошкин дом». Да-да, сестра всё-таки. Ничего, выдам замуж...

СЦЕНА 10. Гостиная. Клёпа, Чечёткина и Кын.

ЧЕЧЁТКИНА. Клёпа, познакомься: Майя Кын — звезда экрана.

КЛЁПА (глядит мимо собеседников). Опля, не вижу экрана.

КЫН. Не экрана, — сцены. И уже почти не звезда совсем, после посещения одного зубодробильного кабинета по блату. Как вас там? Маня Юстициевна, что ли?

ЧЕЧЁТКИНА. Претензия? Так мы не принимаем в нерабочее время. Это Клеопатра Владимировна, она невеста. Клёпа, помнишь её? Ты вчера была без ума от Козы, а?

КЫН. Я — не коза, я — Майя Кын! Заслуженная артистка республики, солистка театра оперы и балета.

КЛЁПА (глядит мимо собеседников). Коза, опля?

ЧЕЧЁТКИНА. Клёпа, брось ругаться, это уже не модно.

КЛЁПА (глядит мимо собеседников). Опля?

ЧЕЧЁТКИНА. Вот именно.

КЛЁПА (глядит мимо собеседников). А как же я тогда мою разговорную, опля, речь стану складывать?

ЧЕЧЁТКИНА. Говори «блин».

КЛЁПА (глядит мимо собеседников). Опля, блин же — пищевой продукт.

КЫН. О, как тут у вас всё запущено.

ЧЕЧЁТКИНА. Попросила бы!

КЫН. Тогда, Маня Юстициевна, давайте, выясним наши отношения. Помните меня?

ЧЕЧЁТКИНА. Я в театр оперы, особенно балета, не хожу глазеть на коз.

КЫН. Бог артистов милует от таких зрителей.

ЧЕЧЁТКИНА. То-то у вас пустые залы.

КЫН. Великому искусству сцены мало, ему подай всё театральное пространство. Но я не об этом. Я о зубах. Помните меня?

ЧЕЧЁТКИНА. Рот откройте, по зубам я вас и вспомню. Если вы намекаете на посещение моего зубоврачебного кабинета.

КЫН. А что вы, как бы, даже и в позу невинности встали, гражданин стоматолог? Какую же позу тогда прикажете изобразить мне, пациенту? Странно, что мы с вами пересеклись в приличном доме.

ЧЕЧЁТКИНА. Ты рот разуй и демонстрируй претензию, пока я добрая. Может, что-то ещё можно исправить. Ну?

КЫН. Пожалуйста. (Распахивает рот.)

ЧЕЧЁТКИНА (заглядывает в рот Кын). И что тебе от меня ещё надо, горлодёрка? Не зубы, — музей фарфоровых искусств!

КЫН (периодически распахивает рот для показа). Ты, стоматолог лошадиный! На глаз смотри, на глаз! Ну? Видишь?

ЧЕЧЁТКИНА. Я не окулист. Глазёнки твои, как у всякого артиста, так и скулят: подайте копеечку...

КЫН. После посещения тебя! Стоит мне открыть рот... профессия у меня такая — открывать рот... у меня тут же закрывается один глаз! Автоматически. Регулярно. Добро бы оба глаза, как бы, я вся в упоении страсти, а то один! Да ещё же и на сцене!

ЧЕЧЁТКИНА. А ты другой глаз сама закрой, всё равно вы, артисты, не знаете, куда на сцене руки девать, вот и будет тебе занятие.

КЫН. После твоей работы, специалист по дантизму, вместе они уже не закрываются никак, только в очередь.

ЧЕЧЁТКИНА. Как же ты спишь?

КЫН. Дура какая-то. Откуда ж я знаю? Может, сплю в оба глаза, может, попеременно. Я ж, когда сплю, себя не контролирую. Объясни мне одно: к тебе попасть можно только по великому благу! Почему? Не понимаю.

КЛЁПА (глядит мимо собеседников). Мне сегодня жениха покажут. Дожила, опля.

ЧЕЧЁТКИНА. Я — специалист высокого класса, у меня дипломов больше, чем у тебя зубов. Значит, невразумительно объяснили, что ты такое есть на этом свете, а главное — не объяснили от кого. У меня филиал государственной поликлиники, на все медицинские полисы ремесла не напёшься. Ничего, исправим, раз уж ты знакомая Веры Владимировны. Пришла, расселась в кресле, как будто я ей гинеколог... даже коробки конфет, хотя бы местной кондитерской фабрики не поднесла, жлобище!

КЫН. Я покупала! В маршрутном такси раздавили.

ЧЕЧЁТКИНА. Что за артист, который ездит в маршрутном такси.

КЫН. А ты!.. а вы!.. а...

ЧЕЧЁТКИНА. Хватит собачиться в чужом доме. Лучше спой. Посмотрим механизм взаимодействия глаза и рта. На какой песне особенно проявляется эта аномалия?

КЫН. В театре оперы и особенно балета песен не поют! У нас исполняют оперы! Песню можно и с одним глазом прокукарекать, а как быть с арией?

ЧЕЧЁТКИНА. Майя Зульфикаровна, исполните уже чего-нибудь, а то я со психу зубки ваши фарфоровые взад заберу и поставлю приличным людям. Чем вы тогда в свои семьдесят пустые залы станете покорять?

КЫН. Мне двадцать пять лет!

ЧЕЧЁТКИНА. И уже заслуженная артистка республики? Чем же вы так рано выслужились?

КЫН. Владением искусства.

ЧЕЧЁТКИНА. Небось, за званием не на маршрутном такси ехала, сохранила коробку конфет. Всё, зубастенькая моя, пой!

КЫН. Отойдите. Пою-то я классически, вас может в окно сдуть. Пою. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка».

ЧЕЧЁТКИНА. Что ли, полностью!?

КЫН. Не бойся, стоматолог, артисты — профессия гуманная. В быту. Песня Леля.

ЧЕЧЁТКИНА. А говоришь, песен не поёшь.

КЫН. Песней здесь называется ария.

ЧЕЧЁТКИНА. Ария — это много.

КЫН. Искусства много не бывает.

КЛЁПА (глядит мимо собеседников). Искусства, опля, вообще не бывает.

ЧЕЧЁТКИНА. Случается же.

КЛЁПА (глядит мимо собеседников). Фрагментами, опля, фрагментами.

КЫН. Фрагмент.

(Кын поёт.)

КЛЁПА (после исполнения Кын, глядит мимо собеседников). Коза, опля! Коза! «Кошкин дом»! (Поёт.) «Ты с ума сошла, Коза, бьёшь десяткою туза»...

ЧЕЧЁТКИНА. Узнала. У Клёпы абсолютный оперный слух.

КЫН. Что ж она даже не обернётся?

ЧЕЧЁТКИНА. Эх, подружка моя, узнала не значит, что признала.

КЫН. Я вам не подружка!

ЧЕЧЁТКИНА. А я не про вас, я про Клёпу. Мы с ней одноклассницы. И в детском садике на соседних горшках жизнь познавали. Там-то её и прибило, говорят. Мальчишки испугали. Она так испугалась, что до сих пор из детства выбираться не желает. Иногда выглядывает, правда.

КЫН. У каждого свой способ выживания. Вернёмся ко мне?

ЧЕЧЁТКИНА. Да-да. Так. Глаз исправим. Но от чего вас так трясёт, голуба моя, когда вы поёте?

КЫН. Меня не трясёт, это вибратто, дорогуша.

ЧЕЧЁТКИНА. Всем телом?

КЫН. Всем звуком!

Звонки в дверь.

ЧЕЧЁТКИНА (не обращает внимания на звонки). С таким откровенным вибрато вам не стать звездой мировой оперной сцены. Вам надо садиться на специальную диету поедания калорий, чтоб как Монсеррат Кабалье: встала шкафом на века и никаким трактором, не то, что звуком, нельзя бы было пошатнуть.

КЫН. Вы знаете об Монсеррат? Она знает Кабалье! Уважаемая Маня Юстициевна. Как хотите, но я вас за это расцелую.

ЧЕЧЁТКИНА. Не надо меня целовать.

КЫН. Но уж без объятий вы от меня не уйдёте. (Обнимает Чечёткину.)

СЦЕНА 11. Маленькая комната. Вера.

ВЕРА (по телефону). Чёрт возьми! Нет, Корнелия Стаховна, это я не вам. У нас гости. Я оторвусь от разговора на мгновение, лапушка? Только не кладите трубку, пожалуйста. (Выглядывает в гостиную.) Громкое у вас знакомство, милые дамы. Я люблю вас, но, бабы, откройте уже кто-нибудь дверь!

ГОЛОС ЧЕЧЁТКИНОЙ. Ах, то был дверной звонок, Верочка? Он так похож на голос Майи Зульфикаровны, они как бы слились в экстазе. Не беспокойтесь, Вера Владимировна, я справлюсь с ролью привратника, и говорите себе по телефону, говорите, это так важно.

ВЕРА. Да уж, постарайся. (Возвращается к телефону.) Корнелия Стаховна? Да-да, в следующую субботу, только из-за вас и передвину празднование, Корнелия Стаховна, дорогая.

СЦЕНА 12. Гостиная. Клёпа, Чечёткина и Кын.

КЫН. Девчонка, а гонору-то, гонору!

ЧЕЧЁТКИНА. В семнадцать лет иметь такое чувство собственного достоинства дорогого стоит.

КЛЁПА. Вера — сестричка моя, опля, кормилица...

ЧЕЧЁТКИНА (понижила голос). Хитлер, ей-богу, Хитлер, и всё тут.

КЫН (понижила голос). Неужели, правда, у них такая фамилия?

ЧЕЧЁТКИНА (шёпотом). Истинный крест. А спеси-то, спеси...

КЫН (шёпотом). Делать нечего, такая доля: артисты — десерт на званой пьянке. Да и доля-то, прямо скажем, невелика — грош-цена.

ЧЕЧЁТКИНА. Звонят.

КЫН. Пойду, открою, дорогая?

ЧЕЧЁТКИНА. Майечка, солнышко, не беспокойтесь, я приставлена, мне и открывать. Я мигом! (Уходит в прихожую.)

КЛЁПА (глядит на Кын, поёт). «Ты с ума сошла, Коза, бьёшь десяточку туза». «Кошкин дом»! Коза, опля! (Подходит к Кын, кладёт голову на её грудь.)

КЫН (обнимает Клёпу). Нервами расплачиваемся за неустроенность, опля, бытия. Заслуженной певице классического репертуара петь не на свадьбе даже, даже не на помолвке, а при подаче заявления в ЗАГС! Фантастическая реальность, девальвация души. Господи, может быть, хоть с зубами устроится?

Входят Валентина и Пётр, держатся под руку, прижавшись друг к другу. За ними — Чечёткина.

ЧЕЧЁТКИНА. Клёпа!?

КЛЁПА. Пойду к себе. Мне, опля, поплакать в подушку надо. Ебена-мать, как же мне хорошо! (Уходит.)

ЧЕЧЁТКИНА. Она тебя признала!

КЫН. Ещё бы. (Валентине и Петру.) Здравствуйте, гости дорогие. Вы, наверное, меня узнали?

ВАЛЕНТИНА. Сама Майя Кын! Как давно мы вас не видели, не слышали. Гляди, Пётр, гляди! Она умрёт, а ты её живую видел!

КЫН. Большое искусство бессмертно. И вся я не умру.

ЧЕЧЁТКИНА. Царство тебе небесное. Располагайтесь, гости дорогие.

ВАЛЕНТИНА. Мы — ближайшие родственники жениха Клеопатры Владимировны. Нашего Лариона Кондратьевича мы воспитали. Это родной старший брат Лариона Кондратьевича — Пётр Кондратьевич. А это, в смысле я, жена родного старшего брата Петра Кондратьевича, — Валентина Валентиновна.

ЧЕЧЁТКИНА. В честь мамы отчество, или вас папа родил?

ВАЛЕНТИНА. Вот хоромы! Повезло Лариончику и дай ему Бог остальное в достатке. (Чечёткиной.) А вам, кто позволял грубить, дама?

ПЁТР. Нбдмсгднсбчтс.

ЧЕЧЁТКИНА. Ась?

ВАЛЕНТИНА. Мой муж сказал: не будем сегодня собачиться. Он замёрзнуться никак не может, одни согласные остались. Мы на даче живём, чтоб Лариону нашему, Кондратьевичу, правильно жить не мешать. А дрова кончились. Не дотянули немного, не дорассчитали до лета, а братец наш в экономике строг. Тянем без дров.

ПЁТР. Чгнбдьгрчтльнгмшлб.

ЧЕЧЁТКИНА. Ась?

ВАЛЕНТИНА. Пётр, скромнее надо быть.

КЫН. Поняла! Мужик сказал: чего-нибудь горячительного не мешало бы, верно?

ЧЕЧЁТКИНА. Сразу видно, мужа у тебя никогда не было, Кын, очень уж ловко ты мужика шифруешь. Охолодала, заслуженная ты наша. Сейчас всем будет хорошо. Я на кухню. (Уходит.)

ВЕРА (выглянув из комнаты). А вы — кто?

КЫН. То вашей сестры свёкр, а то свекровь. Они знают моё творчество.

ВЕРА. Надо же.

ВАЛЕНТИНА. Здравствуй, Верунчик!

ВЕРА. Во как. И где Маня Юстициевна?

ПЁТР. Сгрвщгтвт.

ВЕРА. Простите?

ВАЛЕНТИНА. Согревающее готовит, так он сказал. Замёрзшие мы, невестушка, с нетопленной дачи мы, старший брат жениха, мой муж Пётр, все гласные растерял. Вы нас не звали. Но мы сами решились, для разговора решились. А куда деваться, холодно же... Верочка.

КЫН. Нашли Верочку.

ВЕРА. Вот вы какие, Пипуныровы.

КЫН. Пипуныровы? Знавала я одного Пипунырова... да.

ВАЛЕНТИНА. Пипуныровы мы, слава Богу, Пипуныровы.

ВЕРА. Каков же, в таком случае, жених.

КЫН. Чуть красивее атомного взрыва.

ВАЛЕНТИНА. Почему она здесь хамит?

ВЕРА. Если бы не пришли, без приглашения, никто вам и не хамил бы.

Входит Чечёткина, с подносом, заставленным спиртным и закуской.

ЧЕЧЁТКИНА. Готово! Прошу. (Ставит поднос на стол.) Который час, Вера Владимировна, не опоздаем в ЗАГС?

Звонок в дверь.

ВЕРА. Звонят, откройте дверь.

ЧЕЧЁТКИНА. Налито!

ПЁТР. Нбрдршт.

ВЕРА. Что-что?

ВАЛЕНТИНА. На брудершафт?

ВЕРА. Я сама открою. (Уходит в прихожую.)

ВАЛЕНТИНА. А хотите, девочки, я покажу вам фотографию жениха?

ЧЕЧЁТКИНА. Фотографии семейные при себе носят, как на Западе.

КЫН. А я люблю смотреть чужие фотографии.

ЧЕЧЁТКИНА. Что на фотографии? (Глядит фотографии.) Это что?

КЫН (глядит фотографии.). Это кто?!

ЧЕЧЁТКИНА и КЫН (вместе). Это жених!?

Входят Вера и Белла.

ЧЕЧЁТКИНА. Хорошо, что мой сын не Пыпуныров.

КЫН. Мама мия! А Хитлер видела!?

ВЕРА. Кому-то не нравится моя фамилия?

БЕЛЛА. А эти как адрес узнали? Проходимцы.

КЫН. Гляньте фотографии жениха, Вера Владимировна!

ЧЕЧЁТКИНА. Прежде этого предлагаю принять успокоительного... лучше коньячку, от сердечной закупорки помогает.

ВЕРА (глядит фотографии). Шконкина! Что это? Это нам!?

КЫН. Зрелище не для слабонервных.

ЧЕЧЁТКИНА. Да, Шконкина, сосватала...

КЫН. Она — сваха? Bravo, брависсимо!

ВАЛЕНТИНА. У меня ещё есть изображение, совсем забыла, девочки. Вот, здесь наш Ларион Кондратьевич прошлым летом, за границей, на пляже, где голыми загорают. (Достаёт фотографию.)

КЫН. Представляю! Смертельный номер: вуаля!

БЕЛЛА. Сейчас вы увидите, какая я сваха.

ЧЕЧЁТКИНА. Смотреть, так смотреть, всё равно уже не сглазить. Давай фотку. (Взяла фотографию.) Ну-ка, ну-ка? Мать моя девушка, это настоящее?!

БЕЛЛА. Ну что, Манюня? Ты сдерживайся, сучишь копытами неосторожно, так и пол пробить можно, а для соседей это потолок.

КЫН. Позвольте, Маня, здесь люди кругом, не задерживай очередь. (Взяла фотографию.) А!!!

ВЕРА. Да что с вами? Дайте-ка фотографию. (Взяла фотографию.) Ох!!!

БЕЛЛА. Вот так. Ну, пока они тут изумляются, Валентина, там твой братец припёрся, мол, квартира ему достанется... а?

ПЁТР. Шлбтнх.

ВАЛЕНТИНА. Перевести?

БЕЛЛА. Что-что? Ах, вот, как!

ЧЕЧЁТКИНА. Это же не мужик, это же шедевр зоологического зодчества!

КЫН. Это фотомонтаж.

ВАЛЕНТИНА. У нас на монтажи средств нет, у Пипуныровых всё производится естественным образом.

ЧЕЧЁТКИНА. А это работает?

БЕЛЛА. Безотказно.

КЫН. Богатство идёт к богатству, несомненно.

ПЁТР. Зштдвчктнадквстрхзвстлвх.

КЫН. Слышали, все слышали? Хам!

ВЕРА. Что сказал мой брат?

ВАЛЕНТИНА. Он попросил меня защитить вас, Верунчик, от нападок завистливых старух.

ВЕРА. Спасибо, дорогие, родственники. Да здравствуют Пипуныровы! Шконкина, плечи, твоё здоровье, сватья! Что приуныли, подружки? Всех благодетельствует жизнь, придёт время. Не грусти, Майя, спой. Выпьем за это чудо природы!

БЕЛЛА. Тебе-то, что с него? Или хочешь обделить убогую?

ВЕРА. Шконкина, опля, фильтруй базар!

БЕЛЛА. А теперь о главном. Слушайте все. Пипуныров Ларион Кондратьевич не желает идти в ЗАГС.

Пауза.

ВЕРА. Что-что!?

БЕЛЛА. Нашему фотографическому персонажу позвонили из приёмной мэра и сказали, чтоб ждал в течение дня, в любой момент, звонка от руководителя городской администрации, лично.

ЧЕЧЁТКИНА. Они знакомы?

ВАЛЕНТИНА. Нет.

КЫН. Забавно, уродец сидит у телефона и ждёт, когда тот зазвоняет.

ВАЛЕНТИНА. Наш младший брат поступил, как настоящий патриот и законопослушный гражданин!

ПЁТР. Втчттстдчнкпдм.

ВАЛЕНТИНА. В этом что-то есть, Верунчик, подумай, так сказал Пётр.

ВЕРА. Все — прочь!

КЫН. Мне пора на репетицию, нет никакого резону срывать творческий процесс. Как насчёт гонорара за пребывание?

ВЕРА (подаёт конверт). Вот. Брысь.

КЫН (взяла конверт). Счастливо оставаться. Да, благодарю вас, Вера Владимировна Хитлер!.. за столь обязательное отношение к творческой личности в виде возмещения материальных и моральных убытков в связи со срывом мероприятия. Молода ещё, чтоб людям хамить! (Уходит.)

ВАЛЕНТИНА. Ишь какая! Артистам платить не надо, дать овсянки в корытце, сухарик — на зуб и выпинать на улицу, к чертям свинячим.

ЧЕЧЁТКИНА. Не послать ли родственничков за женишком?

БЕЛЛА. Они на него не действуют, голодранцы.

ВЕРА. Если хоть один человечек узнает о сегодняшнем происшествии, я тебя, Маня, Манюня... сгною где-нибудь, как-нибудь. Шконкина, заявления в ЗАГСе принимаются в определённое время?

БЕЛЛА. Да, но у вас случай общественной значимости! На двенадцать ноль-ноль назначен съезд свидетелей события, а на двенадцать-тридцать объявлен торжественный акт подписания заявления на регистрацию брака. Телевидение, газеты... партийные делегации, и, наконец, бизнес и власть.

ВЕРА. Надо сделать звонок мэру. Фотографии заберу с собой, чтоб Клёпа не увидела. Она ещё так целомудренна. (Уходит в комнатку.)

ВАЛЕНТИНА. Какие люди в телефоне у Верочки серьёзные, какая высь!

БЕЛЛА. Ты думала, я фуфло подсуну? Лох — ваш братец, ох, и лох.

ВАЛЕНТИНА. Наша семья лохами была, лохами останется, лохами и в раю сгинет!

БЕЛЛА. И что теперь?

ЧЕЧЁТКИНА. Угощаемся!

ПЁТР. Нкхн.

ВАЛЕНТИНА. Пётр предпочитает угощаться на кухне, — привычка.

ЧЕЧЁТКИНА. Нет вопросов. Белла Борисовна, проводите гостей.

БЕЛЛА. За мной, проходимцы. (Уходит на кухню.)

ВАЛЕНТИНА. Пётр? Пройдёмся за стол.

Валентина и Пётр уходят на кухню.

ЧЕЧЁТКИНА. Интересно. Замечательно складывается досье. (Достаёт из одежды диктофон.) Заветная ты моя машинка. Диктофон в дамском белье — лучшее средство от нищеты и скуки.

Входит Клёпа.

ЧЕЧЁТКИНА (прячет диктофон). Клёпа, как ты?

КЛЁПА. Поплакала, мне хватит. Как до свадьбы, опля, доживу, прямо не знаю.

СЦЕНА 13. Маленькая комнатка. Вера.

(Вера поёт о том, что если у тебя есть многое, то это не означает, что тебе нечему позавидовать, что, собственно, и является двигателем прогресса.)

ВЕРА (по телефону). Алё? Тёточка Надечка? Наш ненаглядный все-народноизбранный у себя? Соедини-ка по быстрому.

Картина 4. Квартира Пипуныровых.

СЦЕНА 14. Большая комната. Ларион дежурит у телефона. Кирилл, в одних трусах, заканчивает уборку.

(Кирилл поёт о превратностях судьбы, ожидающих юношей и девушек при вступлении в мир взрослых.)

КИРИЛЛ. Ларион, я по дому сделал всё. Может, в качестве гонора-ра, отстегнёшь на мензурку?

ЛАРИОН. Что так пахнет?

КИРИЛЛ. Трубу в туалете забило прихватили последние морозы. Вот и пахнет весной. Так что, теперь на толчок никто не ходок.

ЛАРИОН. То есть?

КИРИЛЛ. А то и есть. Хошь — на улицу, хошь — ладошки подставляй.

ЛАРИОН. Всю зиму проносило, а за март — трижды. И как мы собираемся ждать звонка из приёмной самого мэра в антисанитарных условиях?

КИРИЛЛ. Да, рванул на двор, а тут и телефон, некстати, раззвонялся. Казус.

ЛАРИОН. От руководителя города телефонные звонки некстати не звонят, и даже не звоняют.

КИРИЛЛ. Ты, младшенький не слишком ли пресмыкаешься перед властью, оно ж тебя всё одно не лицезреет?

ЛАРИОН. А вдруг? Поддерживать форму надо и во сне. Сколько стоит полкило водки?

КИРИЛЛ. Правильный подход к продолжению разговора!

ЛАРИОН. Сначала пробей трубу.

КИРИЛЛ. Как же я могу приступить к ассенизаторской операции в трезвом уме? Казус или просто издеваешься, брательник?

ЛАРИОН. Белла приступала по трезвяне.

КИРИЛЛ. Поэтому я и развёлся с этой железобетонной леди. Наливай?

ЛАРИОН. Дома не держу. Но ты ж напьёшься и не сделаешь.

КИРИЛЛ. Ну, тогда будем продолжать нашу жизнь в ароматах. А давай, определимся на предмет квартиры, Ларион Кондратьевич?

Стук в дверь.

ЛАРИОН. Пахнет... очень! Стучат, открой.

КИРИЛЛ. Иду-иду.

ЛАРИОН. Чёрт, надо рискнуть, чтоб заплатить.

Входит Кын. За ней — Кирилл.

КИРИЛЛ. Кын!

ЛАРИОН. Что значит: кын? В коридор потекло, что ли?

КИРИЛЛ. Майя Игнатъевна Кын! Заслуженная певица оперы, лично!

КЫН. Надо же, и во дворцах, и в хижинах знают, — это успех. Только я не Игнатъевна, а Зульфикаровна.

КИРИЛЛ. Настоящий отец объявился?

КЫН. Зульфикаровна — псевдоним.

КИРИЛЛ. Псевдоним — отчество!?

КЫН. Рекламный ход: на Майю ходят одни, на Кын — другие, на Зульфикаровну — мусульмане. И полный сбор гарантирован.

КИРИЛЛ. И всенародная любовь.

КЫН. Любовь? Касса! Ну, и любовь тоже. Но я не о том. И совсем не о вас. Здесь проживает Илларион Кондратьевич Пипуныров?

ЛАРИОН. Проживает, не проживает, а от телефона отойти не может. Зачем, певица, вы ко мне?

КЫН. Ну-ка? (Оглядывает Лариона.) Как на фотокарточке: ни убавить, ни прибавить. К вам, молодой человек.

ЛАРИОН. Фотокарточка!

КЫН. Итак, я только что из дома Веры Владимировны Хитлер.

ЛАРИОН. Первая ласточка.

КИРИЛЛ. Никогда не видал ласточек в абсолютной весовой категории.

КЫН. Зато уж если взлетела, то даже созвездие Орла тухнет. Не мешайте деловой встрече юных и продвинутых граждан.

ЛАРИОН. Кирилл, угомонись. А вы покороче.

КЫН. Изъясняю мысль в телеграфном стиле. Вена — столица Австрии.

КИРИЛЛ. Иди ты... надо же!

КЫН. Австрия мне многое открылось. Дело в том, что я видела вашу фотографию с нудийского пляжа. Так не скрыться ли нам в Вене!

ЛАРИОН и КИРИЛЛ (вместе). Не понял?

КЫН. В Вене много богатых одиноких женщин. Да мало ли городов в зажравшейся Европе. Мы заставим их раскошелиться. С вашим чудом природы сделку свершим быстро, выгодно, удобно, в виде обслуживания в банке нейтральной страны. Ибо где это видано, чтобы чудо было явлено в виде исправно работающего организма! Оформление виз и проездные беру на себя.

ЛАРИОН. Чего вдруг такая забота обо мне?

КИРИЛЛ. О тебе же, как же... о себе же!

КЫН. Да. Провинциальные театры оперы и особенно балета имеют тенденцию к распаду. Нормальные люди на классику же не ходят. Они вообще никуда не ходят. В России талантам ждать нечего. А там я ещё спою! И вообще, у вас здесь такой запах...

КИРИЛЛ. Запах Родины. А что? Где родился, там и сгноился. Настоящее — это всегда удобрение для будущего.

ЛАРИОН. Всё сказал?

КИРИЛЛ. Куда там... у меня есть ещё столько мыслей... но потом.

ЛАРИОН. Талант и фотокарточка с нудийского пляжа — какая связь?

КЫН. Очевидная — природа! Реализация дара — дело техники. Главное, грех — зарывать его в землю.

КИРИЛЛ. Ларион, ты не пробовал свой талант зарывать в землю?

ЛАРИОН. Ой, да ну вас. (Подходит к окну.) В моей жизни меня больше всего заботит вид из окна, само окно и квартира с этим окном. Будет оно всё по фирме, тогда зачем мне Вена?

КЫН. Вы заблуждаетесь, молодой человек, ох, как же вы заблуждаетесь! Никто никому в этом мире не нужен, но пока есть молодость, всегда существует шанс продать её так, чтобы хотя бы не страдать от этой ненужности.

(Кын поёт о том, что пророки в любом своём Отечестве не выживают, потому что нуждаются в получении свежих и новых впечатлений, которые могут предоставить исключительно путешествия.)

ЛАРИОН (глядит в окно). “Скорая помощь” подъехала. Ух, ты, какая дамочка из машины вывалилась. С шофёром расплачивается, как с таксистом.

КЫН. Ну-ка? (Смотрит в окно.) Чечёткина! Манька! Не надо, чтобы она меня здесь видела. Мужчины, спрячьте артистку от сплетен, спрячьте!

ЛАРИОН. Кирилл, упакуй даму в спальне. И не задерживайся там! Мне одному здесь не управиться. Вот тебе сто баксов за труды. (Подает купюру.)

КИРИЛЛ (взял купюру.) Я таких купюр, в моих руках, ещё не видел!

КЫН. Деревня! Упаковывай даму, она ждёт!

КИРИЛЛ. Идём, девочка, идём в спальню.

КЫН. Только без рук!

Кирилл и Кын уходят в спальню.

ЛАРИОН. Надо же так рассчитать! Ай да Пётр. Голова! Только что толку от головы, когда не она — чудо природы. Только певичка и эта Чечёткина сейчас ну, совсем ни к чему. Ничего, Кирилл разведёт, если хочет получить от меня эту квартиру. Тьфу ты... какая вонь.

Стук в дверь.

Открыто! Входите! Кто там?

Входит Чечёткина.

ЧЕЧЁТКИНА (говорит, как из пулемёта). Посторонних нет? Отвечайте шёпотом. Не слышу? Однако, воняет у вас не по-детски! Вот он — запах демократии. Будем молчать? Я из секретной милиции, вот моё удостоверение. (Подает корочку.) На отчество гляди, бестолочь. Юстициевна — это шифр! Ну, как бы, псевдоним, что ли. На самом деле, у меня другое отчество от природы. Но дело превыше всего! Шифр означает, что я — оттуда, из подполья. Вы — Пипуныров Илларион Кондратьевич? По глазам видно — вы. Я должна наблюдать всех. Вникаете? Главное, слышать! Всех, кто не помогает подполью народных мстителей, мы постепенно приговариваем к окончанию жизненного пути. Вникли? Страшно? Правильно, бойся меня! Но бойся потом. Сейчас надо помогать. Всё, что в дальнейшем будет происходить здесь, мой юный товарищ, должно быть задокументировано.

ЛАРИОН. И много вас таких, с отчествами?

ЧЕЧЁТКИНА. Когда настанут наши времена, нас будет о-го-го! Ещё поговорим. А теперь, где я могу укрыться с диктофоном?

ЛАРИОН. И вы полагаете, что я позволю вам шастать по моей квартире?

ЧЕЧЁТКИНА. Так, и что, будете биться в непримиримой борьбе? С кем, с дамой!?

Входит из спальни Кирилл.

КИРИЛЛ. Что за чучело?

ЛАРИОН. Говорит, что она — агент секретной милиции, из подполья. Ты давай тут уже, разгребай ситуацию, в темпе, ага?

КИРИЛЛ. Ты, Ларион Кондратьевич, у нас начинающий интеллигент, один на всю семью, тебя беречь надо, отойди. Агента я, пожалуй, опущу на родину, в подполье. Чего надо?

ЧЕЧЁТКИНА. У меня ордер есть. Пожалуйста. (Даёт купюру Кириллу.)

КИРИЛЛ. Ещё сто баксов! Это мне, Ларион, или тебе?

ЛАРИОН. Мне главное — звонок! Остальное, — пыль и грязь.

КИРИЛЛ. Значит, мне. Доходное место — этот прогнивший дом.

ЧЕЧЁТКИНА. Я вижу, ты старый рабочий, пролетарий.

КИРИЛЛ. Пролетали-пролетали, и неоднократно.
ЧЕЧЁТКИНА. А ещё. Покажите мне моё тайное место пребывания, Хитлер на подходе!

ЛАРИОН. Вера Владимировна едет сюда!

ЧЕЧЁТКИНА. Если кто меня выдаст, вот мой вождь и учитель. (Достаёт пистолет.) Видно всем?

КИРИЛЛ. Пистолет!

ЛАРИОН. А если я легальную милицию вызову?

ЧЕЧЁТКИНА. А если я сначала телефонный шнур отстрелю, а потом личное хозяйство?

ЛАРИОН. Понял. Устраивайтесь поудобнее.

ЧЕЧЁТКИНА. В той комнате. Спальня? (Идёт к спальне.)

КИРИЛЛ (загородил собою вход в спальню). Там проживает моя часть семейственности в неглиже — жена.

ЧЕЧЁТКИНА. Нечего женщине стесняться женщины.

КИРИЛЛ. Так то — женщины.

ЧЕЧЁТКИНА. Что?

КИРИЛЛ. Она — это он.

ЧЕЧЁТКИНА. Он — жена?

КИРИЛЛ. Ларион, с тебя ещё сто баксов, за мой моральный ущерб.

ЧЕЧЁТКИНА. Какая распушенность!

КИРИЛЛ. Любовь зла, полюбишь и козла.

ЧЕЧЁТКИНА. Короче! Или я секретно прослушиваю интересующий меня разговор, или я здесь всех сейчас перестреляю и неслышно уйду.

КИРИЛЛ. Отправляйтесь в нужник, гражданочка, больше мест нет. (Проводит за руку Чечёткину к двери в туалет.)

ЧЕЧЁТКИНА. Здесь же авария! Как вы сюда ходите?

ЛАРИОН. То вы сюда ходите, а мы здесь живём.

КИРИЛЛ. Прошу на очко, товарищ.

ЧЕЧЁТКИНА. В жизни всегда есть место подвигу. (Входит в туалет.)

Кирилл закрывает за ней дверь.

ЛАРИОН. Теперь, Кирилл, смотри мне, обеспечишь безопасность пребывания моей невесты в квартире, — озолочу. Понял?

КИРИЛЛ. Понял. Шаги?

Входят Валентина и Пётр.

ВАЛЕНТИНА. Братцы!

ЛАРИОН. Тссс.

КИРИЛЛ. Ноги вытирать надо, деревня! Об коврик, тщательнее!

ПЁТР. Крзкррт.

ВАЛЕНТИНА. Мой муж сказал: Кира, закрой рот. Что ты толкаешься, Петя? А, да. Сама Вера Владимировна сюда едет. Понял?

ЛАРИОН. Уже в курсе. Тссс! (Знаками показывает, что и в спальне, и в туалете спрятаны люди.)

КИРИЛЛ. Переглядываетесь, родственнички, знаки делаете, кого обьегориваем?

ЛАРИОН. Тихо! Телефон звонит негромко. Я жду звонок. Звонок из приёмной мэра! (Подходит к дверям туалета, откашлялся, размял лицо, говорит, как бы речь на собрании.) Если выборный глава города просит горожанина, собственного избирателя, гражданина, патриота, в конце концов, подождать у телефонного аппарата его личного звонка, значит, это ему нужно. А если он нуждается в совете, в помощи? За что же мы избирали его, если готовы плюнуть на его желание пообщаться, он же в рабочее время звонит, с утра! Значит, ему позарез понадобился Илларион Кондратьевич Пипуныров, которому всего лишь восемнадцать лет, и он ещё миллионы раз успеет сходить в ЗАГС. Я — мужчина, моя первая и наиважнейшая задача: благо общества в целом и городского хозяйства в частности.

КИРИЛЛ. Всё сказал? Перестаньте мутить воду, братья...

ВАЛЕНТИНА (закрывает ладонью рот Кириллу). Мы беленькую взяли, Кира. Может, выпьем? У вас здесь авария опять?

ЛАРИОН. Идите в кухню. Дайте мне побыть в одиночестве, мне в любую секунду надо быть готовым принять телефонограмму из мэрии.

Входит Белла.

БЕЛЛА. Что, бичуганы, не ждали!? Пить собрались?

КИРИЛЛ. А ну-ка, Шконкина, верни ключ от квартиры. Правильно, Ларион? Кончилось твоё самоуправление.

БЕЛЛА. Увидим. Понапустил сюда всякое, а при мне здесь пахло весной. Если женишься, Ларион, на Клёпке, несмотря на звонок из мэрии, Ларион, наш уговор о передаче мне в собственность данной жилплощади остаётся в силе?

КИРИЛЛ. Если ты докажешь свою непосредственную причастность к разрешению ситуации. И то! Пока ты там шарашилась, я тут столько добрых дел наворотил, никакой женитьбой не прикроешь.

ЛАРИОН. Короче, родственнички, все — на кухню!

ВАЛЕНТИНА. Вперёд! (Подталкивает всех на кухню.) Станемте, граждане, кушать водку, потому как жрать у нас больше нечего.

Пётр, Белла, Кирилл и Валентина уходят на кухню.

ЛАРИОН. Вот и вся любовь, граждане. (Становится у окна.)

Из спальни выглядывает Кын.

КЫН. Я могу исчезнуть, незамеченная?

ЛАРИОН. Кын, брысь! Надо же иметь такую фамилию, как псевдоним.

КЫН. Мне псевдоним не надобен. Иначе как узнали бы мои односельчане, что знаменитая заслуженная артистка — это именно я и есть! Чтоб прочувствовали, с кем на одной улице сожительствовали! Так, я могу уйти?

ЛАРИОН. Ради Бога, только быстро, вы мне неинтересны.

КЫН. Ах, так!? Тогда я остаюсь.

Из туалета выглядывает Чечёткина.

ЧЕЧЁТКИНА. Откройте в туалете форточку, это невыносимо!

ЛАРИОН. Там форточка не предусмотрено.

ЧЕЧЁТКИНА. Кын? Ты здесь как?

КЫН. Она здесь? Ах, ты, зубочистка поломатая!

ЧЕЧЁТКИНА. Молчать! Видишь огнестрельное оружие? (Машет пистолетом.)

КЫН. Какая агрессивная пошла медицина, здорового человека норovit укокошить.

ЧЕЧЁТКИНА. Зато бесплатно и сразу. А твоя опера убивает медленно, с особенным цинизмом, да ещё же и за наши же собственные же деньги.

ЛАРИОН. Она приехала! Тётки, марш по норам! Ну!!!

КЫН и ЧЕЧЁТКИНА (вместе). Сам ты дядька! (Прячутся.)

ЛАРИОН. Вот она подходит к двери... невестушка, ё-маё.

Стук в дверь. Пауза. Из кухни выглядывает Кирилл.

КИРИЛЛ. Стучат! Открыть?

ГОЛОС БЕЛЛЫ. Я открою, я!

ГОЛОС ВАЛЕНТИНЫ. Сидеть! Оглоеды, этот стук — не ваше дело.

ЛАРИОН. Кирилл, уйди.

КИРИЛЛ. Я вообще, парень понятливый, всегда достойный дополнительного денежного вознаграждения. (Прячется.)

ЛАРИОН (громко). Всем слышно? Все умерли! Я иду открывать дверь! (Уходит в прихожую.)

ГОЛОС ВАЛЕНТИНЫ. Умрём на кухне! С песней.

(На кухне грянули застольную песню.)

Входит Вера, за ней Ларион.

ЛАРИОН. Вера Владимировна...

ВЕРА. Ларион Кондратьевич...

ЛАРИОН. Слов нет...

ВЕРА. Я сама поговорю. Как здесь интересно. И что, вы здесь живёте?

ЛАРИОН. Ах, Вера Владимировна, разве ж здесь можно жить. Но вот ведь, — живу.

ВЕРА. Ларион Кондратьевич, вы ещё наш жених?

ЛАРИОН. Кабы не телефонный звонок из приёмной мэра...

ВЕРА. Мэр придёт поздравить вас, Ларион Кондратьич, лично, в ЗАГС. Именно это он и пытался проделать с утра по телефону да закрылся. Кто ж мог предполагать, что вы, Ларион Кондратьевич, столь дисциплинированно отнесётесь к звонку. Однако, это пришлось по сердцу нашему мэру, и он сейчас бьётся над серьёзной задачей, как достойно отметить ваше поведение с таким великолепным чувством собственного достоинства и готовностью пожертвовать ради общественного порядка и дисциплины личным счастьем. Проще говоря, он подыскивает вам должность в мэрии.

ЛАРИОН. Как неловко, право слово...

ВЕРА. Так, и что же у нас насчёт личного счастья?

ЛАРИОН. Ну, что ж, счастье оно и есть счастье.

ВЕРА. Наш мэр, давний знакомый и земляк моих покойных родителей. Вы ведь знаете нашу с Клёпой, фамилию. Хитлер! Мы — немцы, по мужской линии. Представляете, сколько пришлось пережить нашей семье. А знаете, почему подружился мой отец с будущим мэром? Когда узнал, что тот, по материнской линии, никто иной, как Берия. Так что, они вдвоём всё детство отбивались от желающих взять у них автограф. Смешно, правда?

ЛАРИОН. Счастье!

ВЕРА. Что?

ЛАРИОН. Беда! Лучше нам не видеться бы!

ВЕРА. Что случилось?

ЛАРИОН. Любовь.

ВЕРА. Меня зовут Вера.

ЛАРИОН. Представляете: и вера, и любовь — всё вы! Но нет надежды... для меня. Простите, но я вынужден отказаться от сегодняшнего мероприятия.

ВЕРА. Так вы не идёте в ЗАГС?

ЛАРИОН. Не иду.

ВЕРА. Значит, дело не в звонке от мэра, а в том, что вам не подходит моя Клеопатра?

ЛАРИОН. Сначала дело было в звонке. Теперь в вас. Я вас люблю! А Клеопатра мне не может подойти или не подойти, мы с ней незнакомы.

ВЕРА. Но ведь вы не получите должности в мэрии...

ЛАРИОН. Скорблю. Но ради вас я готов на скорбь.

ВЕРА. У нас есть ещё некоторое количество времени, Ларион Кондратьевич, не переодеться ли вам соответствующе событию? Где ваш гардероб? В спальне, там? Идёмте!

ЛАРИОН. Мне казалось, что я уже всё сказал.

ВЕРА. Идёмте, Ларион Кондратьевич. Ах, какими мы с вами отсюда выйдем минут через двадцать, не больше...

ЛАРИОН. А больше и не надо...

Вера уходит в спальню, за ней — Ларион. Из туалета выходит Чечёткина.

ЧЕЧЁТКИНА (диким шёпотом). Диктофон! Уронила! Эй, мужик! Мужчина, как там вас? (Заглядывает в кухню.) О, какой вернисаж.

ГОЛОС БЕЛЛЫ. Маня! Ты-то здесь откуда?

ЧЕЧЁТКИНА. Оттуда. Кирилл, помогите даме. Выйдите, пожалуйста.

Выходит из кухни Кирилл.

ЧЕЧЁТКИНА. Диктофон в дырку обронила.

КИРИЛЛ. А мне-то?

ЧЕЧЁТКИНА. Заплачу!

КИРИЛЛ. Не вижу?

ЧЕЧЁТКИНА (вынимает купюры из всех карманов). Вот! Подчистую!
КИРИЛЛ (пересчитывает купюры). А что там, на диктофоне?
ЧЕЧЁТКИНА. Не скажу.

КИРИЛЛ. Не желаю лезть в дерьмо, исключительно из-за денег. Я должен понимать, зачем мне оно?

ЧЕЧЁТКИНА. Там трёхчасовая запись на мэра!

КИРИЛЛ. Политика... нет, не полезу.

ЧЕЧЁТКИНА. Я ж сама туда сейчас нырну!

КИРИЛЛ. Аквалангов не держим.

ЧЕЧЁТКИНА. Помогите, заплачу немерянно, я умираю! Всё отдам! Достаньте мне диктофон! Сама отдамся! Господи, вспомнила, я же стоматолог, бесплатно вставлю и запломбирую в лучшем виде.

Из кухни выходит Валентина.

ВАЛЕНТИНА. Хватит орать. Уедут молодые, разберёмся. А ну, зашли все в кухню. Шагом марш.

СЦЕНА 15. Кухня. Пётр, Белла. Входят Чечёткина, Кирилл и Валентина.

ВАЛЕНТИНА. Когда машина в последний раз приезжала, Белла?

БЕЛЛА. Ассенизаторская? Позавчера.

КИРИЛЛ. Тогда всё там, как надо, не страшно. Отогреем трубу паяльной лампой, пробьём металлическим шестом... и возьмёте вы, Маня, свой подлый препарат в лучшем виде. А почему вы — Маня, почему не Мария?

ВАЛЕНТИНА. Потому что так её назвал Юстиций.

ЧЕЧЁТКИНА. Меня тошнит... мне дурно.

БЕЛЛА. Вреднее у тебя ремесло, Маня Юстициевна, стоит ли здоровья?

ЧЕЧЁТКИНА. Я просила мэра сделать мне квартиру? Просила. Он не захотел откликнуться на просьбу знакомого народонаселения. Так получит поддых, а после нож в спину! И ничто меня не остановит. Ох, как мне муторно. Я на улице, Кирилл, ладно? Жду тебя у выгребной ямы. (Уходит.)

КИРИЛЛ. Приметное место, не промахнусь. Это та самая Маня, которая собралась выдвигаться альтернативой мэру на выборах?

БЕЛЛА. Она.

ВАЛЕНТИНА. Неужели на самом деле выдвинется?

БЕЛЛА. Выдвинется. Квартиру-то надо сделать, за счёт государства, не самой же платить.

ВАЛЕНТИНА. Она ж стоматолог!

БЕЛЛА. Как дантиста, её специально терпят, чтоб по блату, как бы, к ней врагов направлять.

ВАЛЕНТИНА. А выборы разве бесплатно?

БЕЛЛА. Ну, тут желающих насолить власти наберётся с гаком.

КИРИЛЛ. Пойду, осчастливорю Чечёткину. Потом помыться и бегом в ЗАГС, на торжественный акт. Белка, паяльная лампа, где всегда? Поможешь, Петька? Эх, как глянул! Сами виноваты, нечего было квартиру на Лариона переписывать. В наше время близким родственникам доверяют только безнадёжно больные. Он женится, а я, как вступлю во владение жилплощадью, да как загоню её в аренду представителю торговой национальности! Сволочное время. И все мы сволочи. Ну, на пошок? (Выпивает, уходит.)

БЕЛЛА. Чтоб всем бабам такая жизнь выпала, как мне! Как я вас, мужиков, ненавижу. Чтоб вы все спились и утонули в нечистотах собственной природы. Ну, будем! (Выпивает.) Эх, вы. Но Верку-то, вкусную невестку, я нарисовала! Так заплатите мне! Платите!

ПЁТР. В жизни все проблемы решаются на уровне ниже пояса. А как же мозги, что они? Присмотритесь, судьба одних решается в спальне, судьба других в выгребной яме.

БЕЛЛА. Проняло! Заговорил!

ВАЛЕНТИНА. Говорила же, Петя, тормози с выпивкой.

ПЁТР. Что ни выдумывал бы ум, окончательное слово — за плотью. Причём, на одноклеточном уровне: размножение — испражнение... испражнение — размножение... стыдно!

(Пётр поёт о том, что времена не виноваты в людских проблемах, потому что времена и есть сами люди.)

ВАЛЕНТИНА. Ты сам придумал всю эту историю с фотокарточкой! Себя стыдишься, что ли?

БЕЛЛА. Что!?

ВАЛЕНТИНА. Да, он всех одурачил, а теперь грустит вместо того, чтобы радоваться обильному урожаю. Он просчитал даже звонок мэра и появление здесь Веры.

БЕЛЛА. А приход сюда Кирилла?

ВАЛЕНТИНА. Ну, это уже полнейшая самодеятельность.

ПЁТР. Как стыдно жить. Не лучше ли молчать, изъясняться изредка согласными и пить водку? Или чай... или кефир. Но как приучить себя не соображать, — вот загадка для ума!

БЕЛЛА. Петя! Научи, как мне выбраться из нищеты? Валя, скажи ему! Ведь у меня теперь ни кола, ни двора... ааа!?

ВАЛЕНТИНА. Ох, подружка молодости моей непутёвой, как же помочь-то тебе? Ты, хрыч старый, слушай сюда. Она за твоим младшим братом ходила, пока ты водку жрал без меры и пропивал мою любовь? Ходила. Хочешь, ещё пузырь возьму, добровольно?

ПЁТР. Справедливо. (После паузы.) Выйдут дети из спальни и скажут, что скажут. А мы с тобой, Валентина, в ЗАГС не поедем. Примем ключи от квартиры, возьмём по дороге водки, и — всё.

ВАЛЕНТИНА. Какие ключи?

ПЁТР. От квартиры, где мы сегодня были, там мы и будем жить.

ВАЛЕНТИНА. В квартире Веры? Не может быть!

БЕЛЛА. А как же Клёпа?

ПЁТР. А это, Белла, не наше дело. Ты, главное, не торопись. Дождись общего ухода и на самом видном месте найдёшь решение своей проблемы. Если голова у тебя на правильном месте выросла. Коли не поступишь так, как надо поступить, чтоб обеспечить выход из нищеты, значит, у тебя вместо головы отросла и зацвела махровым цветом совесть. Или совесть, или голова, третьего не бывает.

БЕЛЛА. Что он несёт?

ВАЛЕНТИНА. Ты слушай его, мы с Ларионом послушались, теперь вот возвышаемся. Хорошо, что мой Кондрат пьёт, жаль увлекается.

БЕЛЛА. Хорошо, что пьёт?

ВАЛЕНТИНА. А если бы он свои комбинации выдавал на трезвую голову? Трезвые россияне хуже атомной войны, весь мир от не фиг делать перелопатят и скажут, что так и надо.

ПЁТР. Молодые идут.

БЕЛЛА. Идут... идут? Идут!

СЦЕНА 16. Большая комната. Из спальни входят Вера и Ларион, под руку. Из кухни выходят Белла, Валентина, за ними — Пётр.

БЕЛЛА. Ах, какой вкус у тебя, Верочка, как жениха-то придела!

ВАЛЕНТИНА. Что любовь с существами-то делает! Истинно прекрасные человеки перед нами!

ЛАРИОН. Наподдавались, родственнички. Не брать же их с собою в ЗАГС в таком виде. Верунчик, дай-ка ключи от твоей квартиры.

ВЕРА. Да, родной. (Подаёт связку ключей.)

ЛАРИОН. Пётр. Возьми ключи, адрес вы знаете. С сего дня станете жить там, у Веры. Правильно, Верунчик?

ВЕРА. Да, родной.

ЛАРИОН (отдаёт связку ключей Валентине). Держи.

БЕЛЛА. А вы, где станете жить?

ЛАРИОН. В отеле. А в день свадьбы нам подарят ордер на квартиру. Да?

ВЕРА. Да, родной.

БЕЛЛА. А Клёпа?

ЛАРИОН. Сегодня она поедет в профилакторий, здесь неподалёку. Да?

ВЕРА. Да, родной.

ЛАРИОН. Тебе нравятся мои родичи, Верунчик?

ВЕРА. Да, родной.

ЛАРИОН. Пётр, пригляди за Кириллом, ни к чему Мане диктофон.

ВАЛЕНТИНА. Будь спокоен, проконтролируем.

ЛАРИОН. Любишь меня, Вера?

ВЕРА. Да, родной.

(Вера и Ларион поют о том, как важно найти друг друга именно тем друзьям, которым, собственно, и надо друг друга найти.)

ЛАРИОН и ВЕРА (вместе). Идём. (Уходят.)

ПЁТР. Вот и ключ. Пойдём, жена.

ВАЛЕНТИНА. Пешочком, муж?

ПЁТР. Спешить теперь незачем и через магазин пройти надо. Слышь, Белла, это личный выбор — или совесть, или выгода... сознание или материя.

ВАЛЕНТИНА. Купи материи и пошей чехол на совесть. Извините, шучу.

ПЁТР и ВАЛЕНТИНА (вместе). Идём. (Уходят.)

БЕЛЛА. Ну, дождалась я общего ухода, а дальше что?

Выходит из спальни Кын.

КЫН. Ох, если бы вы только знали, каково это, под кроватью, переживать чужую любовь!

БЕЛЛА. И ты здесь!

КЫН. Ох, не знаю, я ли это! А где Чечёткина?

БЕЛЛА. Зачем удивляюсь, оно мне надо. Маня в засаде сидела, а диктофон возьми, да упали в выгребную яму. Компромат для Мани — жизнь.

КЫН. Лучше бы она пистолет туда обронила.

БЕЛЛА. Пистолет!?

КЫН. Надо поторопиться в ЗАГС. Какая светская хроника без Майи Кын? Да что хроника, самого свету без меня нету. (Уходит.)

БЕЛЛА. Ну, что, Петя, и где моя материя? Стоп! Пистолет же! Одним махом кын: и врагам, и врагиням. Пистолет! (Глядит в окно.) Да за ношение оружия Маню, с Кирюшей, мигом на нары кинут. Киру жалко. А нечего для Маньки нырять. Сдать голубков, как вооружённую банду, и что? А то, что, мэр вне конкуренции, вот мне ещё одна прибыль. Не считая квартиры! Маня вон, как залезла, руки по локоть. Прости, Кирилл. (По телефону.) Ало? Полиция? Я? Гражданка — я, патриотка. Являюсь? Шконкиной Беллой Борисовной. Шконкина — я, Шконкина. Что? Почему плачу? Так ведь стыдно же!

Картина 5. Комната в дачном домике.

СЦЕНА 17. Белла, в валенках, телогрейке. Входит Клёпа, легко одетая.

КЛЁПА. Здорово, Белла. Мёрзнешь? А на улице весна, опля, сегодня жарит. Выйдешь к нам, на огород?

БЕЛЛА. Вам надо, вы и копайте.

КЛЁПА. Я тоже картошку не ем. Кирилл Кондратьевич мой не может, опля, без физического труда.

БЕЛЛА. Как тебе с ним живётся?

КЛЁПА. Опля, не просто. Только зря ты с ним развелась. Мужик!

БЕЛЛА. Чаю?

КЛЁПА. Не, Кирилл Кондратьевич мой, опля, отпустил меня на пять минут. Мы же с ним ещё в леске договорились любовь покрутить. А как же, надо всё, опля, в жизни попробовать. Я тебе ключ принесла. От квартиры, той самой. Ключ на табурет положила. (Кладёт ключ на табурет.) Я не поняла, опля, но Кирилл Кондратьевич мой просил передать тебе спасибо за то, что не сдала.

БЕЛЛА. Да чего уж там. А вы, где?

КЛЁПА. Да, опля, без проблем! С такой сестрой. Пока. (Уходит.)

БЕЛЛА. Ключ. (Взяла ключ.) От квартиры, говоришь? Да нет, Клёпа, это ключ не от квартиры, а от дома! Моего дома! Так что, вернее поступать по совести, чуть дольше ждать ответа, зато наверняка дождёшься, и будешь спать спокойно. Всё будет хорошо, если сам хороший. Спокойной жизни тебе, Белла Борисовна, в собственном доме!

(Белла поёт о том, что для человека всё хорошо, если сам хороший.)

1997 г., 2017 г.

□□□□□

СОДЕРЖАНИЕ

Игорь Бёзрук	
У МОРЯ	3
ИННА	9
ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ	17
Мира Борсиг	
ПО СЛЕДАМ ФАННИ ХЕРСТ	40
Дмитрий Игнатов	
ПОСЛЕДНИЙ ЭКСТРЕННЫЙ	43
Сергей Калабухин	
КАРБУНКУЛ	54
ХРОНИКИ	60
Ирина Столбова	
ОДИН ДЕНЬ ДОКТОРА	109
Дмитрий Аникин	
ПРОРОК ИОНА. СТИХИ	123
Валентина Карпушина	
СТИХИ	133

Андрей Саломатов УЛЫБКА КАУНИЦА	142
Игорь Бёзрук БЛУДНЫЙ СЫН	176
Вячеслав Кушнир ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО	289

**Литературный
альманах
«ЭДИТА» № 18**

**ЛИТО
«Edita Gelsen»**

edita gelsen
logobo2023@gmail.com
ISBN 978-3-910935-72-3

